

## *Петр и Софья*

От автора

История человечества — это почти сплошной "чёрный свиток" ошибок, преступлений и грехов целых народов и отдельных выдающихся лиц.

Но иногда гений истории как бы для утешения записывает свои самые яркие, светлые страницы на бесконечном свитке бытия человеческого. Создает "великих вождей" народа.

И таким "великим господином" народа явился у нас Пётр.

Бармы [1] Мономаха оказались ему не только по плечу; венец царства Московского не только пришёлся впору юному "работнику на троне", победителю Карла XII, первого вождя той эпохи. Нет!

Все священные одежды могущества земного и власти всенародной оказались малы истинно великому. И он из царства создал Российскую империю, сковал так прочно и разумно её основы, что ни последующие преемники, ни злоба соседей-врагов, ни самый рок, порою словно восстающий на Русь, — никто и ничто не могли разрушить, не в силах были даже задержать, не то что остановить гигантский рост стройного создания Великого Петра.

Правда, этот гигант превосходил своё окружение не только в творческих замыслах и великих проникновениях в судьбы родины, но и в страстях и пороках.

Сын своего века, Пётр не знал удержу ни в чём.

Но даже такой поступок, как казнь родного сына, поражает своей сложностью. И трудно сказать: дикое ли это безрассудство или нечеловеческий подвиг?!

Кровавые расправы со стрельцкой буйной силою, с сестрой, царевной Софьей, с женою, со всеми, кто смел стать ему на пути, заставляют наш дух трепетать от жалости и ужаса...

Однако не одни казни и кровь служили связующим началом для смелых начинаний крутого реформатора, свершившего, подобного Гераклу, огромную работу по очищению русла русской народно-государственной жизни от заносов косной татарщины, от суеверно-бездушных начал приказно-патриархального строя, от духовно-боярского византизма, представители которого по-старому стремились владеть "людишками подлыми" и Русской землёю, править ею самовольно от имени государя московского и всея Руси.

Заточив Софью, разгромив силу стрельецкую при помощи новых преторианцев [2] — преображенцев и семеновцев, Пётр на деле стал единым, самодержавным главою царства, которое принял в виде "затейливых и душных деревянных хором Московии", а оставил каменным, величавым, хотя и напоминавшим казармы, храмом, мировой империей Российской.

Кто знает, что ждало ещё Русь, не умри Пётр так сравнительно рано? Как проявился бы он вообще, что свершил бы этот титан духа и мощный телом человек, не будь омрачено его детство трагической тенью Софьи, властной "царь-девицы"? Не будь ступени кремлёвского крыльца орошены кровью мученика Матвеева [3] , кровью Нарышкиных, дядей юного Петра? Не будь этих буйных пьяных громад стрельецких, грозивших гибелью мальчику-царю и матери его царице Наталье?..

Но и эти тёмные переживания не сломили светлой мысли царя воителя и работника. Даже больше чем полководцем — был он преобразователем Московского царства, широким ясным умом улавливая стремления и судьбы своего народа.

Это именно и обеспечило Петру поддержку и сочувствие со стороны лучшей части тогдашнего просвещённого общества, какое существовало в России, хотя и в зачаточном состоянии.

Самодержавное правление Петра служило как бы переходной ступенью к тем новым, "коллегиальным", закономерным рамкам общежития государственного, о которых не ведали при Тишайшем царе, поспешившем дать сумбурное "Соборное уложение" бессудной и

бесправной дотоле Русской земле. И полное завершение этих начал увидели мы только в наши дни.

В этой именно работе Великого преобразователя кроется залог народных упований и до последних дней. В этом залог неиссякаемых сил, дающих право России на мировое место не только по численности её сынов, но и по вечному стремлению народа к совершенствованию; кто бы ни стоял на пути, ничто не помешает этому неудержимому стремлению вперёд, вечно к лучшему, к наиболее высокому и славному что доступно людям на земле.

В настоящей книге старался я наметить и нарисовать главнейшие мгновения тяжёлых переживаний юного Петра, его первых выступлений на сцену Истории, закончившихся разгромом стрелецких громад.

Борьба с Карлом XII, создание империи, прутская неудача [4] , казнь Алексея и смерть самого Петра Великого послужат содержанием следующих двух книг, которые выйдут после настоящей.

И если хотя немного помогу я читателю проникнуть взором в то Былое, из которого возникло наше Настоящее, — буду глубоко порадован.

## Часть 1

### Глава I. ПАДЕНИЕ МАТВЕЕВА

Не успели замуровать склеп, где положено было тело Алексея, Тишайшего царя, как тёмные слухи, неясные и сбивчивые, пошли по всей земле Московской.

Пускай указы дворцовые говорят только одно угодное боярам и дьякам, приказным сочинителям; пускай Симеон Полоцкий [5] и иные придворные пииты и риторы пишут и выпускают в свет свои элегии и оды... Народ узнает настоящую правду гораздо скорее, чем хотелось бы этого захребетникам дворцовым, населявшим Кремль и самый дворец царский.

Кроме господ, толпа челяди, мужиков и баб ютится по людским избам на царском дворе. И тысячью путей эта тысячеустая толпа разносит по

Москве вести обо всём, что ни творится самого тайного в Кремле, за его высокой каменной оградой.

Спрятаться можно от друзей и врагов, укрыть тайну от ближайшей родни, но не от слуг, которые слышат, не слушая, видят все, не глядя кругом...

Собственных интересов у челяди так мало. И не сложны они.

Сыт, обут да пьян порой, и ладно. А пустоту в душе и уме раб пополняет наблюдениями над жизнью господ, обсуждая каждый их поступок с особенным вниманием и строгостью.

А как в широкий мир проникают вести из-за стен кремлёвских, тоже не трудно угадать.

Вот из нижних, Портомойных ворот [6] Кремля выкатились большие, тяжёлые пошевни [7], окружённые гурьбой прачек, молодых бабёнок.

Важно шествует за ними старая, толстая боярыня-надзирательница. Это везут царское бельё полоскать на реку.

У воды, где много других, посадских баб полощет свой цветной и белый скарб, — сани остановились. Снимают сукно, под которым стоит большой простой сундук, срывают с замка печать, которой он был припечатан. Начинают добывать из середины груды белья и лёгких платьев царя, царицы, всей семьи царской. Полоскать принимаются бабёнки, вальками стучать портомойницы царские, а языками ещё проворней, чем руками, работают. И о чём толкуют между собою и со знакомыми посадскими бабами — разве может уловить боярыня, которая поёживается от холоду речного в своей шубе.

Ей только и заботы: все бы в целости вернулось в сундук царский; не ушло бы что под воду из рук неловкой мастерицы-прачки.

А то конюхи выведут коней поить к реке или уйдёт с очередного дежурства толпа дворовых людей царских, да по пути в свои слободы отдельные — забредёт иной к знакомым и родным на посадах.

И никто не знает в Кремле, о чём толкует с посадскими по душам, иной челядинец дворцовый.

А на Москве и наезжего люду много всегда найдётся, даже и

зарубежных, не только из своих, дальних городов.

Иностранные послы и купцы пишут за грань московскую, близким людям и государям своим обо всём, что творится за крепкими, хотя и начинающими ветшать, стенами Кремля, за его башнями и воротами тройными, тяжёлыми, за опускными решётками железными...

По обителям местным и дальним летописцы-иноки в свои тетради заносят летучие вести все, правдивые и ложные.

А по кружалам [8] да площадям простой люд на лету ловит каждую весточку, от себя прибавит немало да и пустит гулять по свету кремлёвскую тайну глубокую, ставшую общим достоянием людской молвы...

Самые осторожные, недоверчивые люди, прислушавшись к разноречивым толкам, видят их нелепость и несоответствие между собою; но всё-таки, покачивая головою, говорят:

— Нет дыму без огня... Вон, как помирал царь Михайло, все загодя знали: государить царю Алексею опосля него... И бояре смирно сидели, и стрельцы в царские дела не мешались, знали службишку свою немудрёную да торговый обиход... А ныне — вона, ждали, што молодой, Петра-царевич, отца любимчик, здоровенький, и в цари попадёт, хошь бы не один, а с братом... Да на мест тово... Воинством ратным, стрельцами да пешими стали бояре друг дружку пужать... Не бывать добру... Не миновать худа... Царь-то новый, Федор Алексеевич, юный и хворый... Вестимо, не сам загосударит, а ближние его: Милославские да Хитрово... А их мы ведаем, повадки ихние знаем... Ох, што-то будет?..

Так гадали и думали самые осторожные, не легкомысленные люди. И эти предчувствия скоро сбылись.

Но сначала гладко на вид, все по-старому шло. Вертелись старые колёса налаженной государственной машины, все делалось по-бывалому, как по-писаному.

Федор занемог в самый день смерти отца, поправлялся очень медленно и не скоро получил возможность лично участвовать в управлении царством. Да и поправясь, принялся за дело неуверенно, осторожно.

От природы он был нерешителен, хотя и упрям порою. А печальная ночь кончины отца наложила тяжёлую печать на юношу-государя.

— Што с тобой, государь-братец, аль от недуга стал такой ты, Федюшка?  
— спрашивала его порой Софья, с которой царь стал ещё дружнее, чем был раньше, словно желая набраться сил от этой крепкой духом и телом, порывистой и умной девушки.

— Нет, сестричка... Так... И сказать не умею... Вот и лучше мне, телесам-то, а на сердце ровно бы тяжеле, ничем и в скорбные дни, как хворый я лежал... Да, слышь, Софьюшка, все мне одно вспоминается... Из ума нейдёт. Вот ровно вижу наяву... А давно было... Года с три, почитай, минуло.

— Што там тебе ещё мерещится? Ну-ко, поведай, чудовой ты... Пра, чудной.

— Да, слышь, батюшка-покойник на охоту меня взял снова... На сохатых, в лес заповедный, в Лосиный бор... И матка с телёнком выскочила. Псы кругом. Лосиха и бежать не бежит, телёночка ей жаль. Охота ей, видно, чтобы он в чащу ушёл. А тот, глупый, к ней все жмётся, под ноги кидается, мешает ей.

— Глупый...

— Побежит-побежит она с им рядом и обернётся, собак рогами отмахивает. Псы — от них подале. Она и сызнава с телёнком на уход. И под конец, видно, выразумел он: от матки в кусты и бежит. Псы не глядят на телёнка, матку обступили... Она их рогами бьёт, раскидывает... А как увидела, что детёныша не видать, сама за им пустилася... Я уж стою и не бью сам и людям не велю.. Ушла бы, думаю... А псы — за маткой, и не отозвать их. Хватают, рвут её сзади... Она отмахнётся — и наутёк... Да, слышь, — спотыкнулась ли, али с насоку псы её sproкинули, — свалилась на миг матка-то... Тут псы разом, куды и страх делся... Накинулись, за горло... за бока... Тут уж подскакал я — пристрелил сам, жалеючи... Вот и думается: не спотыкнись она... не пади на землю — не посмели бы псы рвать... А упала...

— И пропала, — договорила Софья, охотница до созвучий и сама, по

примеру Симеона, сочинительница стихов. — Так уж во всём, Федя. "Лежачего не бьют", — оно так ранней было... Ныне и стоячего с ног свалят, коли надобно... Не хуже твоих псов... А ты крепче стой, не давайся... Слышь, Федя... А ещё поведай: к чему ты сказал про лося-то... да про псов?... Не разумею... Али?..

— Нет, так... само припомнилось... Вот я...

— Не вешай головы, царь ты мой, вся Руси государь самодержавный... Кто тебе страшен?... А и не один ты. Вон дядя, Иван Михалыч теперь при нас... Нешто он нас выдаст?... Нарышкины пускай... Злобятся...

— Што Нарышкины?... И окромя их есть люди. Вон они единым часом в землю нам челом бьют, а в тот же час могут...

— Што? И главу нам прошибить, коли им надо? Не посмеют. Только, слышь, коли я сдогадалась, про кого это ты... Сам, гляди, не больно на них вставай... Всех можно помаленьку обратить, в узде повести... Верь ты мне! Не разом, а так, знаешь, полегоньку... Стравить их одного с другим.. Кого казной купить, кого почётом. А там...

— Эх, не по мне все это!. Знаю я, видел, как батюшка государил... И читывал не раз, как московские цари и в иных землях государи людей крепко да умненько держали... Да неохота мне так-то... Душой лукавить, в цепи сажать алибо, храни Господь, кровь проливать... Куды мне! Подумаю, сердце мрёт...

— Не говори. Знаю. А ты, слышь, мне державу сдай. Я бы управилась, гляди.

— Ты?! Ты справишься. Ишь, какая ты... Смехом говоришь, а на тебя поглядеть, так душа мрёт. В очах у тебя ровно свет загорается... Инда [9] жутко... Да, слышь, не ведётся того на Руси, чтобы царицы...

— А Ольга... а Елена Глинских?

— Так то давно было. И не за себя они, за сыновей княжили... А я и не сын тебе, да и летами вышел... Не мели пустого, Софка... Буде.

— И то молчу. Вон ты повеселее стал от моих речей от глупых, от девичьих. Мне и ладно... Одначе пора мне. Богомолье ныне с сёстрами да с тётками... Ох, да и тошно же в терему... Вон по обителям, по храмам

побродить — и то радость... У вас, у царевичей, и пиры, и охота, и оженят тебя... И на войну, и в думу... Куды хошь... А мы... Ровно проклятые — и людей-то не видим по своей вольной волюшке... Замурованы, ровно колодницы, без вины безо всякой... И хто так приказал?!

— Ну не причитай... Пожди... И то уж живётся вам не по-старому... А там, помаленьку, гляди... и у нас все станет, как у европейских potentатов [10] : будет вам, девкам-царевнам, воля и замуж, и в мир ходить... Пожди, сестра... Сделаем...

— Жди ещё, што да когда... Вон мне уж без мала двадцать годов... Годков на семь, гляди, всего и помоложе я, ничем матушка — царица наша названная... А все перед ей, словно перед иконой, гнись да кланяйся... А она — фыррр да фыр!.. Величается... Слышь, Блохина, у меня в терему — родня казначеи царицыной, Блохиной же... И, слышь, лютует царица-матушка; все у них с Матвеевым толки идут, как бы свово Петрушу в перво место, в цари бы... А тебя бы...

— Ну, буде, Софья. Тебе бабы в уши несут, а ты пересказываешь... Всё будет, как Господь захочет... Вон и батюшка желал, чтоб Петруша был со мною вместеях...

— Ничего не желал... Думал — да раздумал. Ты — царь, о чём и толковать ей?.. Все с Матвеевым... Лукавый он... С лекарями водится... Изведут они тебя и нас всех, помяни моё слово... Посадят на царство слюнявого мальчонку. Уж понатешутся над нами...

— Софья, буде... Да сама ж ты толковала: за нас-де люди станут, не дадут нас в обиду, коли бы и на деле... задумал бы хто...

— Ну, право, с тобой што толковать... Ты — как день вешний... То солнышко, то тучами все пойдёт... Не понять тебя, Федя... Ты не думай, не страх напускаю я на тебя. На ум взбрело, вот и сказалося. А ты царствуй... Тебе много лет ещё государить. Вон тут есть одна бабёнка верная... я у ей пытала, так она...

— Што, што?.. Ворожейка или знахарка? Хто такая?..

— А ты не велишь её казнить?.. Чево вздумается тебе, ты в те поры...

— Ну вот!.. Коли она не с чёрной силой ведается, за што ж казнить

бабу?.. Вон и отче Симеон наш прорицает... И иные — хто по звёздам, хто по цифири, по книгам... Он же батюшке гадал...

— Нагадал, да... Братца Петрушеньку...

— За што ты, сестра, так на братца? Што он тебе?..

— Ничего. Матушка-царица, свет Наталья Кирилловна, сильна да горда сынком... А сам он... што ж, пускай бы жил... Ну, Бог с им... Вот и гадала бабка о тебе... "Поживёт, говорит, всем на радость...: Долго проживёт. Детей народит... Из роду в род помнить будут цареньку..." Это тебя...

— Будут помнить?! Хорошо бы... Поминали бы, да не злом. Все я думаю: неужто телесная мощь одна и славу даёт?.. Хворый я... Слабый я... Может, и не проживу долго... Уж чуется мне... Што там ни толкуй... И как бы это подеять, штобы память по мне надолго была? Добром поминали бы люди... Москва... Земля вся! Я потужу... Я надумаю... А то помрёшь, камнем прикроют склеп... Один камень той с записью и станет помнить, што был ты, што землёй правил... Што царём прозывался. А люди забудут... Нет, неладно так!.. Я надумаю...

— Да уж надумаешь... А пока женись, вот первое дело. Дети пойдут, сыновья. Им царство перейдёт, в наш род, Милославских [11], не в Нарышкинский... Вот и память по тебе. Ну, буди здрав пока... Недосужно, слышь, Господь с тобою, царь-братец...

— И с тобой Господь! За меня помолись, сестрица...

Ушла Софья. А Федор задумался. Ищет, чем бы след оставить по себе...

И вот нашёл. Лицо вспыхнуло, озарилось тихой радостью.

Сел он у стола, где лежат груды бумаг, достал чистый лист, прибор чертёжный, стал чертить план какого-то храма... И совсем ушёл в работу...

По этому чертежу потом стали перестраивать обветшалую церковь во имя святого Алексия в Чудовом монастыре, со всеми примыкающими палатами, трапезами и монастырскими службами...

Тотчас же принялся Федор за достройку новых больших зданий для всех московских приказов, поднятых на три этажа.

Ряд церквей понизить и заново выстроить наметил юный царь, сам

принимая деятельное участие, пока нездоровье не приковывало его к постели. А это часто случалось. Но и больной он больше всего думал о своих постройках, которыми как будто хотел оставить добрую память по себе.

Конечно, такую страсть к зодчеству скоро заметили ближние к царю лица.

Зашла об этом речь и на совете бояр, собравшихся во дворце, по обыкновению, рано утром обсудить текущие дела.

Царю нездоровилось. Оба доктора, Костериус и Стефан, дежурили при больном. Матвеев, пришедший с докладом посольским, был тут же. Это очень не понравилось Ивану Михайловичу Милославскому, который явился спросить, можно ли начать совет без Федора.

И вот, по окончании совета, когда "чужие" разошлись, кучка приближённых бояр осталась потолковать о делах дворцовых.

Были здесь Богдан Хитрово [12] , Иван Максимович Языков [13] , оба брата Толстых, князь Лобанов-Ростовский, сестра которого была мамкой царевны Софьи. Федор Куракин, Василий Голицын и Волынский с боярином Троекуровым дополняли компанию.

— В дедушку, видно, пошёл наш юный государь, — заметил, снисходительно улыбаясь, Хитрово. — Град свой стольный приукрасить желает, чтобы супротив иных стольных градов зарубежных не стыдно было... Што ж, оно и то не худо. Дорогонько стоит. Да авось хватит казны ево царской. Не зря рубли кинуты. Да и дело юному государю. Пока он ещё к царскому правлению приобькнет, всё время не пустое. Хуже было бы, коли стал бы всюды сам входить, мешать тому, што без него многи годы налаживалось да настраивалось...

— Оно бы и так, — с недовольным видом отозвался Милославский, — коли бы казна была побогаче. И я бы сказал: чем парень ни тешится, да делу не мешает... А и то скажем: иному от затей царёвых и польза бывает. При каждом огне можно руки греть. Стройка идёт, так и кирпич, и лес надобен... Мало ль што ещё. От поставщиков барышок-то и набезит. А коли хто этим не завёлся, тому и нет корысти от затей ото

всяких. Есть поважнее дела. Вон турки, татары грозят, с запада тучи надвигаются... А у нас всюду дыры... И заткнуть нечем. Тут бы и надо поудерживать государя. Вон ты, Иван Максимыч, частенько-таки при ево милости пребываешь. И толковал бы о том помаленьку.

Богдан Хитрово весь побагровел было при намёке Милославского на участие боярина в поставках. Конечно, для дворцовых людей не было тайною, что боярин оружничий [14] и дворецкий царский имеет барышок и от поставщиков, и от подрядчиков дворцовых. Он же вместе с племянником Александром, заведующим приказом Большого дворца, умел из дворцовых сел и волостей переводить в свои вотчины немало добра.

Дворцовые крестьяне работали на них обоих без всякого вознаграждения. Даже кладовые и амбары обоих Хитрово в Москве наполнялись запасами и вещами из московских царских дворов: Кормового, Сытного и Хлебного.

Но приближённые царя молчали об этих явных хищениях, потому что сами пользовались в тех приказах, где сидели. Языков, ещё не причастный к расхищению царского и государственного добра, всё-таки счёл нужным вступить за Хитрово, оказавшего ему поддержку и помощь при его вступлении на службу к царю.

— Чего не видал, того не знаю, боярин. А ежели люди сказывают? Так сам ведаешь, про ково толков не идёт? Вон и про нас с тобой немало трезвонят. А душа наша чиста, нам и не в обиду. Толковать же мне про дела государские — невместно. Особливо неспрошенному. Того и гляди, царь али кто иной на ум возьмёт: "Ишь, Языков-де спихнуть ково хочет, сам на ево место норовит..." Чево далеко ходить: сам боярин Богдан Матвееч ладит мне своё оружейничество сдать. Трудно ему со всем управиться. А уж толки пошли, что я под ево милость подкопы веду... За чином гонюся... Уж лучше нам дружно да мирно жить. Вернее дело будет.

Хитрово, довольный этой мягкой, но внушительной отповедью Языкова, так и не высказал всего, что сгоряча хотел было отпеть Милославскому. Шумно передохнув, словно облегчая грудь, стеснённую раньше приливом гнева, он только одобрительно кивал на слова Языкова. Но Милославский

не унимался.

— Ну, може, на ково инова и помыслят, да не на Ивана Милославского. Меня обносили. Меня в ссылку гоняли, подводили под опалу... А я ещё в доводчиках, в наушниках не бывал... А уж коли говорю, так не скрываючись. Обиняком не закидываю, с чёрного крылечка не забегиваю... Божией милостью да своей заслугой в люди вышел, а не нахлебничеством, хоша бы и у дядек царских...

Такой прямой укол, направленный против Хитрово, выведенного в люди боярином Морозовым, дядькой покойного Алексея, был слишком нестерпим для Богдана Матвеича.

Но не успел он заговорить, как его предупредил Пётр Толстой [15] .

Умный интриган видел, какая ссора готова разгореться среди людей, соединённых временно и не взаимным расположением, а необходимостью справиться с родом Нарышкиных. Поэтому, не позволяя разгневанному Хитрово сказать чего-либо такого, что разладит весь заговор, Толстой поспешно вмешался сам:

— Вот-вот, о том, бояре, и потолковать надобно. Всем ведомо, как некие люди и на боярина Богдана, и на тебя, Иван Михалыч, клепали зря царю в уши несли небылицы разные... Все вон такое, про што и боярин Иван Михалыч сказывать изволит, и многое иное. Так нешто государь сам несмышлёнок? Не видит, што правда, што нет? И нам невместно теми обносами да поклепами сердце своё тревожить. Мало ли што пообсудить надо? И женитьба царская не за горами. Дело немалое. И иное многое... Што ж нам, бояре, промеж себя свару заводить. Буде... Давайте што-либо иное затеем... Право.

Все поняли, что Толстой намекает на Матвеева.

Милославский был убеждён, что по навету Артемона он был сослан покойным Алексеем в почётную ссылку, воеводой в Астрахань. Богдану Хитрово Федор уже намекнул, какие недобрые слухи ходят по Москве насчёт хозяйничанья боярина в царских вотчинах и кладовых.

— Ты, боярин, коли тебе надо чево — мне прямо говори. Я не откажу. Так оно и лучше буде... Не зазорно...

Только и сказал Федор самолюбивому, хотя и жадному боярину.

При мысли, что один Матвеев мог шепнуть юному государю о хищениях Хитрово, последний пылал неукротимой злобой и ненавистью к Артемону.

Эта жгучая общая ненависть сразу успокоила раздражение спорящих, примирила их на одной мысли: как насолить общему опасному врагу Матвееву?

Первый одумался Милославский.

— Правда твоя, боярин. Не время нам свару заводить. Надо бы тех на чистую воду повывести, хто наветами да чародейством всяким и покойного государя ровно в кабале у себя держал, и юному царю света видеть не даёт, коли не ихними очами... Слышь, Богдан Матвейч, не серчай. Я и на уме не держал задевать тебя... И впрямь, вон теперь царю пора закон принять. Царевича Петра час приспел от мамок отымать, учить чему — ничему. Артемошка, гляди, и Федора оженит на ком захочет, как покойного Алексея оженил... А к Петру, слышь, и то уже своих приставил людей. Тот ево дедушкой зовёт. Видимое дело: неспроста оно. Чарами опутал всю царскую семью... Вот о чём нам потужить бы надо: как избыться нашего ворога?

— Што ж, подумаем, померекаем, как на первых порах ево избыть, — угрюмо, все ещё не успокоенный вполне, отозвался Хитрово.

— Видимое дело, — заговорил Куракин, — што снюхался Артемошка и с дохтурами ево царсково величества. Вон намеднись изволил государь лекарство принимать, что Стефанка готовил ради немощи ево царской. И черёд был Матвееву подносить снадобье. Сам он небось от чарки не отведал, остатки ж выплеснул поскорейча. Я сам видел... Чем ни есть дурманят государя. Уж как Бог свят. А мы глядим да молчим...

— Да ведь и не скажешь так, без верных послухов. Он отбрешется, Артемошка проклятый: язык у него добре привешен...

— И послухи найдутся, — опять вмешался Толстой. — Есть на дворе у него карло потешный [16], Захаркой зовут. Тот карло моим людям и жалился: побил-де ево без милости Матвеев, чуть до смерти не убил. "А за што?" — пытаются наши. Тут карло таки речи повёл, што коли правда —

и казни мало ведуну [17] окаянному...

— Да што? Да ну?.. Скажи, пожалуй, — всполошились бояре, ближе подвигаясь с мест к Толстому.

— Слышь, толкует карло: заперлись вдвоём они, Артемошка со Стефанком, в покое одном. А карло раней в нём был. Знобко ему стало, он за печкой и прикорнул, погреться. А как увидал, что боярин с лекарем пришли сюды, и вовсе притаился, не досталось бы ему, что в боярску казенку забрался. Артемошка всем наказывает настрого: в те покои не входить. Притаился Захарка и видит: приходит в покой и Николка Спафарий толмач Посольского приказу, с сынишкой матвеевским, с Андрюшкой. Достали книжицу невелику да толстую, "Чёрною книгой" рекомую, и почали читати. Все покойницу жену Артемошки поминали сперва, которая скончалась вот незадолго. А потом и про царское здоровье поминали. И набралось в палату нечистых духов многое множество... Только стали их пытять Артемошка с лекарем, а те и говорят: "У вас-де в избе — сторонний человек есть. Пovyгнать ево надо". Кинулся за печь Артемошка, взял за шиворот, сгрёб Захарку, так о землю и ударил... Инда шубейка свалилась с ево... И ногами топтал от гнева, и вон выкинул, не подглядывал бы за ими... Захворал карло, и лечить ево позвали Давыдку Берлова, лекаришку плохова. Карло все и поведал Давыдке... Лекарь, не будь глуп, ко мне... Я уж вызнал после сам от Захарки, вот што вам сказываю. На допросе все то же обещал карло сказывать. Даже и не плат ему, и пытку снесёт. Злые они, карлы, хто их обидит. Долгопамятливые. Уж он себя не пожалеет, а Артемошке удружит...

— Это ладно. А все же ещё послуха надо бы... Все лучше, вернее дело буде...

— Што же, и лекаришко той, Берлов Давыдка, не откажется... Да недорого и возмёт за послугу, толковал я уж с ним, — невольно понижая голос заявил Толстой.

— Што ж, давай Бог, час добрый... А, слышьте, бояре, кому же к царю с докладом про то воровское дело явиться надо? Тоже не единым разом все

и сказать можно. И пору выбрать следует. И человеку бы царь веровал...

— А што, коли жеребий метнуть, — предложил Троекуров. — Кому выпадет, тому и начать надо...

— Жеребий... Слышь, боярин, пословка есть: дуракам удача, где мечут жеребий. А при нашем деле — умного пустить вперёд надобно...

— Ну, коли так — я вперёд не суюся, — не обижаясь на намёк, отмахнулся рукой Троекуров. — Меня уж выбирайте, коли надо буде чару потяжеле поднять да осушить... Вот я тогда и пригожуся...

— Буде балагурить, бояре, — оборвал его раздражительный Куракин, недолюбливавший вечные кривлянья придворного забавника Троекурова.

— Дело кончать надо. Тебе, Иван Михалыч, не сказать ли?

— Што ж, я скажу — ежели все хотят, штобы я... Да не помыслит ли царь, по злобе-де я на Матвеева наговариваю. Как всем ведомо, што от ево поклепов меня и на воеводство на край земли услали...

— И то верно. Как же быть-то?

Невольно глаза всех обратились к Языкову. Он ещё недавно попал в силу и в милость к юному царю, не был запутан в дворцовых интригах и происках. Ему, конечно, скорей всего поверит царь.

Понимая молчаливый вопрос, осторожный, уклончивый Языков мягко заговорил:

— Я бы рад радостью, бояре. В друзьях мне не бывал боярин Матвеев, а и врагом не числится. Да такую речь от государя мне слышать довелось, вчерась ещё: "За то ты мне мил, Ванюшка, что ни на ково ничего не наносишь. Зла ни к кому не таишь. За то и верю тебе..." Гляди, стану и я доводить царю про лихие дела боярские — и мне веры не будет у государя. А так об этом деле уж он спросит меня, уж тово не миновать. Я и скажу, коли иной хто ранней доведёт все до ево царской милости. Так все лучше наладится.

Переглянулись бояре. Особенно внимательно прислушивались оба Милославских к этому скромному заявлению Языкова.

Словно глаза у них раскрылись.

" Пройдёт немного времени — и этот худородный, незначительный

дворянчик, так быстро преуспевший при юном царе, умной повадкой займёт первое место. Но об этом — после надо подумать. Теперь — Матвеев на череду".

И Хитрово решительно заявил:

— Ну, пушай про меня думает, как поволит государь, а я правду скажу, не смолчу. Потому — берегу ево же государское здоровье... Нынче ж повечеру и доведу все до царя. Послухи у вас были б готовы. Я раней сам поспрошаю их...

— Да хоть в сей час... У меня на дворе они. Я к тебе их и пришлю, — сказал Толстой. — Только, бояре, што ещё скажу. Стрелецкий полк, петровцы, гляди, за него, за Артемошку, вступятся... Да иноземные ратники с ними. Дела надо умненько повести.

— Ну, не учи нас, боярин, Сами с усами. Все наладим. Только бы почать.

— Почнем. В час добрый. А теперя ещё иные дела на череду... Про свадьбу про царёву подумать надо.

И кучка самовластных правителей земли, тайная камарилья, стала толковать: кого бы лучше всего выбрать в жёны Федору из числа дочерей или сродниц своих?

Долго тянулись разговоры и споры об этом. Немало взаимных обид и угроз вырвалось у собеседников. И, ничего не решив пока, разошлись по домам.

А вечером, когда царь укладывался на покой, прослушав обычный доклад Хитрово, тот сдержал слово и подробно передал царю все, в чём обвиняли Матвеева.

— Пустое, слышь, — было первое слово Федора.

Но он тут же задумался.

Правда, ни в чём дурном нельзя было укорить Матвеева, но кто же не знал, что он с царицей Натальей уговаривали Алексея назначить царём Петра, мимо царевича Федора... Может быть, осторожный Матвеев только прикидывается таким усердным и честным слугой. А сам питает в душе честолюбивые замыслы... Что же касается чар... Все может быть на свете. Самые учёные, умные люди — и те не отрицают, что можно иметь

сообщение с мертвецами, с разными духами.

И задумался Федор.

Хитрово, словно читая мысли юноши, сдержанно заговорил:

— Оно што говорить, веры дать нельзя без доказу... А слышь, государь, и в Библии же сказано, как царь Саул ходил к волшебнице Аэндора, Самуила-пророка дух вызывал... [18] Иные бывали же примеры достоверные... Поразузнать бы надо.. Это первое дело... Второе: уж коли начали на Артемона Сергеевича такие поклепы возводить, значит, многим он поперёк пути стал. Уж тебе покою не дадут. Народ мутить почнут. Редкий из бояр не на Матвеева. Не стать же тебе, государь, со всем своим боярством свару вести из-за него одново... Легше одним поступиться.. Как-никак — доведётся услать от очей своих царских. Так оно лучше, коли за вину ушлешь. От матушки-царицы, Натальи Кирилловны, меней досады тебе буде. Скажешь. "Не я, мол, караю. Вина на ём..." Так мне сдаётся.

Молчит Федор.

Он понимает, что Хитрово хотя и руководим ненавистью, но говорит правду. Знает, что не сумеет выдержать общего натиска, не решится поспорить с влиятельными боярами своими из-за Матвеева, которого не особенно и любит, только уважает как честного и бескорыстного слугу...

Вот почему ни словом не откликается царь на речь Хитрово, не говорит ни да, ни нет.

Умный боярин видит, что происходит с юношей. И не стал больше толковать об деле. Начало сделано. А там — все само собой придёт. Особенно когда примется за дело боярыня, Анна Петровна Хитрово, тоже ненавидящая Матвеева и Нарышкиных.

Хитрово рассчитал очень верно. Месяца не прошло, как Матвеев получил указ: сдать все посольские дела и дела по стрелецкому полку, а самому собираться на воеводство в Верхотурье.

Конечно, и сам Матвеев понимал, и все видели, что это — опала царская, тем более тяжкая, что не было объявлено, за какую вину карают боярина.

Но спорить нельзя открыто. Воеводство — все же не ссылка.

Только криво усмехнулся Милославский, когда объявил врагу:

— Слышь, и тебе, как мне же, честь выпала на воеводстве посидеть. А государю челом бить не ходи. Недужен государь. Не до чужих ему...

— Храни Господь государя со своими, со всей роднёй ево, — с достоинством, спокойно ответил Матвеев, не желая обнаружить перед Милославским своего огорчения и обиды. — Послужу ему и в дальнем краю, как на очах служил.

— Послужи, послужи. Царь спасибо скажет, — зловещим тоном отозвался Милославский.

Матвеев и раньше понимал, что это не все. А слова боярина только подтвердили его догадки. Но поправить дело, очевидно, нельзя было. Враги одолели.

Мрачно, но сдержанно прощались стрельцы со своим любимым начальником.

Скажи он им слово — так легко не выпустили бы они Матвеева из Москвы.

Но Матвеев видел, что делается в душе у этих людей, и твёрдым, решительным приказом звучали его слова, обращённые к стрельцам:

— Слышайте, детушки, службу свою верно правьте царю и государю со всем родом его. Будет у вас новый полковник на моё место. Ево слушайте, как меня слушали. Царя и землю бороните от недругов, хто б они ни были. И вам Бог воздаст, и царь вас не забудет...

Слезы текли по щекам у многих из старых стрельцов. Но молчали, как в строю полагается.

Только как уж уходить стал Матвеев — кинулись, расстроили ряды, благословляют его. Иной крест снял с себя, тянет с ним руку к Матвееву.

— Храни тебя Господь... Застени [19] Матерь Божия. Возьми на путь Спаса моего... На память бери... Счастливого пути, боярин...

Едва выбрался Матвеев из толпы, сел на коня и уехал. В июле 1676 года был объявлен Матвееву указ о назначении воеводой верхотурским, а в октябре, когда он с десятилетним сыном Андреем, со всеми своими

людьми и вещами, взятыми из московской усадьбы, успел добраться до Лаишева, здесь его остановил царский гонец с приказом — дожидаться дальнейших распоряжений из Москвы.

"Вот оно когда приспело, время моё", — подумал Матвеев и распорядился, чтобы для него с сыном, с семьёю племянниками сняли в городке самый обширный двор. Там и расположился он, с учителем мальчика, мелким шляхтичем Поборским, со священником Василием Чернцовым и ближними слугами, всего человек тридцать.

Остальная многочисленная челядь, которая не разместилась в этом доме, была поселена по соседству.

Невесело, в пути, в тёмных домишках захолустных посёлков встречал Матвеев с сыном новый, 1677 год, наступивший месяц тому назад, 1 сентября.

А теперь ещё безрадостней потянулись дни благородного изгнанника в ожидании недобрых вестей из Москвы.

Ждать пришлось почти два месяца. Только 25 ноября, когда прошла распутица, явился полуголова стрелецкий Алексей Лужин и потребовал от Матвеева выдать ему "лечебник, писанный цифирью".

— Слышь, боярин, толкуют: та книга, рекомая "Чёрная", у тебя для чародейства всякого. А про ту книгу сыск у нас идёт, и довод на тебя был. Да ещё, слышь, двоих людишек своих мне выдай: Захарку-карла, да Ивашку-еврея. Им про ту книгу ведомо.

Стал расспрашивать Матвеев Лужина. Тот, расположенный к опальному, рассказал ему все, что сам знал.

— Слышь, на тебя извет есть. А принёс его лекарь Давыдко Берлов, одноглазый черт. Сам он теперь в колодки посажен, за приставы. А на тебя клевет...

И Лужин повторил, что слышно о "чародействе" Матвеева, о злых умыслах его на жизнь государя. Матвеева словно громом пришибло.

— Я задумал на здоровье на царское!.. И государь веру дал?

— Уж о том — не ведаю. Как мне приказано, так и творю. Не посетуй, боярин.

— Што сетовать? Не по своей ты воле. Вот бери: у меня тетрадка есть словенского письма. А в ней писаны приёмы да снадобья от всяких болезней. И подмечены те статьи словами цифирными для прииску лекарства. Може, о ней приказ тебе дан. Так бери её. И холопей моих, Ивашку да Захарку, вези же.

Поглядел Лужин, повертел тетрадку в руках — и назад её отдал:

— Нет, боярин, видать, не то мне надобно. Вернусь да откажу: ничего-де не сыскал. А людишек заберу, не посетуй...

— Бери, бери... Да, слышь: сделай милость, сам поищи, поройся и в дому этом, где стоим мы, и во всей рухлядишке моей... Штоб речей не было, будто укрывал я што от тебя. Богом прошу, поищи...

— Не стану, боярин. Душа не велит. Да и приказу мне такова не дано: искать бы, тебя перетряхивать...

И, не глядя в глаза Матвееву, словно виноватый, ударил челом, поспешил уйти скорее, назад поехал. Карлик Захарка, и Ивашка, крещёный еврей, с ним же покатили.

Ждёт опять Матвеев.

Двадцать второго декабря, чуть не в самый сочельник, — новые гости из Москвы приехали: дворянин думный Федор Прокофьевич Соковнин, заведомый недруг Матвеева, и думный дьяк Василий Семёнов.

Эти не стали церемониться. Переглядели и книги, и письма все, какие были с Матвеевым. Немало грамот царя Алексея, писем и записок было между бумагами. Письма иностранных министров и владык, полученные Матвеевым во время управления Посольским приказом, наказы царские, какие давались боярину, когда он отправлялся сам послом в чужие края, — все это внимательно было осмотрено и переписано.

Рукописный лечебник, не взятый Лужиным, они отложили. Потом принялись за осмотр вещей, всей рухлядишки боярской.

Матвеев глядел на это с внешним спокойствием, уговаривая сына, который весь дрожал от негодования и страха:

— Небось, Андрюшенька. Ничего плохова не будет. Как велено, так люди те и творят. А у нас совесть чиста, так и страху нам быть не может,

и обиды нет от того сыску... Уйди в покойчик лучше к Ивану Лаврентьеву... С им побудь али к отцу Василию ступай.

И отослал сына с учителем к отцу Чернцову в его светёлку.

Утром нагрянули обыщики, а вечером ещё гости из Казани наехали: тот же Лужин со стрельцами казанскими, с думным дворянином Гаврилой Нормицким.

Прочтён был указ государя, по которому оставлено было Матвееву немного дворовой челяди, а остальных пришлось отпустить обратно по деревням, а кабальных безземельных и просто на волю. Самому же Матвееву указано ехать в Казань не то под охраной, не то под конвоем и караулом наехавших приставов и стрельцов.

В Казани новая обида ждала боярина. Враги словно потешались издали над низверженным временщиком. Хотели не сразу, а постепенно заставить его пережить все унижения и муки.

Явился приказный дьяк, Иван Горохов, и прочитал новый указ от имени царя: отобрать у Матвеева все письма и грамоты Алексея, все официальные документы и бумаги, а также и крепостные акты на вотчины и родовые поместья, принадлежащие ему.

Велено было отобрать и все лучшее имущество, оставив боярину с сыном только самое необходимое. Тут уж боярин не выдержал.

— Да за што, за што же все это!.. Кому я теперь помехой, што и достальнова лишить приказано? — вырвалось у Матвеева.

— Не ведаю, боярин, — с кривой усмешечкой отвечал Горохов. — Как в указе стоит — так и повершить мне надо... А ещё, чай, помнишь, сам ответ держал перед Фёдором Прокофьичем, перед Соковниным, про дела особые, про здоровье про государское. Вот о том, слышь, на Москве и суд идёт.

— Без меня суд обо мне же. Нешто так водится?.. И ни слова единого про вину мою мне не сказано, а кару терплю безвинно... Ну, видно, Господь испытует раба своего.

Сказал и умолк. Пошёл к себе в опочивальню, вынес две тетрадки в переплётах кожаных и две просто сшитые из листов бумаги.

— Вот, слышь, Иван Овдевич, дам я тебе тетрадки. Все тут написано, што есть лучшево пожитишка моево, и отцова наследства, и женина, што сыну жена покойница оставила, што на Москве оставлено в усадьбе в моей... Переписывай знай. Ничево я не потаю. Моей рукой все писано. Не для тебя, для себя писал, ещё опалы не ожидаючи. Сам видишь, не хочу тебя в обман вводить. Как царь приказал — так и творить стану. Слышь, скажи тамо на Москве. Не ослушник — де я воли царской.

— Скажу, скажу уж, — быстро хватая тетрадки, ответил приказный крючкотвор и стал пробегать глазами записи.

Про Матвеева ходили слухи на Москве, что за всю долгую службу успел он собрать неисчислимыя богатства. Их в свои руки заполучить, на Москву представить — немалую награду за это можно получить!

И два дня подряд переглядывал да наново переписывал Горохов все добро, какое было взято с собой Матвеевым. Немало нашлось всего. А на Москве, судя по описям, столько же, если не больше, осталось. И диковинные вещи заморские, часы с боем, дорогие, редкие; золотые, серебряные вещи, картины, меха, ковры восточные... Мало ли чего... Целый обоз доставил в Москву Горохов, словно с караваном вернулся из далёкой Индии. И за это пожаловали его сейчас же в думные дьяки, отписали на Горохова одну из нижегородских вотчин матвеевских...

Боярину оставлено было только носильное платье, бельё, меховые вещи, не из лучших, часть, повозки, утварь... Все самое недорогое.

Когда уехал Горохов, полгода ещё прожил Матвеев в Казани, ожидая, какие новые распоряжения будут сделаны на муку ему...

Одиннадцатого июня 1677 года явился стрелецкий голова Иван Садиллов и объявил Матвееву последний приговор:

— "От боярина Ивана Михайловича Милославского со товарищи приказ даден: по указу царя-государя, великого князя Федора Алексиевича, всея Великий и Малыя и Белья Руси самодержца, у холопа государского Артемона Матвеева за все великие вины и неправды его честь его боярскую отнять и написать по московскому списку рядовому. А поместья и вотчины его все подмосковные и в городах, и московский дворишко и

загородный, и животишки все, и рухлядишку всякую отписать на его, великого государя, и приписать ко дворцовым сёлам. А людишек его, Артемона, и сына его, Андрея, — отпустить на волю с отпускными. А вины его, холопа царского, и неправды все таковы, что в сказке его, Матвеева, какову он дал в Лаишеве думному дворянину Федору Прокофьеву Соковнину да думному дьяку Василию Семёнову за его, Матвеева, рукою, сказано было, что про его, великого государя, лекарства во время скорби [20] государской составлялися, а составляли их доктора Стефан да Костериус. И те-де лекарства он, Матвеев, надкушивал прежде а потом и дядьки государевы бояре князь Федор Куракин да Иван Богданыч Хитрово. И лекарства те самые действительные. А дядьки его царского величества против тех слов твоих показали, что тех лекарств ты, Артемон, не выкушивал и в сказке своей написал все ложно. Да ещё холопы его, Матвеева. Ивашка-еврей да карла Захарка, показали, что чел ты книгу, рекомую "Чёрная", запершись с сыном своим, Андреем, с Николкой Спафарием да с доктором Стефаном. И нечистых духов вызывали-де вы. А карлу Захарку, который за печью заснул и храпеть стал, ты из-за печи вытащил и смертным боем бил. Так с пытки они, холопы твои, показали. А с ними и лекарь Давидка то же показывал".

— Холопу побитому да лекарю продажному веру дал государь против меня... Заглазно осудили меня за вины небывалые... Что же, видно, так Господу угодно... Его да царская воля, — проговорил с тяжёлым вздохом Матвеев. — А далее что?

И уж спокойно дослушал конец указа, которым присуждён был на ссылку в далёкий, холодный Пустозерск.

Заброшен в тундрах этот посад. И хлеба туда не привозят порою в достаточном количестве. Четыре долгих года промаялся там Матвеев, посылая челобитную за челобитной в Москву и царю, и главным боярам. Но все напрасно...

## Глава II. ПЕРВЫЕ УРОКИ

Словно перелом какой произошёл при дворе с отъездом Матвеева.

Совсем присмирели Нарышкины, чувствуя, что одолевают их враги.

Царица Наталья почти и не выходила из терема, разве куда на богомолье.

Петра с глаз не спускала. Словно ждала, что какая-нибудь беда разразится над мальчиком.

Сам Федор совсем в себя ушёл. Только с Софьей и мог ещё говорить свободно, по душам. Её одной не опасался.

— Ладно, ничего, — толковали между собой первосоветники. — Люби не люби, чаще поглядывай... Шло бы дело в Царстве по-нашему А там все пустое...

— Слышь, что наново задумал наш государь? — сообщал Дядька Федора, Иван Богданыч Хитрово, своему родичу, — На царьградскую статью весь московский Верх переиначить мыслит. Ишь, по нраву ему пришлось, как оно, чин чином, у государей у византийских устроено. Раней с Полоцким Симеоном якшался. А ныне — все боле с Лихудами, с братьями водится. В школу ихню часто заглядывает и один, и с царевной, с Софьюшкой. И ей, слышь, стали греки по сердцу... Ровно бы подменили царевну. На старую статью стала все в терему налаживать... Вот и толкует царь, наши бы чины переиначить. Царьградское старшинство завести ладит. На тридесять и на четыре степени боярство и служилый люд постановить. Вот дворецкий ты, слышь, а станут тебя domestikом величать... А который печатник — тот дикеофилаксом наменуется, да ещё тамо: севастократор, да стратопедархис, да как там ещё и не упомянуть всево. Не больно-то эллинской премудрости я обучен... Вон и ноне, сказывают, после выходу на стройку на новую, к приказам да ко храму новому, что в Чудове, собирается и в школу к грекам заглянуть [21] ... Да с царевной. Гляди, всех нас перекрестит наново царенька наш молодой... Как и звали нас раней — позабудем... Хе-хе-хе...

И, забавляясь новой, полудетской затеей Федора, боярин раскатился своим густым, жирным хохотом.

— Ладно, ништо... Мало ль мы от нево затей видели? Да все не к делу.

Как ты меня ни зови, только мово не бери... А наше у нас крепко... Пускай же забавляется юный государь наш. Охоты не любит он, как покойный царь Алексей. Зато до книг охотник да разны службы церковные правит. Вон и Вербная неделя [22] не за горами. Святейшего отца патриарха на осяти поведёт государь. Там — Светлое Христово Воскресенье. Глядишь и тепло настанет. Пора к летней утехе готовиться. Так и пойдёт колесом время. А мы уж за него, за болезного, чёрную работу всякую по царству правим, так што ли, Ивашенька?..

И старый мудрец тоже рассмеялся самодовольным негромким смехом.

Не замечая даже того, Федор все выполнял, на что наводили его окружающие бояре.

Видела это Софья, но ещё не решила, как ей самой поступать. Соединиться ли с вельможами или самостоятельно влиять на брата в своих интересах? А у царевны все чаще и чаще являлись самые смелые грёзы о той роли, которую она, подобно греческой Пульхерии [23] , могла бы играть при слабом, безвольном брате.

Но одно твёрдо задумала и неуклонно выполняла Софья: старалась всюду бывать с братом, где только можно было это сделать без особого нарушения обычаев и этикета царской жизни.

И сегодня, узнав, что после осмотра новых приказов и церкви во имя Алексия в Чудовой обители Федор собирается посетить школу братьев Лихудов, греков, иеромонахов, Иоанникия и Софрония, царевна стала уговаривать брата взять и её с собою.

— Государь, братец, миленькой, покуль ты не женат, возьми уж сестричку свою с собою. Дозволь поглядеть на дела на людские, услыхать речь иную, не здешние нашепты да наговоры теремные наши... Оно ровно богомолье будет... Храм погляжу новый да школу эллинскую... Занятно, вишь, как...

И вместе с Фёдором побывала царевна на постройке возобновлённого храма во имя святителя Алексия, что в Чудовом монастыре. Оттуда проехали к Ивановской площади, где высились почти законченные высокие каменные палаты новых московских приказов.

Нижнее "житьё", или этаж, всего двадцать восемь обширных, высоких палат, были выведены ещё при жизни Алексея. Лицом глядели они на Архангельский собор и тянулись вдоль нагорного кремлёвского Взруба, всего на сто десять аршин не доходя до Фроловских [24] ворот. Задней стеной здание выходило к Тайницкой башне. Над воротами приказов была заложена небольшая церковь взамен старой, стоявшей тут же, когда это место принадлежало князьям Мстиславским.

Федор приказал надстроить второе, верхнее, "житьё", почти такой же величины, как нижний этаж. Во всём новом здании должны были разместиться шесть приказов: Посольский, Разрядный, Большой казны вместе с Новгородским, Поместный, Стрелецкий приказ и Казанский дворец. В последнем, в одной из палат, находился глубокий колодец с хорошей водой, нарочно не засыпанный при постройке.

Большая лестница с перилами, в десять саженей длиной, выдвигалась от середины здания и вела с верхнего "житья" на шумную Ивановскую площадь. Справа от этой лестницы, против Архангельского собора, темнели большие ворота, ведущие под сводами во внутренний двор приказов. По обеим сторонам средней лестницы выходило на площадь ещё шесть лестниц покороче и поуже, чем главная. Почти на шестьдесят саженей растянулся фронтон этих новых приказов.

Здесь целый день толпятся челобитчики, снуют приказные. Тут же творят и расправу над уличёнными ворами и злодеями, причём указы и приговоры от имени государя дьяки читают вслух прямо со своего крыльца.

Когда Федор со всем поездом прибыл на место стройки, работа так и кипела. Сотни людей поднимались и опускались по лесам, принося туда кирпичи, известь в растворе, балки, железные скрепы и доски.

Десятники хлопотливо сновали между народом, наблюдая за порядком, покрикивая на ленивых, налаживая всю кипучую жизнь в этом людском муравейнике.

Зная о посещении царя, тут же находились и главные строители со своими чертежами, планами.

Раскинув листы на обломках досок, на кучах брёвен или теса, они толковали между собою, порою призывая десятников и отдавая им новые приказания.

Федор, осмотрев работу, заметил, что дело подвигается быстро вперёд, и остался доволен.

— К руке изволит жаловать тебя государь, — объявил Языков, сопровождающий повсюду царя, зодчему мастеру Ивану Калмыкову, который вызвался по итальянским чертежам, доставленным из Посольского приказа, соорудить целиком новое большое здание.

Благоговейно облобызал Иван царскую руку и бил челом Федору, приказавшему выдать награду главному строителю и всем рабочим, чтобы приохотить их больше к делу.

Оттуда весь царский поезд тронулся к Благовещенскому монастырю, что за Ветошным рядом.

Здесь в деревянном, старом и не особенно обширном доме давно уже приютилась греко-славянская школа иеромонахов, выходцев из Эллады, братьев Лихудов, Софрония и Иоанникия, или Аники, как прозвали его на Москве.

Особенное покровительство оказывал Лихудам патриарх Иоаким [25] . И не без причины.

Когда на Москве появился Самуил Ситианович-Петровский, именуемый Симеоном Полоцким, московский патриарх дружелюбно отнёсся к белорусу-иеромонаху, как к единоверному своему, да к тому же попавшему в большую милость к царю Алексею. Даровитому иеромонаху от лица всего российского духовенства было поручено написать книгу для увещания раскольников, и в 1667 году был отпечатан труд Симеона, озаглавленный "Жезл правления".

Но скоро милость царя Алексея к Полоцкому проявилась так ярко, что стала вызывать и опасения, и зависть у московского высшего духовенства. А Симеон, не желая считаться ни с кем, не соблюдал благоразумной осторожности при введении тех новшеств, какие задумал осуществить, конечно, по уговору с самим Алексеем.

Не одни только увлекательные устные проповеди приезжего монаха не понравились московскому духовенству, и книги его сочинения вызывали нежелательные толки.

В Псалтири и многих догматических, как рукописных, так и печатных, сочинениях Полоцкого сумели найти прямые признаки ереси.

И патриарх постепенно стал в недружелюбные, чуть ли не враждебные отношения с хитрым, отважным и умным инородцем.

Уклончивый, мягкий характер Иоакима мешал ему вступить в открытую, личную борьбу с Симеоном. Да и победа была бы вряд ли на его стороне. Это выяснилось особенно в 1676 году, когда Алексей разрешил Симеону открыть в Кремлёвском дворце Печатных дел мастерскую, и здесь выпускались сочинения и иные книги с пометкою, что оные печатаны с благословения святейшего отца патриарха, хотя этого благословения Иоаким и не думал давать.

Воспитанники византийского благочестия, братья Лихуды, строго правоверные, с точки зрения патриарха и всей старой Москвы, и по взглядам, и по личным интересам, могли лучше всего противодействовать влиянию "польского выходца". Им помогали серьёзные учёные познания и весь их домашний обиход, далеко не похожий на тот свободный, весёлый, только что не греховный род жизни, какой вёл сам Симеон, какой, по его примеру, стали вести царь, царица и царевны, исключая тёток Алексея, слишком закоренелых в старом быту теремов.

Если в Андреевском монастыре собраны были, как в академии, малороссийские и белорусские учёные монахи, наставники и книжники, сеющие в государстве семена западничества, — в Богоявленском монастыре школа Лихудов старалась удержать на прежней высоте учение Византии и Домостроя.

Таким образом, Симеон, сначала призванный было не особенно учёным московским патриархом как бы в помощь для искоренения вредного церковного раскола, сам внёс в царство раскол, ещё более опасный, могучий и соблазнительный, чем прежнее упорство староверов-аввакумовцев.

Вот почему Иоаким с особенным вниманием и любовью стал относиться к греко-славянской школе Лихудов, заглядывая в Богоявленский монастырь не менее часто, чем в свою собственную школу, устроенную на Дворе книгопечатного дела, у Никольских ворот, где иеромонах патриарха, Тимофей, также обучал мальчиков, юношей и взрослых из духовенства, дьяконов, даже священников славянскому книжному писанию и эллинской премудрости.

С воцарением Федора на Лихудов посыпались милости и со стороны юного государя, не слишком расположенного к новшеству в том виде, как оно проводилось Полоцким. Да и советники царя были далеко не из друзей белоруса.

Под их давлением Федор стал довольно часто навещать школу обоих братьев. Нередко вместе с Иоакимом. Иногда они здесь встречались. Это было вполне естественно: у царя и патриарха занятые, служебные дни были почти одни и те же, значит, и свободные минуты, когда можно было заглянуть в школу, выпадали почти одновременно.

И на этот раз не успел поезд царя остановиться у Богоявленского монастыря, как туда же прибыл Иоаким в сопровождении своей духовной свиты и бояр.

День был тёплый, весенний, и в небольшом классе, где ещё не раскрыли окон, тяжело было дышать, хотя кроме царя с Софьей, патриарха и нескольких ближайших лиц из свиты в покое были только оба Лихуды и ученики греческого отделения.

На простых, тёмных скамьях, перед столиками вроде современных парт, ученики сидели по росту. Впереди — маленькие, самые младшие, больше дети духовного звания. Но было немало сыновей приказных и думских дьяков, даже боярские сынки, как, например, княжичи Пётр, Михайло и Юрий Юрьевичи Одоевские, княжич Алексей, сын просвещённого вельможи, кравчего Бориса Алексеевича Голицына [26] .

Монахи разных обителей, дьяконы и даже священники, явившиеся в эту маленькую "академию" поучиться греческому языку, необходимому для более глубокого изучения Слова Божия, сидели тут же, но на задних

скамьях, и с трогательным старанием долбили греческие правила, отвечая уроки наравне с малышами.

Пока Иоаким задавал вопросы ученикам, вызванным Софронием, царь, не занимая приготовленного для него сиденья, подошёл к первой скамье, сел рядом с самым маленьким из учеников, усадил его, смущённого, покрасневшего, почти к себе на колени и спросил:

— А ты чей? Не видал я тебя раней. Как звать?

— Петя я... Петей зовут. Васильев сын... дьяка твоего, государь, Василия Посникова.

— Ишь, какой бойкой. А много ль годков тебе?

— Девять годов. Десятый уж пошёл, государь великий.

— А что ж ты больно мал. И не дашь тебе столько годков. В ково это ты? Родитель твой — куды не мал... В мамку, што ли?

— Сказывают, с матушкой схож, государь. А вон сестрёнка у меня, Глашуткой звать. Та в тятеньку... Куды долговяза...— совсем осмелев, объявил мальчик, ошастливленный вниманием царя.

— Ну ладно. Скажи родителю, добро задумал, што учит тебя с малых лет... А вон тебе Иван Максимыч даст на гостинцы... Ступай к нему.

И Федор слегка толкнул мальчика к Языкову, который достал из заранее заготовленного кошелька с мелкой монетой серебряную гривну и отдал мальчику. Тот только хлопал сверкавшими глазками и отвешивал низкие поклоны.

Царевна Софья тоже подозвала его знаком, погладила по голове, сказала что-то боярыне, стоящей за её стулом. Та, порывшись в глубоком кармане, нашла монетку и сунула школьнику.

После ответов на вопросы школьники стройными голосами пропели один из тех "кантиков", с которыми на большие праздники ходили к царю, к патриарху, к боярам, славить рождение Христа или воспеть воскресение Его.

И царь, и патриарх, уходя, вызвали старост, которые избирались обыкновенно в каждом классе из самых успешных и благонаправленных учеников, допустили их к руке, так же как и обоих Лихудов, и приказали

выдать свои дары: от патриарха — по калачу на ученика; в греческом классе — по двухденежному, в славянском классе — в денежку [27] каждый калач. Старостам по рублю серебром. От царя — всем ученикам по алтыну, старостам — по два рубля.

При общих возгласах радости и привета, окружённые детьми и взрослыми учениками, уселись высокие гости в свои колымаги и, провожаемые настоятелем с братией, тронулись с монастырского двора.

В тот же день, под вечер, Федор отправился на женскую половину дворца, в терем Натальи Кирилловны, где она проживала с Петром, царевной Натальей и младшими падчерицами: Евдокией и Федосьей.

За всё время, год с небольшим, сколько прошло со смерти Алексея, вдова его как-то сразу сошла со сцены дворцовой жизни, хотя и жила бок о бок с пасынком-царём.

Федор сначала долго хворал, затем, вступив в управление царством, был очень захвачен всеми докладами, советами, какие не могли пройти без его участия. И потому редко заглядывал на половину царицы-вдовы, как равно и к сёстрам, и к тёткам-царевнам.

Все лето Наталья с сыном и младшими детьми провела Преображенском, с которым было у неё связано столько дорогих воспоминаний.

Федор, когда был здоров, проживал поочерёдно в Измайлове, в Коломенском, в Красном селе на Воробьёвых горах и в других подмосковных дворцах, заглядывал и в Преображенское, но не надолго. Приласкает братьев, особенно Петра, потолкует с мачехой и снова возвращается к себе.

А в Преображенском; на короткое время оживающем при появлении царского поезда, снова жизнь затихает, напоминая собой большую богомольную обитель, а не двор хотя и вдовствующей, но ещё молодой, полной жизни, ума и сил московской царицы.

Как летом в деревне, так и зимой, во дворце, одинаково проходят дни Натальи: заботы по обширному хозяйству, советы и толки со своими ближними боярынями по вопросам, касающимся мастерских, кладовых и запасных дворов. Что нужно заготовить наново, что продать за

излишеством, чего закупить или из старого, заношенного подарить. Разбираются домашние споры и нелады между лицами, составляющими двор и дворню Натальи, для чего даже существует особая "боярыня-судья". Молитва, еда, отдых днём, а главным образом, работы по "обещанью" в храмы и шитьё разных вещей и белья для бедных — вот чем заполняется всё время.

Ложатся рано, рано встают на половине царицы. И так — круглый год.

Сейчас, заглянув к мачехе, Федор нашёл её за работой.

Когда он с почтительным поцелуем склонился к руке Натальи, она губами коснулась его лба и сейчас же заботливо, с искренней тревогой спросила:

— Што это ты, государь? Што с тобой, Фёдорушко? Али нездоровится? Головушка, ишь какая, горяча больно. Слышно, выезжал ноне. Не прознобил ли своё царское здоровье?

— И нет. государыня-матушка. Теплынь, благодать, слышь, настала. Ровно бы и весна близко. Так, с воздухом, должно... Сидишь все в стенах в четырех и стынешь. А как поедешь да походишь — и согреешься. Благодарствуй, родимая Ну, ты как, Петруша?

И он обратился к брату который при появлении Федора так и бросился навстречу: прижался сбоку к царю и ждёт, когда на него обратят внимание.

Помня наставления мамок и матери, мальчик прежде всего поцеловал руку старшему брату, который ответил ему тёплым поцелуем в голову.

— Благодарствуй, государь-братец. Живы твоей милостью. Как ты, государь-братец, в здоровье своём?

И при этом обязательном вопросе царевич отвесил положенный поклон.

— Да уж ладно. Вижу, научен ты всему, как след. Иди сюды. Садись. Послушай, што скажу вам с матушкой. Занятно больно...

Усевшись у окна против мачехи, он дал знак садиться нескольким ближним боярам царицы: Ивану Нарышкину, Тихону Стрешневу и тем, с которыми пришёл: Языкову, Федору Соковнину, дядьке своему, Куракину, дядьке царевича Ивана князю Прозоровскому [28] , который

поспешно явился сюда на поклон царю; боярыням Натальи, находившимся в покое при появлении царя. Сейчас они стояли, не зная, прикажут им остаться или уходить.

Пётр сел на небольшую скамеечку у ног матери, отодвинувшей в сторону пяльцы с вышиваньем, чтобы они не мешали царю.

Своими живыми, блестящими глазами царевич так и перебегает по лицам всех сидящих кругом, словно его занимают не только их речи, а и то, что творится у каждого в уме.

По врождённому чувству пытливости, по неясному ещё чутью мальчик не удовлетворялся внешними проявлениями людей. Он видел не раз, как мать, отирая слезы, с улыбкой и лаской принимала лиц, которых надо видеть, и говорила с ними так, как будто не у неё сейчас побледневшее лицо было искажено тоской и мукой. Зачастую невольно коробили ребёнка льстивые, притворные ласки, которые расточали царевичу боярыни и бояре в то самое время, когда глаза их загорались искрами ненависти...

Ещё при жизни отца трехлетний Пётр подмечал, что не всегда люди думают и чувствуют то, о чём говорят. А какое-то врождённое сознание подсказывало ему, что это очень дурно. За последний же год и по рассказам окружающих, не считавших нужным стесняться при ребёнке, и на собственном опыте царевич узнал, как редко в людских отношениях все бывает правдиво и хорошо. Ещё не умея разобраться в этих наблюдениях и выводах, мальчик был очень недоволен подобным явлением. Но он ни с кем не делился своими наблюдениями... Они были для него чем-то вроде тайной и приятной забавы.

Когда новое лицо в первый раз приближалось к царевичу, у мальчика почему-то являлось желание представить себе этого человека не в его пышном дворцовом наряде, не с заученной, выработанной обычаем и этикетом, речью. Пётр представлял себе нового знакомого в иной обстановке. Ему чудилось, как тот говорит и поступает у себя дома, искренне, а не для виду... Так ли добра эта старуха боярыня, какой хочет казаться? Такой ли храбрый в бою этот князь, как он выглядит сейчас, с

выпяченной грудью, с поднятой головой? А этот дьяк, пришедший с докладом и челобитной к матушке. Он теперь совсем принижённый, еле говорит, глаз не подымает. Но отчего такая жёсткая складка залегла у рта? Отчего порою огоньками загораются его опущенные глаза, вот словно у лисы, которую недавно подарили на забаву царевичу? Всегда ли дьяк-челобитчик такой робкий, тихий и говорит так ладно, вкрадчиво?.. Нет, должно быть, не всегда...

Чутьё редко обманывало мальчика, который уже с детства искал правды и прямоты в отношениях людских.

Находясь в самой кипени дворцовых хитросплетений и интриг, царевич рано почувал сложный переплёт, тёмную, причудливо запутанную основу окружающей его жизни и, одарённый от природы, развивался особенно быстро благодаря таким многосложным впечатлениям и влияниям среды.

Вот почему и сейчас царевич не только слушает, о чём толкуют кругом, но и вглядывается внимательно, как ведётся беседа.

— А што ж ты один, Петруша, встречаешь меня? Иванушка где же? Здоров ли царевич?

И Федор обратился в сторону князя Прозоровского.

— Спать завалился братец. С курами на нашест... Нешто ты не знаешь, государь-братец? — с лукавой улыбкой ответил Пётр.

Прозоровский степенно доложил:

— В своём добром здоровье царевич, челом тебе бьёт, государь. Уж не погневайся: поживает в сей час. Дохтура же приказывали не раз: больше бы спал царевич. Мы волю в том и даём царевичу.

— А Ваня и рад, — опять подхватил Пётр. — Вот уж соня. Он и не спит — а ровно спячий... Так вот...

И мальчик, сощутив глаза, удлинив свою мордочку, стал удивительно похож на болезненного, подслеповатого, слабого умом и телом Ивана-царевича, которому шёл одиннадцатый год.

Всех насмешила выходка, но царица сейчас же, осилив улыбку, строго заметила.

— Грех так, Петруша, брата на смех подымать да рожу строить. Хворый

он, вот и слаб от той причины. Да он покорный, слушает и меня, и всех старших. Не то што меньшей сынок мой... С этим и сладу нет. Гляди, милей было бы, коли бы и он спал поболее. Тогда, и в покоях потише, и целее все... Никово-то не обижает Ваня, порой и от тебя стерпит, коли што... И выходит: смеётся батог над кнутовищем, а сам и похуже.

Смущённый выговором, мальчик весь зарделся, зарылся лицом в колени той же матери, которая пожурила его, и всё-таки, не унимаясь, проговорил:

— Он злой. Он карлицу Дуньку защипал... Кошку бил... А я ж не обижаю ево... Мне же он люб, братец Иванушка...

— Ну, вестимо, вестимо, — протягивая руку и глядя по шелковистым кудрям братишку, вмешался Федор. — Я знаю, ты добрый у нас... А смех — не грех... Сядь ровненько. Послухай, што сказывать стану. Где был я нынче, што видел.

Сразу выпрямился мальчик и с любопытством обратился рдеющим личиком к царю:

— В зверинце был, государь-братец? Зверьё новое глядел? Али послы подносили што из чужой земли? Али...

— Да стой. Пожди. Скажу — и узнаешь. Зверьё не зверьё, а сходно с тем. Пареньков не похуже тебя видал полны покои. Только они не творят из лица подобия братнево на потеху. Не досаждают родительнице и всем иным присным. В науке дни проводят... Стихири всякие согласно поют.

И Федор рассказал о посещении школы Лихудов. Не успел докончить царь рассказа, как мальчик вскочил и выбежал из комнаты.

Одна из мамушек поспешила за ним

— Экой огонь-малый, — не то с удовольствием, не то с оттенком грусти заметил царь. И даже словно зависть затуманила его лицо...

Федор вспомнил своё детство Он не был таким расслабленным, полуидиотом, как брат Иван, но всё-таки почти до десяти лет больше сидел на руках у мамушек, почти никогда не бегал, не резвился, хворал часто, питался больше снадобьями из дворцового Аптекарского приказа, чем обычным царским столом... Вот почему лёгкая, невольная зависть

омрачила душу юноши-царя. Он подумал, что и его дети, пожалуй, когда он женится, никогда не будут такими сильными, рослыми и бойкими, как этот мальчик, уже и теперь на голову превосходящий ростом своих сверстников.

Не успел Федор обменяться несколькими фразами с царицей, как мальчик появился снова, держа в ручонках не сколько больших, довольно тяжёлых томов.

Мамушка шла за ним, тоже нагруженная книгами.

— Я тоже умею, государь-братец, — громко объявил царевич, сваливая на скамью свою ношу и подвигая к брату табурет. — Вот гляди...

Из груды книг он достал две-три в кожаных переплётах и перенёс на табурет.

— Вот гляди: "История царства Московского"... Про царей. Мне все читали... Кто был когда, как государствовал... Эту книгу дедушка Артемон складывал... Вон и лики царские. Вот дедушка, царь Михайло... Вот тятя. Вот царь Иван Васильевич — грозной да злой который был... Вот князь великий с калитой [29] ... Мне все ведомы... И скажу тебе про них... Про ково хочешь?

Живо перебирал мальчик пухлыми пальчиками листы тяжёлого тома "История в лицах государей московских", прекрасный, многолетний труд недавно сосланного боярина Матвеева.

Неловкая тишина воцарилась в палате.

Глаза Натальи потемнели и наполнились слезами. Скрывая их, царица отвернулась к окну, словно разглядывала что-то во дворе.

Федор вспыхнул и невольно опустил глаза. У Нарышкина и Стрешнева сумрачны стали лица, а провожатые царя приняли сразу угрюмый, вызывающий вид, словно приготвили к стычке с врагами.

— Про ково же сказывать, государь-братец? — повторил вопрос мальчик и огляделся кругом, не понимая: отчего нет ответа, что значит внезапно наступившее молчание? Потом, как будто сообразив что-то, закрыл тихонько книгу, отодвинулся к матери и негромко спросил:

— А што, государь-братец, скоро с воеводства дедушка воротится?

Приказал бы ему сызнова на Москву. Скушно без него. Вон и матушка скучает. Он здесь ещё про царей будет складывать... И про тебя, и про меня, как я царём стану.. Слышь, братец, пошли инова на воеводство ково.

Опять не последовало ответа ребёнку.

— Княгинюшка, возьми Петрушу, веди в опочивальню. Молочком напоить, гляди, не пора ли? А там и на опочив.

— Уж не рано... Да свету бы нам, — обратилась, овладев собой, Наталья к мамке Петра, княгине Голицыной. — Ишь, темнеть стало... А может, государь, и потрапезовать с нами поизволишь? Готово у нас, гляди, все...

Федор, отгоняя смущение, провёл рукой по лицу и даже встряхнулся весь:

— Нет, нет, благодарствую, государыня-матушка... Так, побеседовать зашёл.. Ну, братишко, ступай, коли пора... Доброй ночи. Послушен будь. Вон какой ты большой стал... Пятый годок, без малого.. И тебе за науку пора... Хочешь ли? Станешь ли?

— А коли я ладно знать буду, ты и мне чего дашь, государь-братец?

— Дам, дам, милый. Што захочешь, все дам...

— Вот любо. Ну я стану слушать. Я пойду с мамушкой. Слышь, княгинюшка, свет Ульяна Ивановна, веди меня. Я и баловать не стану. Тихо, слышь.. Во-о как ладно...

И, захватив свою любимую дедушкину "Историю", он стал кланяться поочерёдно:

— Доброй ночи, матушка... Доброй ночи, государь-братец... Бояре, ночь добрая...

Мать порывисто прижала мальчика к своей груди и отпустила его с долгим поцелуем.

Федор тоже привлёк, поцеловал и перекрестил брата-крестника:

— Храни тебя Господь... Расти; здоровый будь духом и телом... Ступай с Богом...

Мальчика увели. Ушла за ним и вторая мамка его, боярыня Матрёна Романовна Леонтьева.

— Пора, пора учить Петю, — после недолгого молчания повторил Федор.  
— Сдадим дядькам на руки малого. А там и учителей пристойных сыскать надобно. Как мыслишь, государыня-матушка?

— Твоя воля, государь. Приспела пора. Так уж у вас, у государей оно водится. Не все же ему с нами, с женским полом быть. И не рада, а надо... Сама вижу пора дядькам сына сдавать... А ково изберешь, государь, не скажешь ли?

И с затаённой тревогой она глядела на царя, ожидая, кого он назовёт. Не поручит ли охрану ребёнка кому-либо из заведомых недругов её семьи, одному из Милославских, Хитрово или иному из ихней компании?

Чуткий Федор угадал тревогу мачехи, поспешил успокоить Наталью:

— Мне ли избирать? Кабы родитель был жив, помяни Господи душу его, он бы и выбрал. Он же и боярам приказал, коим в охрану вручил брата Петрушу. Из них сама и выбирай. Твоя воля родительская, государыня-матушка.

— Челом бью на милости, сынок-государь. Поздоровь, Боже, твою царскую милость. Коли поизволишь, потолкуем о том ещё, — вздыхая свободно, сказала Наталья — А можно бы в дядьки и князя Бориса Голицына позвать. Сам знаешь, повидал он немало. Учен много и нравом тих.

— Как соизволишь, государыня-матушка. Ево так ево. Ещё про кого надумаешь — скажи мне.

— Да вот не дозволишь ли, царица-матушка, и ты, государь, про учителя слово молвить? — вставая с поклоном заговорил Соковнин.

— Сказывай, што знаешь, боярин.

— Да вот коли надобно, знаю я человека, в грамоте сведущий и смирной, как овца. Моих пареньков учивал. Озорные они. А с им — ровно иные стали. Сами за науку берутся. Знает, видно, как заохотить ребяток. Попытать бы ево, как водится. Може, и в пригуду станет вашим государским милостям. Могу сказать: смиренник, добродетельный муж и Божественное писание добре знает. Не хуже попа иного.

— Поглядим, што же... Коли знаешь человека — и хорошо оно. Как звать-

то ево?

— Никиткой звать, Моисеев сын, прозвищем Зотов, из Большого приказа, из твоих писцов государевых, московский же сам. И родню тут имеет не малую. Небогатый люд, да худого про них не слышать. А для первой учёбы царевичу и не сыскать другого. Так думается мне, государь.

— Ладно, поглядим, боярин. Покажи его мне... Да и матушке-государыне. Как ей покажется. Вот хоть утречком же, как ко мне поедешь, и вези тово Никитку с собой. А в сей час — прости, государыня-матушка. Недосуг. Посидел бы долей, дела неволят... Челом тебе бью.

И снова Федор поклонился мачехе, целуя ей руку и принимая ответный поцелуй.

С низкими поклонами проводили все царя: Наталья — до порога, свита её — до самых сеней.

На другое же утро Соковнин явился во дворец с Зотовым, оставил его в передней, где столпилось немало своих и приезжих людей в ожидании приёма у царя, а сам прошёл к Федору.

Коренастый, худощавый, лет двадцати пяти, писец Посольского приказа Зотов совсем растерялся, когда Соковнин объявил ему, что берет с собой во дворец, представить царю.

— Пошто, боярин, помилосердствуй... Где мне на очи его царского величества предстать убогому, рабу последнему... И чего для-ради?

— Там узнаешь, — отрезал боярин.

Пополняя своё скудное казённое жалованье обучением боярских детей, смышлённый, но робкий Зотов и мечтать не смел о счастье стать учителем царевича. Он, правда, знал, что Петру через два месяца, тридцатого мая, исполнится пять лет, пора, когда царских детей начинают учить письму и чтению. Но обычно в дворцовые учителя попадали люди, заручившиеся сильной протекцией. А Соковнин никогда не пользовался особым влиянием. И только случай, конечно, доставил такое счастье Зотову.

Но Никита знал и то, как трудно ужиться при дворе, сколько там интриг, сколько опасностей для каждого, кто приближается к государю и его семье...

Между радостью и страхом трепетала душа бедняка, пока он, стоя в стороне, шептал про себя молитвы и поминал "царя Давида и всю кротость его".

Иногда Зотов готов был убежать из этой прихожей, где толпилось так много знатного люда. Каждая минута тянулась бесконечно и походила на пытку. Холодный пот покрывал побледневшее лицо и лоб приказного. Ноги подгибались.

Вдруг из внутренних покоев показался комнатный стольник [30] , молодой Пётр Матвеевич Апраксин.

— Кто здесь Никита Зотов?

— Твой раб, государь мой. Тут я, милостивец. Что поизволишь?

— Государь изволит тебя спрашивать. Ступай скорее. Да ты, никак, с места не можешь двинуться. Али ноги не несут? Не бойся, парень. Не кары — милости ради зовёт тебя государь. Ну, иди, не бабься...

И Апраксин взял за руку совсем оробелого приказного.

Все обратили внимание на них. Удивлялись и спрашивали негромко, что за нужда государю звать к себе безусого, плохо одетого писца?

— Ох, милостивец... Пожди, государь мой, — взмолился между тем Зотов, — к сердцу подступило, дух перехватило, ноги не идут... Дай хоть малость опамятоваться...

— Ну, переводит дух... Видно, труслив больно, парень.

Зотов не слушал, что говорит Апраксин, не видел никого кругом. Постояв немного, он зашептал снова молитву и стал быстро креститься. Потом, набравшись храбрости, заявил:

— Веди, государь милостивый...

Не помня себя, дошёл вслед за Апраксиным до порога царской опочивальни и сам не знал, как переступил порог.

Тут так и повалился в ноги Федору, который в утреннем наряде сидел за столом; на столе лежали книги и письменный прибор.

— Вставай, Никитушка. Ну-ка, покажись, каков ты есть?

И он стал вглядываться в Зотова, который поднялся и стоял, не решаясь взглянуть на царя.

— Ничего, видать, прямой, не лукавый парень. Смирнен, говорят. А каков в письме да грамоте? Поглядим, послушаем. Вот с отцом Симеоном мы и помытарим тебя, — кивая головой входящему Полоцкому, которого тоже пригласил к этому экзамену, сказал царь.

Испытание Зотов выдержал хорошо.

— Пристойно и неошибочно читает и пишет сей муж. И в писании Священном сведущ, — поглядев написанное тут же Никитой, прослушав чтение и объяснение отрывков из Библии, заявил Полоцкий.

— Добро, коли так. И мне сдаётся, правду ты толковал, боярин, — обратясь к Соковнину, заметил царь. — Пристойный будет наставник Петруше. К государыне-матушке теперь отвёл бы его. Как ей покажется? Ступай, Никита. Гляди, учи хорошенько братца Петрушу. И наша милость будет тебе.

Благоговейно прикоснулся губами Зотов к протянутой ему руке и вышел за Соковниным.

Внутренними переходами проводил его боярин на половину Натальи.

Окружённая боярынями, сидела Наталья на кресле вроде трона. Царевич стоял подле, держась за руку матери, и внимательно вглядывался в нового учителя.

Дедушка, Кирила Полуэхтович, дядька царевича, князь Борис Алексеевич Голицын, молодые братья Натальи и сестра её, Авдотья, — все были тут же. Всем хотелось взглянуть на учителя Петруши.

Царевичу не удалось хорошо разглядеть лица Зотова. Тот как ударил челом в землю перед царицей, так и не поднимался.

Величественная осанка Натальи, её пронизательные, тёмные глаза, которыми мать так и впилась в Зотова, словно сразу желала проникнуть в душу того, кому придётся поручить сына, — все это повлияло на робкого приказного даже сильнее, чем лицезрение царя. Тем более что Федор принял его совсем запросто.

— Встань, слышь, Никитушка. Сказывали мне, благочинно живёшь ты, писанию Божественному обучен. Волим вручить тебе сына моего, царевича. Блюди за ним, прилежно научай божественной премудрости,

страху Господню, благочинному житию и писанию. Чтению малость приучен Петруша. Мастерца [31] царевен и ему азы казала. А то и сам наглядывал... Да встань, слышь. Что за охота тебе пластом так лежать?

Ласковый голос Натальи, которым заговорила эта величественная и суровая на первый взгляд государыня, почему-то растрогал, потряс душу Зотова. Все волнения этого утра разрешились слезами.

Стараясь подавить непрошенные рыдания, не поднимая головы, Зотов, всхлипывая по-бабьи, тонким, рвущимся голосом ответил:

— Помилуй, государыня. Недостоин я хранить и оберегати толикое сокровище. Страхом душа исполнена. Ей, помилуй, царица-матушка Отпусти холопа своего.

— Ну, пустое толкуешь. Говорю, встань. Вот так... Наутро перевозись сюды, в терем. Покойчик тебе отведут, светёлку особую. Да и с Богом, за ученье. А теперь — иди... И впрямь, ровно не в себе ты, Мосеич. Ступай с Богом.

Как ко святому причастию, прикоснулся Зотов к мягкой, холёной руке царицыной, милостиво протянутой ему для поцелуя, ударил челом Наталье, царевичу и, пятясь, вышел из покоя.

Не помня себя от радости, Зотов не заметил, как и домой попал. Весь день словно в угаре проходил, был нем, не отвечал на вопросы домашних. Всю ночь почти провёл перед иконами в молитве.

На другое утро, 12 марта 1677 года, едва Никита огляделся в комнатёнке, которую ему отвели по приказанию Натальи в её тереме, пришли звать учителя к царице.

— Только раней, Никита Мосеич, вот принарядись-ка малость. Жалует тебе государыня-царица весь убор, верхнее да исподнее платье. И сапоги с шапкой. Вот, все тут. Давай помогу тебе, — объявил юноша-стольник Натальи, развязывая большой узел, который принёс с собою.

Четверти часа не прошло, как Зотов сам себя не узнал, наряжённый в новый богатый, тёмного цвета, кафтан с опушкой, в шёлковую рубаху, в сапоги мягкого сафьяна с острыми носками вместо старых стоптанных чоботьев, в каких ходил он раньше.

Сердце так сильно билось от восторга и страха в груди Зотова, что вздрагивала шуршавшая при малейшем движении шёлковая ткань его рубашки.

Наталья была не одна. Царь с ближними боярами, святейший патриарх, царевны, сестры Федора и тётки его собрались, как на семейное торжество, на первый урок любимого всеми царевича.

Все только и ждали Зотова. Не успел он добить им челом, как сам патриарх с духовником царицы начал править краткую обедню, окропил святой водой царевича, всех остальных и, благословляя ребёнка, сказал:

— Ныне, чадо моё любимое, новой жизни, духовной причастен станешь. Укрепляйся в ней и трудись благоуспешно, як тилом цветёшь та крепнешь час от часу, матери-царице, государю-брату и мини во утешение, земле усей на радисть. А ты, сыну, прими отрока, ветвь древа царственного. Надели его свитом знания та блюди строго чистоту дитяти духовную и телесную. Аминь!

Вторично с благословением возложил он руки на голову царевичу.

Зотов поцеловал руку патриарху, принял от него ребёнка, повёл к столу, где лежали приготовленные книги, тетрадки, стоял прекрасный письменный прибор, и в присутствии царственных свидетелей состоялся первый урок Петра с Зотовым.

Усадив царевича, учитель отдал ему земной поклон, уселся рядом на самый край скамьи, достал указку, развернул букварь и приступил к ученью.

— Се реки, царевич: аз.

— Аз! — напряжённым, звонким голосом повторял ребёнок.

Пробный урок длился недолго. Патриарх первый поднялся, похвалил ученика и обратился к учителю:

— Изрядно ведёшь дило. Видно, благословенье Божие почит на тэбэ. Жалуем тэбэ казноу нашей патриаршей, во сто рублив... Выдай ему, брат Арсений, — приказал Иоаким своему казначею, стоявшему поодаль.

Приготовленный заранее тяжёлый кошель с рублевиками перешёл сейчас же в руки ошастливленного Никиты. По тому времени такие

деньги составляли большой капитал.

— И от нас тебе пожалованье будет. Семейка, сказывают, у тебя немалая. Так для прожитья, чтобы угол свой был, жалую тебе двор наш у Никольских ворот... Боярин Иван Максимыч, — Федор указал на Языкова, — и купчие крепости тебе передаст, коли готовы...

Только молчит Зотов, земные поклоны отдаёт, прижав руки к груди и ловя воздух пересохшими от волнения губами.

— А это тебе от нас с Петрушей, — говорит Наталья и указывает на полный, очень богатый наряд, который в это самое время подал на подносе стольник, приходивший одевать Зотова.

Слезы снова брызнули из глаз бедняка, на которого, как во сне, посыпались все блага мира.

— Спаси вас... Челом вам...— пытается говорить он. Но от волнения сжимается горло и звуки не выходят из груди.

— Добре! Потим покланяешься, — успокоительно произнёс старец Иоаким. — Ступай, трохи очухайся, сыну. Ишь, як тэбэ расшатало. Ничого, приобкнешь. Не усе горьке пить. Ино и сладенького хлебнуты можно Ступай, сыну.

Молча откланявшись, вышел Зотов из покоя, действительно, без вина шатаясь, как пьяный, от радости и сильных волнений, только что пережитых.

А царевич, такой же серьёзный, затихший, каким был все это время, долго глядел вслед учителю и вдруг решительно объявил:

— Я с им стану учиться. Он знает грамоту. Он любит меня.

Общая улыбка была ответом на деловитое замечание ребёнка.

С этого дня Федор особенно часто стал появляться и в покоях, отведённых теперь Петру, и присутствовать на уроках мальчика. Как будто вспыхнула в царе прежняя нежность, какую он питал к меньшому брату когда и сам ещё был мальчиком двенадцатилетним, при жизни царя Алексея.

Конечно, об этом сейчас же толки пошли по всему дворцу. Заговорила о том же и царица Софья с боярыней Анной Хитрово, когда старуха

пришла проведать царевен.

— Откуда добыл Соковнин учителя? Мудрует тот с братцем Петрушей, что и сказать не можно. Вишь, подольстился к матушке нашей наречённой, к Натальюшке. Уж так-то Петрушу расхвалил, и-и-и!.. "И смышлён-то, и разумен-то... И такое, и иное..." Мало-де малышу грамоте да Святое писание знать да письму помаленьку обучиться. Куды... Учителей иных ещё набрали. Никитка старшой над ними. Истории обучать стали несмышлёного, землеописанию, мало ещё чему... И про бои ему толкуют, про ратное строение, и про взятие городов крепких... и... Да мало ль про што? Счёту учить починают. Чертежи кажут и самому толкуют, как их чертить... А то ещё мастеров назвал да красками разными расписать научил все покои в палатах брата. Там и грады, и палаты знаменитые, дела военные, корабли великие, ровно в яви бывают. Про царей истории разные изображены и прописью чётко подписано про все, что оно значит... Да не столько по книгам учит отрока, как водит из покоя в покой, басни ему сказывает. Особливо, слышно, про государей прежних воинствующих. Про Дмитрия Донского, про Александра Невского. А особливо про царя Ивана Васильевича. Мальчонка и то, бывало, с другими парнишками дни целые ратным строем тешился. А ныне — и впрямь от воинских дел без ума... Подрастёт, гляди, всё будет искать, с кем бы повоевать? А братец-государь вот как рад. Не выходит, почитай, из покоев Петрушиных. Только что сам с им не тешится. Да уж так того Зотова нахваливает. Отколь, слышь, набрался ярыжка [32] всякой затеи да выдумки?.. И в толк не возьму, боярыня.

— Отколь?.. Ты не знаешь, Софьюшка, так я сведала, — ответила мамка царевны. — Матвеевского гнёзда пташка той Зотов. Ещё как в Посольском приказе он служил, бывал Никитка в дому у Артемона. И ради письма своего красного, и ради послуги всякой, какую боярину оказывал. Тогда Никитка особливо к ученью Андрюшки Матвеева приглядывался. А теперь и сам ту же канитель заводит, что у разумника нашего заведена была. Уразумела теперь. А дядьками Петруше, окромя Голицына, двое Стрешневых приставлены: Родион Матвейч да Тихон

Никитыч, заведомые Дружки Натальи, потатчики нарышкинские... Ишь, с кем они подружились, нас бы выжить... И нет Матвеева, а все дух его не выдохся. Нарышкины и без него как при нём живут, одно думают: Федора бы, как Алёшу, родителя твоего покойного, к рукам поприбрать... Вас повыселить из дворца... А там, помаленьку, и поставить Петрушу своего, смышлёного да наученного, на царство...

— Ох, правда все, что ты говоришь, матушка... Как же быть-то?.. Дядю Ивана упредить бы... Он бы што али боярин Богдан Матвеич...

— Ничего. Заспокойся, Софьюшка. Им уж все ведомо. Знаешь, у меня тут все вести-весточки, словно касаточки, слетаются. Отсель куды надо летят... Дело просто. Оженить Федю надо. Свои детки пойдут, о брате меньше думать станет. А уж в цари сажать и не подумает. А там, с роднёй новой с царицной соединясь, авось, с Божьей помощью и одолеем Нарышкиных... Одного же поизбавились, самого злобного... Артемона свет Сергеича... Так их всех изживём... Потерпи малость.

Софья привыкла верить старухе, знала, как та прозорлива и умна, и, успокоенная, простилась с боярыней.

Слова старухи сбылись, хотя и не скоро.

Худосочный, хилый Федор, которому ещё не свершилось и шестнадцати лет, по общему мнению врачей, не мог теперь вступить в брак без ущерба для своего здоровья.

— Годок-другой повременить надо, когда окрепнет государь от своей скорби, рекомой morbus scorbuticus, тогда и надежды будет больше, что не угаснет род царский. А преждевременная женитьба может нанести ущерб его царскому величеству.

Не совсем доверяли нетерпеливые советники Федора таким речам. Обычно наследники и цари московские очень рано вступали в брак, и не бывало ничего плохого от этого.

Но юный царь в течение почти двух лет большую часть времени хворал, и только к концу 1678 года можно было собрать невест, из которых должен был себе избрать Федор царицу.

Сильнейшие из вельмож, по примеру Матвеева, думали было до всяких

смотрин сблизить Федора со своими дочерьми. Легче всего было это делать при помощи царевен, тёток и сестёр царя, когда привозили боярышень на поклон, зная, что Федору здесь легко приглядеться к девушке. И через Анну Хитрово добивались того же. Но тут интересы сильнейших бояр столкнулись, и каждый употребил крайние усилия, только бы не дать другому добиться заветной цели.

Стоит взглянуть на список отвергнутых девиц, после смотрин возвращённых по домам, и станет ясно, кто старался провести в царицы своих дочерей.

Обычные подарки для отвергнутых девиц были розданы двум дочерям Федора Куракина, Марфе и Анне Федоровнам. Как дядька царя, он уж, конечно, имел случай похлопотать за своих дочерей — и всё-таки дело не выгорело. Затем идёт дочь второго дядьки, Ивана Хитрово, — Василиса; дочь окольного [33], князя Данилы Великого — Галина; дочь стольника, князя Никиты Ростовского; две дочери князей Семена и Алексея Звенигородских; дочери князей Семена Львова, Володимира Волконского.

Тогда, словно по уговору, бояре предоставили самому Федору избрать себе подругу. И когда он остановился на миловидной и скромной девушке, Агафье Грушецкой, из простого дворянского рода, — бояре не стали восставать против этого выбора, только поставили условие:

— Пускай царь для радости своей берет кого хочет. Да родня бы незнатная новой царицы в знать не лезла. И без того тесно во дворцах и теремах от новой знати: Стрешневых род, Милославские все, Нарышкины опять! Одних братьев царицыных боле двадцати в Верху живёт, родных и двоюродных... Скоро и казны всей царской не хватит кормить-поить их... И мест по царству не буде царску родню сажать. Прямой урон земле и царству от того.

Не стал спорить об этом Федор.

Он понимал, что дела царства плохо пойдут, если он возьмётся за управление своими слабыми, неопытными руками. И только где возникал вопрос о его личной, внутренней жизни, там ещё мог кое-как отстоять

юный царь свои желания, свою волю.

Осенью 1679 года обвенчался царь с Агафьей Семёновной Грушецкой и свадьбу отпраздновал без всякого чина, даже скромнее, чем это было при женитьбе Алексея на Наталье. Только Симеон Полоцкий и новый придворный пиит и ученик белоруса, монах Сильвестр Медведев [34] , сложили широковещательные оды на это "великое и радостное для всей земли Русской торжество".

Словно на счастье, у новой царицы оказалось немного мужской родни. И те, кто был, не тянулись в знать. Дядя её со стороны матери Семён Заборовский ограничился желанием попасть в число думных дворян. Отцу было дано боярство. Только две красивые, скромные девушки, Анна и Фёкла, сестры Агафьи, были выданы за знатных женихов. Первая за сибирского царевича Василия, вторая стала княгиней Урусовой, и щедрое приданое получили обе по милости царя и сестры-царицы.

А молодые родичи, Грушецкие, были всего лишь "жильцами", младшим чином при дворе.

Быстро шли дни за днями.

Весёлая, живая первое время, молодая царица скоро изменилась.

Нежное, полудетское личико её побледнело. Глаза то загорались нездоровым огнём, то потухали надолго.

И постоянное нездоровье Федора удручало царицу, и сама она тосковала, видя, что судьба не даёт ей радости быть матерью, подарить наследника московскому престолу.

Ни мольбы, ни богатые дары, посылаемые в разные обители и храмы, ни щедрая милостыня — ничего не помогало. Призывались врачи, знахарки и знахари... Но прошло больше году, прежде чем у царицы явилась надежда на исполнение её самой заветной, дорогой мечты.

Обрадовался и Федор, узнав, что скоро станет отцом. Только врачи, ничего не говоря своим державным пациентам, переглядывались между собою и сомнительно покачивали головами.

Воспрянувшая было духом, радостная, словно обновлённая Агафья таяла на глазах у всех. И сами врачи не могли и не смели добраться до причин

этой телесной немощи.

Конечно, она могла быть временной, могла зависеть от особого состояния молодой царевны... Но кто поручится, что тут не замешаны те же тёмные силы, которые сводили с трона немало невест и жён царских?

Вот почему врачи только покачивают головами и ждут, что будет.

Но Милославские и их друзья, не настолько опасливые, как врачи, совсем воспрянули духом.

— Вот дал наконец Господь. Подарит царица молодая наследника на царство. Можно теперь и Нарышкиных с их царевичем черномазым с рук сбыть... Свой буде прямой царевич у нас, не брат младший, а сын единокровный...

Однако, видя искреннее расположение Федора к Петру, стали действовать очень осторожно.

Наталья чувствовала, как наглеют недруги, стараясь сделать для неё нестерпимой жизнь вблизи царя. Но все сносила терпеливо.

— Слышь, матушка, — говорила она порой Анне Леонтьевне. — Сказывал на днях Языков мне: теснота-де в старом дворце настала; нам-де с Петрушей царь новый двор строить хочет... Тута остаться, все терпеть — мочи моей нету. А и уйти прочь боюся. Бок о бок с царём — все же спокойнее мне и Петруше. Коли што, гляди, и защита будет... Все на глазах. Не больно строг Федор с боярами, да не посмеют же они Петрушу, как Дмитрия в Угличе, на глазах на братних зарезать.

Сказала — и вздрогнула сама, словно увидела наяву ненаглядного своего Петрушу с зияющей на шее раной, облитого кровью...

— Ох, доченька, и я уж про то же меречаю... Молюсь святым угодникам... Не попустит Господь!

Толкуют обе женщины, а сами и забыли, что тут же, тихо прикорнув в углу за книгой, сидит царевич, их радость, их надежда.

И вдруг, поднявшись от стола, Пётр подошёл к матери, осторожно заговорил:

— Матушка, да коли обижают тебя... Уедем к себе, в Преображенское... Там нет чужих. Не тронет меня там никто... Я и вырасту... А когда

вырасту...

Ему не дали досказать.

Мать закрыла детские уста поцелуем, тревожно оглядываясь, словно опасаясь, не выдадут ли самые стены её опочивальни того, что сейчас было сказано.

А старуха укоризненно покачала головой и поджала многозначительно губы.

"Вот, мол, не поостереглись — и дитя услышало, чего бы до поры ему и знать не надо".

Эту мысль прочла Наталья в глазах матери.

А сама, расправляя непокорные тёмные кудри мальчика, нежно касаясь бледными, тонкими пальцами его розовых, смуглых, покрытых пухом щёк, шепчет:

— Не толкуй пустое, дитячко. Где же зимою в лесу прожить? Там и от волков обороны мало, не то от людей... Да и помалкивай лучше. Не думай про лихо, оно пройдёт мимо. На леса, на горы, на сухие поляны... Спаси и защиты, Мать Божия, отрока Петра.

Побледнела Наталья. Губы её шепчут не то молитву, не то заклинание...

Восемь лет царевичу. Но он уж такой рослый, что и все двенадцать можно ему дать. А по уму и смелости он далеко превосходит не только однолеток, но и взрослых товарищей, каких допускают дядьки и наставники для совместной игры с Петром.

Встряхнув кудрявой головой, выпрямься перед женщинами, словно кидая вызов кому-то, он объявил:

— Пусть кто тронет тебя, матушка... Я весь свой полк соберу... Ужо не спустим обидчику... Да и брат-государь по правде любит меня... И тебя слушает. Ты и скажи ему... Я тоже скажу... Он нас оборонит, не даст в обиду... Он...

— Да ладно... Да будет, дитячко. Глупый ты, несмышлёный ещё... Я так, пустое молвила. А ты вон уж што. Помолчи, слышь. Я велю. Гляди, и в беду нас впутаешь, — уже принимая строгий вид, стала приказывать Наталья; но не выдержала до конца роли и с новыми горячими

поцелуями и ласками зашептала: — Ох, Петенька, солнышко моё ясное... Горькие мы с тобою сироты... Недруги нас обступили, кругом обложила сила вражья... Помалкивай лучше, соколик ты мой. Молю тебя Христом-Богом... Лучше, коли тише, — невольно повторяя полузабытый завет покойного, Тишайшего царя Алексея, уговаривает сына вдова-царица.

Ничего не сказал на это мальчик, повёл густыми, тёмными бровями — и отошёл опять к столу, за книжку свою уселся...

А мать с дочерью дальше ведут печальный разговор, только потише, почти шепотком теперь, чтобы опять не встревожить этого мальчика, который дороже им собственной жизни и счастья. И имя царевны Софьи изредка доносится до обострённого слуха Петра, который, весь насторожась, глядит только в книгу, а не читает её.

В тот же день, когда Зотов позвал царевича в обычный час к уроку, Пётр, учившийся постоянно внимательно, с большой охотой, был очень рассеян, даже грустен, словно иногда и не слышал объяснений и вопросов наставника.

— Да здоров ли ты, государь мой царевич? Ино оставим науку, коли што. Потолкуем налегке про кой-што. Вон хоть в ту горницу пойдём, где воинское дело представлено. Може, што новое скажу тебе, — предложил Зотов.

Больше всего любил мальчик картины в одном из покоев, предоставленных ему, на них было изображено военное вооружение, снимки с известных баталий, планы лагерей и крепостей.

Но невинная уловка не помогла.

Мальчик перешёл в "батальный" покой, слушал, что говорил ему Зотов, а выражение внутренней напряжённой думы не сходило с красивого личика.

— Да не поведаеть ли мне, Петрушенька, с чего заскучал? Может, недужен ты, светик мой, — с искренней, нежной тревогой спросил наконец Зотов. — Надо государыне сказать. Лекаря покличем. Скажи, прошу душевно.

— Не надо... Зачем матушке? Здоров я... А вот спросить хочу тебя... Да не

ведаю, ладно ли будет? Матушка сказывала, молчал бы. А и молчать нет мочи. С того я...

— Вижу, сам вижу мятется душенька твоя чистая, ангельская. Да уж поведай мне. Вот тебе икона. Крест святой порукой: а ни-ни... на духу не поведаю, попу не открою, што сказать изволишь... А може, умишком моим худым и советишко дам пригодный. Не от разума, от усердия моего да от щедрой приязни...

Искренно любящий мальчика Зотов быстро-быстро крестился, а глаза его даже наполнились слезами от наплыва чувств.

— Ну уж скажу... Слышь, лишь бы никому не сказывал... Помни. Крестом поручался ты...

И, понизив голос, царевич передал наставнику весь недавний разговор свой с матерью и бабушкой.

— Мудрёную задал ты мне задачу, царевич. И не ждал я никак того, што услышать довелось. Лучче бы и не допытыватца, и не дознаватца мне... Простого я роду, не обык к вашим царским делам да случаям... Што и сказать, совет какой дать, не знаю.

И Зотов умолк. Ничего не сказал и мальчик. Но с такой тоской глядел он мимо учителя в соседнее окно, что у того сердце сжималось от боли.

Наконец он снова заговорил.

— Да поведай уж, што ты волил знать от меня, царевич? Може, наставит Господь меня, недостойного...

— Сам подумай, чего мне надобно.. Как бы матушку оберечь? Недругов наших одолеть? Видно, боязно матушке; и меня бы, как Димитрия-царевича, со свету бы не сжили людишки подлые...

— Да неужто ж царевна встанет на брата, сестра-то родная?

— Царевна? — сразу, вздрогнув, насторожился Пётр, — Да нешто правда, што Софья на нас с матушкой... с врагами с нашими? Мосеич, што ты?

И широко раскрылись глаза у мальчика не то от ужаса, не то от омерзения.

— Господь с тобою... Нешто я сказал такое?. Ты же мне сказывал, будто

и царевны-сестрицы имя было матушкой-царицей помянуто... Я, по правде сказать, слышал, што неспокойно в терему у царевен, особливо в покоях царевны Софьюшки. Да не на грех же подбивают её... Обычно в дому вашем царском дня не бывает без наговоров да составов разных. Друг дружке ногу каждый подставить норовит. А штобы такое дело! Храни Боже! Ежели вороги ваши плохое и задумали, так то лишь одни бояре... Ну, скажем, Языков тот же, што в ином месте поселить тебя, государь-царевич, с царицей-матушкой собирается... Ну, Хитрово али Милославские... А штобы царевна... Храни Господь. И не поминай её.

— Ладно, ладно, не стану Слышь, што задумал я. К братцу, к царю, прямо пойти и поведать про все. Ужли ж не вступится братец? Брат же я государю. Крёстный он мне. Батюшка, слышь, помираяючи, при всех сказывал мне по братце на царство сесть. Даст ли он в обиду нас?

— Не даст, не даст, царевич. Верное твоё слово. Вон Господь как умудрил тебя, младенца... Одно дело, и бояре побоятца дурное што учинить с тобой. Ещё и наследника нет у государя. А будет ли, Бог весть.. Слышь, и то они друг дружку корят порой, што сами горе земле готовят. Второе, мол, лихолетье настанет, коль корень царский изведётся. Так промеж здешних людей, промеж челяди толк идёт... Иди с Богом, скажи государю. Пред его очами — правда, как масло на воду, так и выступит. Поди, он и не знает, што умышляют злые люди... Царь даст порадую... Только, слышь, меня не называй... што совет я давал тебе... Меня-то одним махом проглнут тут... Слышь, царевич...

Воодушевление, охватившее на короткое время Зотова, сразу пропало при мысли о той опасности, какой подвергался он сам, впутываясь в игру верховных бояр и царской семьи.

— Уж ты не думай. Тебя не помяну... Уж ты верь, — успокоил Зотова мальчик.

И Зотов понял, что ребёнок действительно не выдаст его. Не слушая благодарностей наставника, Пётр снова в раздумье заговорил:

— А постой... ежели мне раней к святейшему патриарху... Ему слово молвить... Помнишь, как читали мы про Ивана Васильича... Теснили ево в

юности бояре, а он у патриарха, у святого Макария и совет и помощь нашёл... Как скажешь?..

Почёсывая слегка затылок, Зотов в смущении не знал, что отвечать.

— Макарий... Так то был Макарий, — наконец негромко проговорил он. — А наш святейший кир-патриарх... Дай ему Господи многая лета... Благ он уж больно. Словно и нет для него злых людей, все хороши да милы... Станет ли он с боярами с главными, с сильными в спор вступать? То подумай, царевич. Да и не наш он. Из украинцев... Может, оттово и не мешается вовсе в дела московские. Церковь блюдёт...

Зотов словно забыл, что перед ним восьмилетний ребёнок, и толковал, как со взрослым юношей. И выражение лица царевича совсем было не детское в эту минуту.

— Правда твоя... Не такой он, старец Иоаким, как был Макарий. Не будет нам защиты от него... Да што там... Прямо — лучше... Ты сиди... я приду скоро... Я только к братцу-государю...

Не успел Зотов сказать что-нибудь, остановить ребёнка, как тот уж выбежал из покоя и знакомыми переходами поспешил на половину Федора.

Резвый мальчик-царевич и раньше, бывало, появлялся один везде во дворце, заглядывал и к брату спросить о здоровье от имени своего и царицы Натальи, выпросить гостинцев или новых книжек.

Теперь тоже никто не обратил внимание на Петра, когда тот появился в покоях Федора.

Здесь стольник объявил, что государь ещё на совете, в Грановитой палате, с ближними боярами своими.

Мальчик даже не дослушал, что говорил дежурный спальник, и поспешил дальше.

Стрельцы и привратники были удивлены появлением младшего царевича у дверей палаты, но остановить его не посмели, полагая, что без царского зова он не явился бы на совет бояр с царём.

Тут же, почти у дверей догнал царевича Зотов, который, опомнившись, кинулся следом за своим питомцем.

— Царевич, пожди... Неладно так-то, на совете на боярском... Помысли малость, — задыхаясь от поспешной ходьбы и волнения, шепнул царевичу наставник.

— Чего неладно? Я же поклониться желаю государю-брату моему, царю Федору Алексеевичу. Не видал его давно.

И с этими словами Пётр перешагнул порог. Зотов, ни жив ни мёртв, так и застыл у порога, не решаясь войти, и только сквозь полураскрытую дверь глядел, что будет дальше.

Степенно подошёл царевич к ступеням, на которых стоял трон, охраняемый по бокам двумя золочёными львами, по образцу византийских царских престолов.

Федор, как и все думные бояре, сидящие тут, был удивлён появлением брата, но сейчас же ласково закивал головой в ответ на чинный, глубокий поклон мальчика, поднялся с места и поцеловал его в голову и в лицо, пока мальчик, по обычаю, приложился к руке царской.

— Али пришёл с чем на совет наш на царский?.. Жалуй, милости прошу... Просить, што ли, хочешь о чём? Сказывай... Поди сюда, ближе.

И, снова усевшись на троне, Федор поставил перед собою брата, словно невольно залюбовавшись смущённым, покрасневшим, почти пунцовым от волнения, личиком царевича. Смелость, с какой Пётр явился сюда, вдруг покинула его. Он молчал, не зная, с чего начать... Мял в руках край своего кафтанчика и кусал пухлые, свежие губки красиво очерченного рта, чтобы не расплакаться громко.

Тут же сидели почти все, на кого мальчик хотел принести жалобу брату: боярин Языков, Хитрово, Иван Милославский...

Ребёнок не думал, конечно, делать заглазного доноса. Он знал, что каждое слово против этих бояр станет им известно. Он хотел пожаловаться, сознавая свою правоту, радуясь, что придётся стать на защиту горячо любимой матери и, может быть, даже пострадать при этом...

Но выступить хотя бы и с таким большим делом при двадцати — тридцати боярах и царевичах, таких важных, почти сплошь седобородых

и седовласых... При этих думских дьяках и дворянах, сидящих поодаль и с таким вниманием кидающих взоры на малыша, словно бы они и не узнали его или приняли за какое-либо незнакомое раньше существо... Все это лишило мальчика самообладания. Он понимал, стоит ему заговорить — вместе со словами вырвутся из груди невольные, непрошенные слезы... Унизительный ребяческий плач, которого вообще не любил царевич. Даже если порой приходилось терпеть боль, Пётр старался не плакать. А тут...

И, крепко сжав губы, мальчик продолжал молчать...

— Ну, что же ты, братишко? Или забыл, с чем шёл? Забоялся при всех... Ладно. Ступай теперя. Скоро и кончим. Ко мне попозднее приходи, там потолкуем...

Ласковое предположение, что он забоялся, словно укололо царевича. Способность говорить сразу вернулась к нему.

— Без страху пришёл я, брат-государь мой, царь Федор Алексеевич. Челом тебе бью, жалобу приношу слёзную... От себя да и от матушки-государыни нашей, Наталии Кирилловны.

Сразу лица бояр приняли удивлённо-встревоженное выражение. Послышались и подавленные возгласы. Некоторые, как Языков и другие, чутьём догадались, о чём будет речь, и побледнели.

Царевич при вспоминании о матери ощутил, как слезы клубком снова подкатываются к самому горлу. Но ещё крепился.

— Жалобу? Што приключилось? Сказывай скорее... Поди сюда... Садись...

И царь усадил его рядом с собою на широкое сиденье трона, где раньше худощавая фигура Федора выглядела так беспомощно.

— Што ж молчишь? Обидел-то хто тебя и матушку? Говори. Видно, дело не малое, што здесь нашёл меня. Я слушаю.

— Обидел хто?.. Ещё нет. А задумано... Вот он, — указывая на Языкова, звенящим голосом начал снова царевич, — матушке сказывал: из терема её, из твоего дворца царского нас переселить задумали... Тесно-де тут. В новы хоромы нас... А то и вовсе с глаз твоих... А там... матушка сказывала: без твоей охраны царской хто ведает, што учинить могут люди злые?! Не

похуже, чем в Угличе было от Бориса Годунова на царевича Димитрия, вот как в истории писано... Я не за себя, за матушку боюсь... Сироты мы, да брат же ты мне, государь, не чужой. Ужли не вступишься? Ужли и угла нам с матушкой нету в доме родительском...

Слезы снова так и брызнули из глаз царевича. Чтобы громко не разрыдаться, он умолк.

И всё смолкло кругом.

Федор, прижав к груди голову брата, ласково отирал ему слезы и сам словно раздумывал о чём-то. Потом взглянул прямо в глаза Языкову, сидящему недалеко от трона, и спросил:

— Што значат речи царевича? Ну, буде, брат милый... Да, не плачь же, негоже... На людях плакать невместно царевичу... Слышишь?..

Ласки, поцелуи и уговоры брата успокоили мальчика. Он затих.

А Федор снова обратился к Языкову:

— Слышь, Иван Максимыч, сказывал ты: сама государыня-матушка, утеснения ради, толковала тебе: прибавить бы покоев в её терему али иное место дать для житья. А тут што слышно стало? Растволкуй, боярин.

То багровея, то бледнея, едва выдавливая слова из пересохшего горла, Языков поднялся и заговорил:

— Царь-государь, Господом распятым клянусь: знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Может, я одно толковал, а государыня инако принять изволила. Её государское дело. А мне ли от тебя, государь, твоего царского величества родню отлучать. И в уме того не было. Хоть на пытку вели. Все то же скажу...

Неловко стало всем и от клятвы, и от этих слов боярина. Наглость и злоба уживались в их грубых, тёмных душах, но худородный выскочка Языков прибавил к этому и холопьею низости.

Снова наступило тяжёлое молчание.

— Так, ин пусть оно так; верю тебе, боярин. Слышал, родимый, слышал, Петруша? Знай и матушке скажи: никто не посмеет матушку али, храни Бог, тебя обидеть — меня обидеть, мне зло сотворить. А бояре наши не станут царям своим, коим крест целовали, худо чинить. Верим мы. Иди с

Богом, Петруша... Дела у нас ещё...

С просветлевшим лицом встал ребёнок, снова отдал обычный поклон царю, долгим, признательным, не обрядовым, от сердца поцелуем ответил на поцелуй Федора и вышел из палаты.

Снова едва поспеть мог Зотов за своим питомцем, когда тот кинулся обратно к матери, чтобы скорей рассказать ей все, порадовать родимую.

А Языков, заметя сквозь распахнувшуюся дверь фигуру Зотова, только губы закусил и спустя немного шепнул соседу своему, Хитрово:

— Знаешь, боярин, хто все сие лицедейство настроил?

— Хто? Уж не Полоцкий ли? Он на эти дела мастер. Да, слышь, помирает он.

— Нету... Иной, не столь полёту высокого. Ярыжка приказная, Зотов, учитель Петрушеньки нашего. Видать, тоже в люди захотелось. На шутки пошёл... к царице подбивается, ко вдовице неутешной... Хе-хе-хе. Ладно, я ему удружу...

— Да, удружить надоть, коли так.. Ты помолчи покуда... Вон царь в нашу сторону поглядывает. Потолкуем ещё...

Они потолковали в тот же день. И решили судьбу Никиты Моисеича.

На Рождество того же 1680 года пришлось снаряжать чрезвычайное посольство для подписания мира на двадцать лет с крымским ханом. Во главе стоял наместник переяславский, думный дьяк Тяпкин.

Расхвалив Зотова, как знающего дело и умного человека, уговорили царя присоединить и его к важному посольству.

— А брата кто же учить станет? — спросил было Федор.

— Мало ль кроме Зотова у царевича учителей? Чему и учил Никитка его царское величество? Вон царевич, Бог дал, не то Псалтирь — Апостол весь наизусть сказывать изволит И пишет преизрядно. И счёту всякому обучен... Иные учителя потребны государю-царевичу... А Зотов не только школярить может кого, а боле добра принесёт, коли в послах поедет.

Уговорили Федора, и Зотов со слезами на глазах узнал весть о своём "повышении", под которым скрывалось несомненное желание недругов царицы Натальи удалить от неё и от царевича преданного человека.

Пётр и Наталья поняли хитрый ход бояр. Но делать было нечего. И немало плакал, долго скучал потом царевич по своему наставнику. Вспоминала его и царица.

Прошла зима; весна и лето наступили своим чередом.

Одиннадцатого июля 1681 года сбылось то, о чём горячо мечтал юный царь, чего с нетерпением просили у Бога врага Нарышкиных, чего последние ожидали с тревогою, чуть ли не со страхом.

Царица Агафья подарила Федору малютку-сына, наречённого Ильёй в память деда, Ильи Милославского.

Однако эта радость оказалась слишком мимолётной.

Четырнадцатого июля не стало царицы Агафьи, и те же люди, которые сообщили Федору эту тяжёлую весть, несмело добавили:

— А и про царевича Илью дохтура довести приказывали твоему царскому величеству: больно скорбен младенец, ангел Божий... Кабы и его не призвал к себе Господь... Больно ненадёжен, слышь...

Только за голову схватился царь и застонал, как раненый, выслушав зловещие слова.

Ещё больше врачей и сведущих баб-повитух было собрано во дворец... Чего ни делали, только бы поддержать еле тлеющую жизнь в слабом, болезненном младенце, стоившем жизни своей матери. Ребёнок словно не захотел остаться здесь без неё — и царевича Ильи не стало 21 июля, через десять дней после рождения.

Мучительным, тяжёлым кошмаром, без сна и без еды почти, пронеслись эти десять дней для юного вдовца, потерявшего разом и молодую жену и надежду царства, первенца-сына...

В иные минуты окружающим казалось, что царь начинает говорить необычно дико и глядеть так же тупо и бессмысленно, как царевич Иван. Ещё хватило сил у страдальца проводить до могилы тело жены. Но когда хоронили её ребёнка, Федор сам лежал в жару, без памяти. И эта болезнь, должно быть, спасла его от чего-нибудь худшего, вроде безумия...

### Глава III. ПЕЧАЛЬНЫЙ БРАК

Тяжек был удар, способный сломить и более сильного человека. Но слабый, болезненный Федор перенёс его. Смирение и глубокая вера царя помогли ему в этом.

Поднявшись после болезни, бледный, исхудалый, почти восковой, он, вспоминая о жене и ребёнке, только шептал своими бескровными губами: — Воля Божья. Он один ведаёт, што творит...

Тётки и старшие сестры царя, запуганные, робкие, совсем застывшие в своём теремном полузаточении, жадно ловили каждую весть, долетающую через высокие стены, окружившие их жилище, но сами не решались впутываться во события.

Одна царевна Софья и ухаживала за больным братом, и старалась чаще быть при нём, когда он поправился немного.

Удар, поразивший царя, больно задел и весь род Милославских. Все понимали это.

— Вот, чай, теперь кадык подняли Нарышкины... Братец Ванюшка хворый у нас. Все знают. Сызнова Натальин Петруша на череду на царство, коли...

Царевна Екатерина, толковавшая с Софьей, не договорила, словно из боязни накликать смерть Федора напоминанием о ней...

Но Софья решительно качнула головой, которая так глубоко и крепко сидела на её пышных, даже чересчур развившихся теперь плечах.

— Не бывать тому. Не больно порадуются. Пускай тешатся покуда. Одно дело, брат Федор не в могилу собирается. Ещё и вдругорядь оженитца может. А коли бы, милуй Бог, не стало его... Все едино, не дадут нарышкинскому отродью землю во власть... Мало хто и стоит за них. Наши горой подымутся... Народ за нас... стрельцы за нами пойдут. Василь Василич Голицын, князь — над всею ратью поставлен. А он ли не за нас? Своё возьмём. Нечего нам перед Натальей шею гнуть, да я... Вот не пуцу да не пуцу её с отродьем на трон... И не будет того.

Такой силой, такой уверенностью звучали слова царевны, таким недобрым огнём горели её глаза, что каждый невольно поверил бы, не

только двадцатидвухлетняя девушка-царевна, сама желающая того же, о чём говорила Софья.

Даже жутко немного стало Екатерине от слов сестры.

— Как же ты надумала, Софьюшка?.. Неужли?.. Грех-то ведь тяжкий... Не от одной матери, да брат же он нам... Подумай...

— Я думала. А тебе, гляди, поучитца надобно. Будет грех, так не на нас. А и то, што ты мыслишь, — ни к чему оно... И без того можно с пути поубрать, ежели кто помехой станет...

И, словно видя перед собой эту досадную помеху, Софья сильнее сдвинула свои тёмные густые брови.

Федора тоже покоряла силой своего духа старшая сестра, как бы решившая заменить ему мать.

Постоянно и настойчиво твердили царю все окружающие о необходимости вступить снова в брак.

Но Федор больше отмалчивался или ссылался на трауре на своё нездоровье, на советы врачей: раньше, мол, надо окрепнуть ему, а потом думать о женитьбе.

И только Софье не возражал. Он понимал: не мелкие личные расчёты двигают ею, а родовая гордость. Он верил той горячей любви, которую постоянно проявляла сестра в своих заботах, в неусыпном уходе за братом во время частых недугов Федора.

И всё-таки порою слова замирали на губах царевны, она прекращала уговоры, встретив робкий, как бы умоляющий взгляд брата.

Ей казалось, что так глядели в старину мученики, о которых она читала в разных книгах.

Новая женитьба была чем-то вроде мучительного, но неизбежного подвига. И Федор, зная всю его неизбежность, молча как бы молил:

"Потерпи немного. Дай собраться с духом... Я всё сделаю для царства, для нашего рода... Но не сейчас... Отдохнуть надо душе и телу перед новым испытанием".

Так понимала взгляды царя Софья. И она не ошибалась.

Нередко Софья толковала обо всём этом с Василием Голицыным, с

которым очень подружилась за последние годы.

Умный, образованный, боярин-воевода превосходил многих из окружающих его вельмож и быстро составил себе карьеру.

Честолюбивый и решительный, князь сумел разгадать душу Софьи и пришёл ей на помощь во всех делах и планах.

Раньше, конечно, немыслимо было никакое сближение или дружба между затворницами-царевнами и людьми даже самыми близкими к царю, кроме ближайшей родни самой царицы.

Теперь же, когда и общий ход событий, и постоянные болезни царя выбили из колеи размеренную жизнь в московских дворцах и теремах, никого не удивляло, если царевны чаще обыкновенного появлялись и на народе, и на мужской половине Кремля. Не удивляло и то, что бояре, духовные лица и даже стрелецкие головы появлялись в пределах теремов не только во время редких, торжественных событий и выходов царских, но даже в неурочные дни, под предлогом деловых докладов, челобитья или посещения родственниц, постоянно живущих при теремах цариц и царевен.

Конечно, старухи, строгие блюстительницы древних нравов и обычаев, покачивали с сокрушением головой и потихоньку судачили между собой.

Но так как всё происходило в пределах приличий, они не решались громко огласить свои сетования.

Так понемногу распадались запоры, наглухо замыкавшие двери старого русского дворцового терема, осторожно надрывалась вдоль и поперёк густая фата, закрывающая от мира лицо и душу женской половины царских дворцов.

Слабоволие, вечное нездоровье царя, родовая распря, хотя незаметно, глухо, но упорно и грозно клопочущая в стенах дворца, яркая личность умной, настойчивой и осторожной при всём этом царевны Софьи — вот что заронило некоторым смелым, дальновидным честолюбцам мысль о новом государственном порядке, возможном на Руси.

С помощью одной из враждующих сторон удалить другую, объявить слабоумного, но довольно крепкого, живучем Ивана царём по смерти

Федора, жениться на одной из царевен, стать опекуном царя, посаженного для виду на престол... Потом постепенно приучить народ к мысли, что дети царевны-сестры могут наследовать власть после дяди... Регентство... и вдали, кто знает, может быть, по примеру Бориса Годунова, даже царские бармы... Почему бы нет?

Царство сиротеет. Умный и смелый человек разве не вправе поднять то, что может оказаться в один прекрасный день ничьим?

Только Пётр мешает... Но он пока ребёнок, трудно ли обойти это препятствие.

Вот какие планы в числе многих лелеял в душе Василий Васильевич Голицын и сошёлся на них с царевной Софьей. И, как бы подготавливая почву для новых событий, для новых людей, он со многими другими боярами уговорил царя на важный, решительный шаг. Задумано все дело было ещё царём Алексеем.

Древний обычай местничества, родового и служебного старшинства, отголосок дружинного строя, во многом связывал руки московским государям и на пути их к самовластию, и при введении новых начал в народную жизнь. Алексей не решился докончить дело, начатое ещё тяжкой рукой Ивана Грозного.

И вот при слабом, податливом Федоре недавнее, неродовитое боярство, считая, что принижение древних родов возвеличит их самих, добилось большого и важного решения. На торжественном собрании всех государственных чинов с участием патриарха и духовных владык 12 января 1682 года прозвучала речь Федора о вреде местничества. Тут же было составлено и подписано "соборное деяние", постановление, об уничтожении местничества на Руси. Из Разрядного приказа вынесли все списки и книги, на которые опирались бояре при спорах о первенстве и о местах. Грудой свалили их на площади и сожгли!

Василий Голицын был одним из главных лиц, склонивших царя на такой решительный шаг.

Теперь, призванный на совет, слушая Софью, более нетерпеливый, чем сама царевна, не связанный с Фёдором ни родством, ни привычкой

детства, Голицын не мог разделить добрых порывов, которыми озарялась порою душа девушки, такая мужественная и непреклонная всегда.

— Што же, оно и подождать не беда, — с притворным смирением выслушав царевну, заявил князь. — Ево воля царская, што станешь делать. Мы все — рабы царя... Тут не поспоришь. Оно, скажем, и то... Завтра умри государь — и всядет на трон царевич юнейший... Матушка его, царица, первой станет. Припомнит она в ту пору всем, от ково што плохое видела али к кому недружбу питает. Это одно. А другое... Нешто царям можно жить, как нам, простым людям? Над ними милость Господня. Я женат, нет ли, с меня не спросится. А государю Федору Алексеичу, коли суждено помереть, он и не женатый помрёт. Судил Господь ему оставить наследника царству, так и женитьба станет не на вред, а на исцеленье ему. Верить в Господа надо и нам, смердам, а царям наипаче. На то и Божии помазанники они... Уж коли ты сказываешь, свет государыня-царевна, так в вере окреп государь, по моим словам и толковала бы с ним. Вреда не будет.

Слушает вдумчиво Софья, молчит.

Ловко построенная, вкрадчивая, умная речь Голицына навела её на новые мысли.

Конечно, колебаться не следует. Если только все готово, надо скорее ставить последнюю ставку. Будет жив Федор, явится у него наследник, всё-таки главная цель осуществится. Наталья Нарышкина со всем её родом отойдёт далеко-далеко на задний план. Она, Софья, будет первой и по близости к царю Федору, и потом по малолетству наследника...

Если же правда, что женитьба может ускорить смерть брата... Воля Божия! Тогда...

Софья не захотела довести до конца цепь соображений и картин, зарождающихся у неё в душе.

— Добро, боярин... Твоя правда, Васильюшко. Не время ждать да откладывать. И сама потолкую с братцем, и боярыню Анну наведу. Он её слушает... А на ком бы оженитца царю? Неужели сызнова невест собирать? Стоит ли? Сам сказываешь, нельзя тратить часу напрасно. Кого

ж бы посватать?.. Штоб с нами царица заодно была и родня вся её... Не скажешь ли? Может, было уж на уме у тебя...

— Думалось... Не потаю. Как ты скажешь, государыня-царевна? А у Апраксиных сестрица подросла, пятнадцатый годок пошёл девице. Тихая, богобоязная девица, собой куда хороша. Ино и царь на неё поглядывал, чай, ведаешь. Ровно распукалка [35] вешняя боярышня.

— Да уж не расписывай... Знаю её. На моих глазах, почитай, и росла Марфуша... Не перехвали гляди.

— Мне што... Мне она в дочки годится, — поймав на себе ревнивый взгляд Софьи, заметил Голицын. — А братовья Апраксины нам люди верные И сам старик из наших же рук глядит. Вот чево бы лучше.

— А Языкова позабыл? Слышать, Иван Максимыч сам присватывается к боярышне. Тоже давно знакомы они. Соседи и дружбу ведут старинную. Как он скажет?

— Што ж, што Языков? "Ау, брат", — только и скажем. Неужто царю не уступит? Мало ли боярышень на Москве? И познатнее и побогаче... Утешится.

— Да может, князь, любя ему девица, всех дороже.

— Потерпит. Мало кому што любо. Ино дело, близок локоть, да не укусишь. Не так живи, как хочется, — со вздохом, печальным голосом произнёс этот воин, такой суровый, строгий на вид, никогда почти не меняющий выражения своего красивого лица, на котором заметён почётный знак — след от вражеской сабли.

Вспыхнула и Софья. Помолчав, она только и сказала:

— Добро. Так и дело поведём. А теперя — не взыщи. К государю-брату пора. Звал он меня на богомолье с им ехать... Родителей помянуть.

— Вот и ему ты помяни, царевна, о чём мы толковали с тобой.

— Да уж сказано. Своё не забуду. С Богом, князь!

Они расстались.

Решение, принятое обоими, было поддержано и остальными вожаками партии Милославских. Работа закипела.

Сумели уговорить и патриарха принять участие в благом деле.

Федор часто видал и ласкал, как сестру, как ребёнка, боярышню Апраксину, весёлую, красивую, пышущую здоровьем девушку.

И когда ему предложили взять её в царицы, он не стал долго отговариваться. Покойная царица Агафья успела пробудить в душе царя чистую, тёплую привязанность к себе. И даже после её смерти Федор не мог отрешиться от этого первого чувства, пережитого им.

Так не все ли равно, кого избрать теперь, кто займёт место на троне и в терему, но не в душе царя?

Когда согласие было получено и о нём узнал Языков, он ничего не сказал. Только усмешка недобрая, как судорога, проскользнула у него по лицу.

И в тот же день, вечером, боярин-оружничий, появившись на половине царицы Натальи, долго наедине беседовал с ней.

О чём? Никто не мог узнать, хотя и проведали Милославские и Хитрово о таком необычном свидании Языкова с Нарышкиной.

Когда Богдан Матвеич Хитрово прямо задал вопрос Языкову, тот нисколько не смутился.

— Да ужли ж ты и сам не догадался, боярин? Время подошло горячее. Бог един знает, што наутро всех ждёт. Заявился я к государыне-царице, ровно бы её руку держать собираюсь. А сам повызнать надумал: што там, у Нарышкиных, деется? Што затеяно сейчас всей ихней стороною? Им тоже ведомо, что государю, тово и гляди, смертный час приспеть может... Чай, готовят нам отпор, штобы молодшего царевича на трон посадить... Вот и толковали...

— И... што же... столковалися?

— Нету покуда. Не верит мне государыня Наталья Кирилловна. "Все-де врагом нам был. С чего дружба одолела?" Так сказывает.

— Гм, правда-то оно правда... Умён ты, боярин. И в слове, видно, твёрд. За нас стоишь, — выслушав объяснения Языкова, где правда перемешалась с ложью, проговорил Хитрово. — А ныне и больше можешь нам помочь подать. Слышно, задумал царь и женитьбы не ждать, а про всяк случай — наречи наследника, Петра-царевича. С чево — не знаю, а

остыл ко мне государь. Ровно бы гневен стал. Ты у него в милости. Потолкуй о затее об новой. Да не мешкая. Ежели правда — поотговорить надо. Сказать ему... Да што тебя учить. Сам других поучишь... Как скажешь, Иван Максимыч, идёшь ли на то?

Пытливо стал всматриваться Хитрово в лицо Языкову. Тот снова и бровью не повёл.

— Добро, што упредил меня. Нынче же о деле таком царя спрошу. Мой черёд быть при нём...

— Ладно. Бог на помочь! Да ответ дай скорей...

— Не замедлю, боярин. Не ты ли меня и к царю приставил? Заместо отца родного мне был. Уж тебе ли я не послужу, боярин Богдан Матвейч?

Слушает Хитрово: так правдиво и открыто звучит речь Языкова. Не может, в самом деле, быть предателем этот человек.

И приветливо распростились они.

Языков сдержал обещание, в тот же день завёл разговор с Фёдором о разных вестях, какие ходят на Москве, особенно при дворе.

— Какие вести, Иванушка? — отрываясь от чертежа нового храма, который задумал построить, спросил царь.

— Да, слышь, што не дожидаячи радости своей государевой, венца честного, волишь меньшего царевича Петра Алексеевича нареци наследником на престол Всероссийского царства.

— Што ж, коли бы и так. Кому оно помехой?

— Помехи никому. Лишь б толков не было. А их уж немало пошло по царству...

— Сказывай, какие ещё толки там? Мне бы знать их надобно.

— Скажу, государь. Первое дело, молод царевич. Так рано не нарекали вы, государи, и сыновей, не то братьев ваших на царство. Другое, понимают, середний брат есть у тебя — царевич Иван Алексеич. Не то что одново отца, а единой матери. Уж коли нарекать, ему первое место подобает по тебе.

— Да, слышь, хворый, почитай што благой брат Иван у меня. Кто тово не знает? Ево ли над землёй поставить могу? А Петруша гляди какой.

Родитель покойный, помираяючи, его же приказывал мне наречи. Видимо, благословение Господне почиет на отроке. Кого же поставить иначе!

— И никого ставить не надобно. Земля потерпит, пока свой у тебя, государя нашево, наследник будет. А народу ж всево не втолкуешь. Скажут: "Молодшего перед старшим нарекают. Дело неспроста". И смута, гляди, настанет сызнава. Мало ль и бояр, и воевод, и люду чёрного, и стрельцов, кои... уж надо прямо сказать... Многим не любы Нарышкины. Вон сам давно ль ты Ивана Кириллыча от очей своих в опалу удалил, что озорной да горденя он... И немало недругов у них... Земли всей не пожалеют, твоей воли не послушают, смуту заведут. Помяни моё слово... Не нарекай пока царевича. Может, оно посля помаленьку и сладится. А то... храни Господь, и малолетнему царевичу станут зла желать. Не так, как на меня он челом тебе бил, государю... А младенцу много ли надо...

Побледнел даже Федор. Он понял, что Языков прав, хотя и трудно разгадать: оберегая Петра, говорит так боярин или просто хочет помешать решению царя?

— Ин правда твоя, Максимыч... Погодить с тем лучше, — наконец усталым голосом проговорил Федор.

И, очевидно желая покончить тяжёлый разговор, снова погрузился в разглядывание чертежей.

Когда Иван Максимыч передал Хитрово и Ивану Милославскому решение Федора отказаться от немедленного всенародного признания Петра своим наследником, у обоих старых заговорщиков исчезло всякое сомнение насчёт Языкова.

А Языков прямо от них прошёл снова к царице Наталье и так же прямо и верно передал не только свой разговор с царём, но и всю беседу с боярами-первосоветниками.

Ни слова не сказала Наталья. Только с вопросом подняла на него свои большие, тёмные глаза, в которых набежали слезы.

— Што, али невдомёк тебе: чего ради я так? Потерпи малость, послушай, што скажу, — все выразишь. Только раней то подумай: не прошу и не ищущу я ничего от тебя. Они в силе. А я к тебе пришёл. Неволит ли хто

меня? Нет. Сердцем загорелся я против них. Мало ль девиц-боярышень на Москве, на ком бы хворого царя оженить можно. Так нет, мою суженую взяли. Я же у них в отместку много што отыму... Лишь бы не сдогадались они, откуда грому ждаться... Дал я тебе клятву великую и сызнава скажу тебе: послужу с твоим царевичем, не им, идолам. Да умненько надо. Научен я от Богдана, как под людей подкопы вести. Все они теперя изготовились. И Софья-царевна, и советчик её первый, дружок мой, воевода преславный, Голицын-князь... И другие с ними... Пусть же думают, што все на их лад пошло. Скажу тебе тайну великую: мало жить осталось царю. Да не пугайся. Не то што изведут ево. Сам на ладан дышит Свадьба да пиры, гляди, к худу, не к добру повершатся... Вот до той поры и поберегай царевича своего. Штобы раней царя хворого не "отпели" бы твоего младенца злодеи. Да с отцом патриархом столкуемся ладком. Опаслив старец не в меру. Да душой кривить не станет. Не потатчик будет злодеям, когда час придёт. Слухи давно по земле идут, что Петру отец царство отказал, коли не станет царя Федора. Тогда и поглядим, што они поделают, царевны все со своим Иваном-царевичем, што и на людей мало походит... А двинут они стрельцов своих, так и у нас есть рать иноземная и своя, московская... Вот живу мне не быть, а им, окаянным, тебя с царевичем не выдадим!..

Теперь неподдельной, глубокой ненавистью звучал голос боярина. И Наталья невольно также доверилась ему, как сделали это и более опытные, седые интриганы дворцовые.

И только сам Языков, как бы со стороны наблюдая за собой, думал в глубине души: "Кажется, теперь моё дело крепко стоит. Кто ни станет у власти — я своего не потеряю, а ещё и выгадать могу".

Успокоив царицу, пришёл боярин к патриарху Иоакиму и успел уговорить осторожного, умного малоросса принять участие в делах Натальи и царевича Петра и, как бы в подтверждение своих планов, подробно перечислил и подсчитал все роты и полки, на которые могут положиться нарышкинцы и сильная кучка бояр, желающая выставить наследником царевича Петра, если Федор умрёт, не имея сына.

Наступило Рождество. Миновали Святки. И Масленицу проводили в Кремле без обычного шума и веселья. Федор себя почувствовал немного лучше.

Двенадцатого февраля 1682 года патриарх в полном облачении явился в покои царя, где застал уже духовника царского, трех братьев Апраксиных, тёток и старших сестёр царя, главнейших первосоветчиков и Марфу Матвеевну Апраксину в полном царском облачении.

Красивое полудетское личико девушки пылало от волнения, от невольной гордости, а в то же время открытые, светлые глаза её были затуманены не то грустью, не то воспоминанием о чём-то утраченном, но дорогим. Языкова не было Он сказался больным. Совершив обычное наречение в царевны, патриарх благословил царскую невесту.

Монах Сильвестр Медведев, новый учёный друг Федора, заменивший скончавшегося недавно Симеона Полоцкого, в качестве придворного пиита [36] поднёс витиеватое поздравление в стихах, начертанное на пергаменте, украшенное заставками, рисунками...

Иоаким вышел затем в Переднюю палату, где были собраны все думные бояре, духовные власти, иностранные послы. Осенив всех благословением, первосвятитель объявил о желании государя вступить во вторичный брак.

— А того ради нарекли мы государыню-царевну и великую княжну Марфу, дочь Матвея Апраксина, в невесты государю, великому князю Федору Алексеевичу, самодержцу и царю всея Великой, Белой и Малой России. Да подаст им Господь многолетнего и благоденственного жития и чадородия, на радость земле и царству.

Челом ударили бояре патриарху, а потом царю, и принесли обычные подарки. Но во дворце мало кто был оставлен вопреки обычаю.

Не было устроено предсвадьбишных столов. И самая свадьба, совершившаяся пятнадцатого февраля, состоялась "без всякого чину".

Никаких торжеств не было после венчанья, которое совершил духовник Федора здесь же, в домашней, дворцовой церкви во имя Воскресения.

Как и во время свадьбы царей Михаила и Алексея, наглухо были

заперты все ворота в Кремле, и только свои могли пробраться домой за его высокие стены.

А в пределы дворца и вовсе нельзя было проникнуть без особого зова.

— Не свадьба, а похороны свершаются, — не выдержав, шепнула царевна Екатерина Софье во время большого стола.

Софья только плечом повела и кинула взгляд на сестру, словно напоминая о неуместности таких замечаний.

Но и ей самой казалось, что глубокие синие тени под глазами и землистый цвет лица служат плохим предзнаменованием для Федора.

Сам же он словно воспрянул духом. Был весел, шутил с родными, осушил два-три кубка вина, чего обыкновенно не делал никогда.

И два ярких розовых пятна под конец пира выступили на исхудалом лице младенца-царя, ещё больше оттеняя худобу и прозрачность этих щёк.

Ещё не окончился пир, когда новобрачных отвели на покой, так как болезненный Федор был непривычен долго сидеть по вечерам.

Чужие тоже, посидев немного, откланялись и разошлись.

За столом остались только свои тётки и сестры царя, Иван Милославский с дочерью и с женой, Анна Хитрово, двое Апраксиных, а в углу, в кресле, дремала почтённая старуха, Анна Ивановна, выкормившая Федора. Так и осталась она потом во дворце, не то приживалкой, не то на положении дальней родни.

Около полуночи, когда собирались уже расходиться на покой, громкий, протяжный крик донёсся из опочивальни царя. Все вздрогнули, кинулись на крик.

Навстречу им показался испуганный, бледный Федор Матвеич Апраксин, дежуривший в покое рядом с опочивальней царской.

— Лекаря, скорее! Отходит государь...— только и мог он крикнуть, а сам снова кинулся назад.

После мгновенного оцепенения все поспешили туда же, в опочивальню. Только второй Апраксин, Андрей Матвеич, бросился за лекарем, который дежурил тут же, неподалёку, из-за постоянных недомоганий царя.

В опочивальне было мало свету. Пока из соседних покоев принесли огня, пока здесь зажгли все канделябры и свечи, можно было только разглядеть царя, который без движения лежал на самом краю постели.

Юная царица, обезумев от ужаса, соскочив с пуховиков, забилась в угол, с распущенными чудными волосами, совсем не одетая, и только судорожно куталась в парчовое покрывало, наброшенное на плечи при появлении людей.

— Водицы бы, скорее, — первая распорядилась Анна Хитрово. — Не помер он... Так это... Обмер малость. Ивановна, давай-ка уложим его повыше, — обратилась она к старухе кормилице.

И обе бережно приподняли голову Федора, уложили повыше, поудобнее, отёрли липкий, холодный пот со лба, лёгкую кровавую пену, выступившую на устах.

Прибежали фон Гаден и второй лекарь, Костериус.

— Зачем так тревожить и государя, и себя? И разве нужно так боятца? Это же теперь бывает с государем. От сердечной тоски — обмирение. Может, вина пил государь али настойки какой. Ему не надо... И покой теперь надо ево царскому величеству... Наутро всё пройдёт...

Так успокоил лекарь родных, обступивших ложе больного. А сам стал приводить в чувство Марфу Матвеевну, которая вся трепетала и билась теперь от неудержимых рыданий и рвала на себе сарафан, заботливо накинутый на царицу руками боярынь.

Софья глядела вокруг, слушала, что говорит врач. Но в глазах её так и застыл один вопрос, одна мучительная мысль: "Конец скоро. Что ждёт теперь её, весь род Милославских, все Русское царство, над которым словно навис какой-то мрак, насылаемый злым, прихотливым роком?.."

Несколько дней ещё плохо чувствовали себя оба: и царь и царица.

Потом Федор поправился. А Марфа Матвеевна и вовсе порозовела, как раньше, до свадьбы была.

Только часто выходила она из своей опочивальни с усталыми, как будто заплаканными глазами. Словно потемнела такая ясная прежде их глубокая синева.

И, безучастная ко всему, что творилось кругом, только в одном проявляла всю душу свою Марфа: в желании облегчить участь всех несчастных, о ком только могла услышать или узнать от окружающих.

Кроме обычной милостыни, которую раздаёт новобрачная царица, Марфа Матвеевна щедро одарила главнейшие обители московские и другие, чем-либо прославленные в молве народной. Добилась освобождения заключённых за провинности и за долги казне государя, хлопотала за опальных. Когда Наталья, узнав об этом, явилась к молодой царице, рассказала ей о невинности сосланного Артемона Матвеева, Марфа упростила царя, и боярину, недавно переведённому из Пустозерска в Мезень, Федор позволил поселиться в городе Лухе, лежащем в четырехстах верстах от Москвы, вернул ему разорённый, опустелый дом в столице, а взамен отнятых пожитков и вотчин пожаловал дворцовое село Ландех с деревнями и угодьями, всего в семьсот дворов.

Как только Языков доложил Наталье о такой милости Федора и добавил, что главным образом упростила государя молодая царица, Наталья сейчас же позвала царевича:

— Пойдём поскорее, Петруша, надо царицу Марфу Матвеевну навестить, челом ей ударить. Слышь, выручила она дедушку Артемона. Он к нам скоро с Мезени повернёт. В Лухе житьё ему указано. Увидишь его. Не забыл, чай.

— Где забыть, матушка. И Андрюша с дедушкой же? Правда? Я в Москву возьму его, в генералы сразу поставлю в своём полку Я помню: он храбрый... Чай, велик ноне стал...

— Должно, што не мал... Вон ты у меня как вытянулся... А ещё и одиннадцати годков тебе нету. Андрюшеньке же нашему, гляди, семнадцать пошло... Сравнишь ли? Да не болтай зря. Принарядися... ступай. Ишь, какой растрёпа ты у меня...

Взгляд матери с любовью и гордостью остановился на Петре, который ещё больше подрос и выровнялся за последние два года.

Тряхнув кудрявыми волосами, обняв с налёту мать, царевич звонко поцеловал её и выбежал из покоя.

Пошла и Наталья одеться понарядней, чтобы в пристойном виде явиться к молодой царице.

Марфу Матвеевну нежданные гости застали в большом, просторном покое, в передних тёплых сенях царского терема. Скучно ей стало со старыми, чопорными боярынями, и, окружённая молодыми боярышнями, санными девушками, по прозвищу "игрицами", Марфа вышла в эти сени, где в ненастную и холодную пору тешились разными играми и водили хороводы царевны. Дурки, карлицы и потешные девки, наследие покойной царицы Агафьи, высыпали сюда же, но держались поодаль, ожидая приказаний государыни.

Уселась царица на обитую бархатом скамью, на качели, устроенные тут же, среди покоев, и приказала раскачивать себя и песни петь разные, протяжные, подблюдные и простые, народные, то заунывные, то весёлые, подмывающие. Порою сама царица подхватывала знакомый напев и негромко подпевала. И, против воли, самые весёлые песни вызывали слезы у неё на ясных, почти детских глазах.

Увидя Наталью с Петром, Марфа Матвеевна поспешила им радостно навстречу.

— Вот гости дорогие... Милости прошу в покои... Не взывайте, што не в уборе уж я... Так вот, с санными позабавитца надумала... Пожалуй, государыня-матушка...

— И, государыня-царица, доченька моя богоданная, свет ты мой сердешный... Не труди себя... Сиди, как сидела. Забавляйся. А я вот тута присяду, погляжу, на тебя порадуясь... Уж давно я не слыхивала голосу весёлого у нас на Верху, не видала лица благого, радостного. Дай на тебя полюбуюсь... Ишь, ты, ровно маков цвет, цветёшь. Храни тебя Господь на многие годы... Я и не надолго, слышь... Челом тебе бить пришла. Спасибо сказать великое, што выручила душу безвинную, боярина Артемона Матвеича. Зачтётся тебе, верь, царица-доченька, радость ты моя.

Застыдилась по-детски Марфа от слов и похвал свекрови. Бросилась целовать её, спрятала голову на груди Натальи и тихо повторяла:

— Молчи уж, матушка... Не надо... Што же я... Не кланяйся. Мне стыдно.

— И в ноги поклонюсь, вот при всех, душенька ты моя ангельская, зоренька ясная. И не за то, што родня он мне. Нет. Дело великое ты сделала. Безвинного страдальца ровно из гробу оживила, честь оберегла... Воздаст тебе Господь. Бей челом, Петруша, государыне-царице да к руке приложись.

Неловко, угловато ударил челом Пётр и двинулся взять руку Марфы, чтобы поцеловать.

Но та решительно отдёрнула руку.

— И не дам... Што ты, братец. Так целуй, коли хочешь. А то руку... Нешто ты не брат государю-свету, господину нашему Так и мне же братцем доводишься!

И крепко, звонко расцеловала царица красивого мальчика, своего деверя.

Совсем пунцовым стал от этой неожиданной ласки царевич и ещё прелестнее показался всем.

— Ой, и я бы похристосовалась с царевичем, — вдруг громко заявила одна из бойких прислужниц молодой царицы, — да уж Светла Христова Воскресенья погожу. Оно не за горами...

Сдержанный хохот прокатился среди остальных сенных.

Подталкивая друг дружку, они зашептались, зашушукались невнятно и звонко в то же время, вот как камыши под ветром шепчут порою на тихом пруду.

— Будет вам, хохотушки, — стараясь принять строгий вид, приказала Марфа. — Вот мы сядем с братцем. А вы покачайте нас лучше... Да хорошенько. Можно ли, как скажешь, матушка-царица, Наталья Кирилловна?

— Да коли тешит тебя, и качайся, государыня-доченька, светик ты мой. А он и рад, поди. Куды охоч на все забавы. На ученье на книжное небось не так охотитца...

И, подперев рукой подбородок, задумалась Наталья, любуясь сыном и невесткой. Теперь рядом они сидели на доске и плавно подымались и

опускались вместе с нею под толчками сильных девичьих рук.

И тут же снова грянули-полились звуки разгульной хоровой песни, которую оборвали было санные с приходом Натальи и Петра.

Захваченная весёлым напевом, довольная близостью такого симпатичного, красивого юноши-брата, забыла и недавнюю грусть свою молодая царица. Щебечет, болтает с Петром, то вторит звонким своим голосом общему хору...

А Наталья сидит пригорюнься. И рада она, что не врага, друга нашла в новой жене Федора. И горько ей, что скоро судьба подсечёт все радости, каких может ждать и требовать от жизни беззаботная, молодая царица, и по годам и по душе почти ещё дитя.

Умрёт Федор... Что ждёт Марфу?

Да почти то же, что выпало на долю самой Натальи. Вечное одиночество, если не вражда окружающих, новых господ во дворце... И придётся ей, такой юной, уйти в монастырь или затвориться в своих покоях зимой, летом — проживать где-нибудь в подгородном дворце, вот как сама Наталья проводит в Преображенском долгие летние месяцы уж шестой год подряд...

Любуется Наталья молодой парой: царицей-невесткой, которой не минуло ещё и шестнадцати, и своим ненаглядным Петрушей, который тоже выглядит ровесником невестки, хоть и моложе её на целых пять лет...

А весёлая песня сменяется новой, протяжной...

И в лад этой песне плавно подымается и опускается нарядная, бархатом и сукном обвитая доска качелей...

#### Глава IV. СМЕРТЬ ФЕДОРА

Радостно, ярко разгоралась утренняя зорька на 9 апреля 1682 года.

Едва первые лучи солнца ударили в слюдяные оконницы домов — вся Москва зашевелилась, из посадов и ближних деревень конные, пешие и на подводах потянулись люди по направлению к Кремлю, к Пожару, как звали в народе Лобную площадь.

Сегодня — Вербное Воскресенье. Народу предстоит прекрасное зрелище: сам царь совершит "вождение осляти", на котором патриарх объезжает Кремль в намять вошествия Христа в Иерусалим.

Ещё снега лежат кругом, на полях и особенно в лесах, подбегающих со всех сторон почти к самой столице царства. Но в городе и на посадах грязный, истоптанный снег обратился в жидкое месиво, по-вешнему парит, прелью несёт от земли, большие прогалины чернеют в обширных садах и на огородах, которыми перемежаются жилые гнёзда огромного человеческого посёлка, раскинутого вокруг высокого Кремля.

Не сразу город принял такой прихотливый, разбросанный, обширный вид. Постепенно, с веками он разрастался, захватывая в свои пределы не только ближние к кремлёвским стенам пригороды, но сливаясь с посадами и слободами, с деревнями, с большими сёлами, которые с самого начала тугим кольцом обернулись вокруг "крепости", Кремлеваграда, и городов Китая и Белого, как назывались три части древней, в незапамятные годы основанной Москвы.

Несмотря на грязь, радуясь ясному солнечному дню, сменившему мартовские дожди и ненастье, люди живым, шумливым роем высыпали из жилищ своих. И непрерывными, многоцветными ручьями и потоками стремятся к Кремлю.

В самом Кремле, особенно на Ивановской площади и у Лобного места, уже заканчивались приготовления к торжеству, начатые ночью, задолго до рассвета.

Колодники, тюремные сидельцы метут грязные переходы и бревенчатую мостовую на всех улицах и площадях, где пройдёт шествие. Лобное место покрыто красным сукном и коврами. Вокруг него кольцом расставлены стрельцы, чтобы народ очень близко не подходил, не загораживал дороги для процессии.

Между церковью Василия Блаженного и Кремлём стучат топоры, молотки, десятки плотников достраивают обширный, довольно высокий помост, откуда иностранные послы со своими семьями и иноземные торговые гости познатнее будут любоваться процессией.

Большая "татарская" пушка, стоящая за Лобным местом, направлена жерлом прямо туда, к дороге, на которой показываются татары при набегах на Москву. Вокруг неё устроена временная деревянная решётка, покрашенная в красный цвет, и поставлен отряд пушкарей, пищальников и стрельцов.

Ещё больше затей видно на Ивановской площади, куда выходят все соборы, семь лестниц от приказов, лестница Посольского двора и дворцовое Красное крыльцо.

По краям всей этой обширной площади расставлены "галанские и полковые" пищали, лёгкие орудия. Вокруг устроены резные и точёные, причудливо раскрашенные решётки. Пушкарские головы и пищальники, с развёрнутыми знамёнами, в цветных нарядах стоят каждый при своём орудии.

Против Посольского приказа устроен второй помост, устланный сукном. Цветные ткани и ковры свешиваются с перил на каждом из семи крылец новых приказов и с навесов, устроенных над папертями церквей, над Красным крыльцом и над другими входами в дома, и дворцы кремлёвские.

Паперть Благовещенского собора, откуда начиналось шествие, тоже устлана красным сукном, которое тянется дорожкой и дальше, к самому Красному крыльцу, сейчас вполне оправдывающему своё название: ни одного вершка камня не было видно из-под алого сукна.

Ещё раньше, чем толпы народа успели сплошной, многоцветной волной залить Ивановскую площадь, соседние улицы и переулки, разлиться целым морем на обширном пространстве у Фроловских ворот, стройными рядами потянулись отряды стрельцов, пушкарей, рейтар [37], иноземных ратников и заняли указанные места, особенно по сторонам пути, по которому должно проходить торжественное шествие.

Развернув знамёна, с барабанами, со всем ратным строем, в нарядных цветных кафтанах, каждый полк — иного цвета, стояли ряды стрельцов, представляя красивое и внушительное зрелище.

Богатые кафтаны и оружие, насечённое золотом, выделяло стольников

дворцовых, стрелецких полковников, занимающих места у самых знамён.

Полукафтанья и шляпы иноземных майоров, полковников и солдат, их вооружение и выправка выделялись особым пятном на общем фоне цветистой, шумной, многокрасочной толпы.

Солнце взошло уж довольно высоко и стало пригревать толпу одетую ещё по-зимнему. Быстро пустели жбаны с квасом и другими напитками, которые ухитрялись удерживать на голове или на плече разносчики, с трудом пробираясь между тесными рядами глазающего народа.

Огромные груды и целые возы пушистой вербы, связанной пучками, приготовленные во многих местах, были живо разобраны; все запаслись ими вместо пальмовых ветвей.

Подростки и даже взрослые, согласно обычаю, хлестали встречных, приговаривая: "Не я бью, верба бьёт.. Вербохлест, бей до слёз..."

Смех, брань, шутки и перекоры стоном стояли над толпой.

Особенно тесно и шумно перед Торговыми рядами, которые тянутся между Лобным местом и Неглининским монастырём, отделённые от последнего Никольской улицей.

Здесь вырос за ночь целый городок ларей, лавчонок и столиков, на которых разложены и лакомства, и мелочные товары, и съестные припасы, мелкие украшения, крестики, детские игрушки, домашняя утварь, домотканые холсты и бумажные ткани. Словом, все, что могло найти сбыт у этой многотысячной, шумливой толпы.

Немало также народу сгрудилось в другом конце Красной площади, у самого Фроловского моста, перекинутого через широкий проточный ров, соединяющий воды Неглинки с Москвой-рекой.

Здесь стояло здание Вивлиофики [38] , единственного и главного склада в Москве, где каждый мог купить всякие печатные и рукописные сочинения, бывшие в обращении тогда. Но толпу, конечно, привлекали не книги.

У стен Кремля и вокруг Вивлиофики раскинулись лёгкие лавчонки и лари, где ярко пестрели, вывешенные напоказ, картинки, раскрашенные от руки красной, зелёной, голубой краской, тиснутые тоже самым

простым способом, что называется, с лубка.

Но содержание этих картинок, по большей части сатирического или сказочного характера, надписи к рисункам, приправленные грубой, но едкой солью, присущей народному остроумию и юмору — вот что создавало прекрасный сбыт лубочным картинкам у Фроловских ворот.

Гулкий, мощный удар колокола, покрывая все голоса и звуки, пронёсся в высоте.

Единым махом обнажились сразу все головы, замелькали руки, совершая крестное знамение. Гул и говор на мгновение затих. Только дрожали в воздухе отголоски колокольного удара, слышно было воркованье голубиных стай, ютящихся под крышами домов и колоколен, да от Ногайского конного рынка доносилось ржание коней и переключка пастухов.

За первым второй, третий удар пророкотал в высоте. Как будто звонко, протяжно вздохнула сама небесная глубина.

Полился, посыпался со всех сторон перекрестными трелями и перебоями серебристый, малиновый перезвон всех бесчисленных московских колоколен, со всех сорока сороков храмов первопрестольной столицы.

И, не переставая, время от времени прорезал эти задорные, весёлые голоса, схожие с голосами стаи весёлых детей, густой, протяжный удар "Бойца" — колокола с высокой Ивановской колокольни, как привет патриарха-великана малюткам — внучатам и правнукам.

Под гул и немолчный перезвон колоколов, под клики и приветствия многотысячной толпы показалось из Благовещенского собора давно ожидаемое шествие.

Стоящий наготове Стремянной стрелецкий полк развернулся шпалерами от паперти до самых Фроловских ворот, по обе стороны пути, оставленного для крестного хода. Полковники и старшины стрелецкие, занявшие тут же свои места, обнажили головы. Их бархатные или из объяри ферези [39] горели на солнце яркими пятнами, как и кафтаны из турецкой шёлковой ткани. Оружие рядовых стрельцов, пищали, бердыши, чеканы сверкали золотой насечкой. Синие суконные кафтаны и жёлтые

сапоги ярко выделялись на красной полосе сукна, брошенного по всему пути, где должен двигаться кортеж.

Тяжёлые знамёна и хоругви, шитые золотом на них лики святых и орлы Византии, принятые в герб московских царей, трепетали над головами богато разодетых в бархат и шёлк стрелецких рядов.

Высыпал из собора и стал вытягиваться и строиться весь в одну ленту выход царский и патриарший.

Впереди, по три в ряд, — нижние чины, жильцы дворцовые, ближние дьяки, дворяне, стряпчие, наконец стольники и дворецкие царя и обеих цариц. За ними — думные бояре, окольные, воеводы приказов.

На всех горели под лучами солнца богатые парчовые шубы и кафтаны, золочёное оружие, поблёскивали парчовые верхушки высоких горлатных [40] шапок.

Чаще, сильнее затрезвонили колокола, как будто хотели раздаться их бронзовые пасти и груди, готовились оторваться их тяжёлые языки.

Густая кучка служилых царевичей и родни царской, выпавшая в этот миг на паперть, раздалась, пропуская царя и патриарха.

К паперти подвели смиренного, рослого коня; на голове у него были надеты длинные "уши" из сукна, для сходства с осликом, на котором Христос вступил в Иерусалим.

Белый клобук патриарха, усыпанный крупными жемчугами, был ещё украшен золотой короной, которая широким кольцом обогнула тиару московского первосвященника. Большой золотой крест, горящий бриллиантами и сапфирами, с вложенной внутри частицей Древа Господня, был у Иоакима в правой руке вместо обычного посоха.

Боком сел он на "осля", покрытого вместо попоны дорогими шалями и мехами, и осенил благословением весь народ.

Боярин Хитрово взял шёлковый повод поближе к узде. Конец его подали царю, тоже наряжённому в самые лучшие ризы.

Сибирский царевич, князь Ромодановский, Иван Милославский и Языков поочерёдно "поддерживали", по чину, вели под руки царя.

Из-за собора выехала особая, очень широкая, большая телега, вроде

помоста на деревянных низеньких колёсах, покрытая коврами и тканями. Посредине этого движущегося помоста было укреплено довольно большое дерево с толстыми ветвями и листьями.

Ветви его были густо увешаны яблоками, винной ягодой (фигами) и кистями сушёного винограда.

Здесь же, на ветвях, уселись четыре мальчика в белых стихирях — дисканты и альты из патриарших певчих. Они громко воспевали "Осанна" и по данному им знаку должны были раздавать фрукты, висящие на ветвях.

Колесница тронулась вперёд. За ней царь и патриарх, окружённые свитой и царевичами восточными.

Сейчас же из собора потянулся белой, сверкающей лентой, в серебряных парчовых ризах весь духовный клир, с образами, с Евангелиями в тяжёлых золотых "досках", с блестящими кадильницами, кидая ими клубы синеватого ароматного дыма в тихий тёплый воздух, откуда он струйками подымался к синеющим, ясным небесам. Здесь чинно шли все митрополиты, протопопы, иереи кремлёвские и наехавшие в Москву к этому торжеству.

Все семь станиц [41] царских и восемь станиц патриарха в светлых нарядах, слившись в один громадный хор, выводили стройными голосами ликующие церковные напевы под гул кремлёвских колоколов.

Московские именитые купцы, также разряженные в парчовые кафтаны и шубы, в собольих шапках шли за духовенством.

Шествие замыкалось снова рядами стольников, дворцовых стряпчих, дворян и "верховых жильцов".

А за ними — опять ряды ратников.

Громкие приветствия, которыми встречали толпы царя и патриарха, заглушали дробь барабанов, покрывали пение многоголосого клира и гул всех московских колоколов.

Только затихли народные клики в самом Кремле, не успела голова шествия показаться из ворот на Фроловском мосту, как новые приветственные клики словно переплеснулись через высокие каменные

стены, ударились в бесчисленную толпу, сгрудившуюся тут, отпрянули от этой толпы с удесятерённой мощью и ширью и покатались дальше, дальше, вдоль берегов Неглинной и Москвы-реки, перебросились на другие её берега и понеслись дальше над темнеющими вершинами окрестных рощ и лесов.

Около полусотни юношей из числа дворцовых "жильцов" шли впереди царя и постилали на дорогу верхние свои плащи и куски цветного сукна, по которым и ступал Федор, ведя за собою патриарха на "осляти".

Часть народа хлынула из Кремля за шествием, чтобы видеть и то, что произойдёт на Красной площади.

Но стрельцы, стоявшие у ворот, с невероятными усилиями погнали толпу обратно. Послышались крики, стоны, проклятья. В гуще и давке многие были сбиты с ног и измяты до полусмерти.

Счастливы, имевшие возможность взобраться на кремлёвские стены, глядели сверху, как из огромной ложи, на все, что происходило и в Кремле, и на Красной площади.

Такую же выгодную позицию представляла собой колокольня Ивановская и другие. Все выступы, ведущие к семи лестницам новых приказов, крыши соседних зданий тоже были покрыты зрителями.

Никто не вспоминал, что минет ночь — и у этих самых приказов на крыльце появится дьяк, станет читать приговоры. И внизу, у этих самых лестниц, засвищут палки и батоги, оставляя кровавые следы и полосы на спинах истязуемых бедняков, зачастую виновных только в том, что не могли откупиться от напрасного доноса, от мздоимца-судьи.

Ничего печального не вспоминал народ московский. Он забыл все обиды и притеснения, какие терпел на каждом шагу от бояр, не боявшихся кары со стороны царя, большого, безвольного, помышляющего о небе, а не о скорбной земле с теми несчастными, кто осуждён жить на ней, вынося угнетение и нужду...

Ярко сияет весеннее солнышко. Звонят колокола, поют детские голоса: "Осанна... Осанна..."

Исхудалый, тщедушный, слегка сгибаясь под тяжестью царских риз, идёт

Федор, смиренно ведя в поводу "осляти" с духовным владыкой... Жарко, душно в короне и бармах. Лицо покраснелось. Он часто оттирает пот, выступающий у него на лбу и на шее крупными каплями.

Глядит народ — и умиление охватывает людей.

— Ишь, какой он... царь-то, — негромко говорит товарищу какой-то мужичонко из толпы. — Тощой да неказистой... Все, слышь, хворает. А ликом вот — ровно на иконах пишут... Очи-то, очи погляди... Простой, видно. Боярам ли ево не обойти? Вот и дурят, окаянные... Соки из нас сосут, свою мошну ростят... Соль, брат ты мой... Сольца, на што уж?.. А и к той ноне приступу нет. И с неё дерут, ироды...

— Со всево дерут... Да ладно. Их пора тоже не минет... А што ты про него толкуешь...— и сосед ткнул в сторону Федора, — так за то не берись, коли чего не можешь. Царь, так он знать должен, что для земли надо... Вон у нас толкуют: молодшего, Петра-царевича, волил покойный государь постановить на царство. Да бояре не дали... А тот, слышь, бают — куды помозговитей энтого, хоть и младший.. О-хо-хо... Грехи наши тяжкие... А што богомольный царь... Энто што же... Энто — ему же лучше. Грехи свои отмолит, в рай попадёт. Чай, нам не легче от того, что богомольный он. Больше бы царскими делами занимался, и часу бы не стало на богомолье... Энто уж верно...

Какой-то юркий человечек, снующий в толпе, не столько глаза на шествие, сколько ловя общие речи и разговоры, стал было и тут прислушиваться к толкам двух приятелей.

Но в это самое время особое движение, крики и даже брань долетели от Фроловского моста и привлекли общее внимание.

Перед помостом, устроенным для иностранных послов, сгрудилось слишком много народу, и послы ничего не могли видеть, хотя некоторые сидящие на конях даже вставали в стременах!

Между тем царь остановил "осля" Как раз перед этим местом и, подозревая из свиты своей главного переводчика, приказал ему что-то.

Толмач передал приказание ближайшим стрельцам, те построились в небольшое каре и врезались в народную гущу освобождая проход, по

которому толмач и двинулся к посольскому помосту.

Развёртывая каре, стрельцы успели оттеснить на довольно большом пространстве народ от помоста, и оттуда теперь было прекрасно видно всю процессию с царём и патриархом посредине.

Сейчас же все послы отвесили глубокий поклон государю. Подойдя поближе, толмач снял шляпу и отдал низкий поклон стоящим на помосте иноземцам.

— Государь, великий князь и царь всея Великой, Малой и Белой России, самодержец Федор Алексеевич о здравии послов и резидентов всех спрашивать изволит: каковы они во здравии своём?

Сейчас же выступил вперёд польский посол, как старший по годам, и снова отвесил поклон в сторону царя.

— Передай его величеству, что все послы и резиденты челом бьют на приветствии его царском и молят Бога: послал бы он здоровья и радостей царю и государю московскому на многие годы.

Толмач вернулся к Федору, передал ему ответ, и шествие тронулось дальше, к Лобному месту.

Только раньше патриарх, обернувшись к Фроловским воротам, отдал поклон чудотворному образу Богоматери со Спасом, висящему над самой аркой, и сотворил краткую молитву.

На Лобном месте был совершён обряд освящения и раздачи вайи [42] .

После короткой службы, совершённой в церкви Василия Блаженного, патриарх снова воссел на "осля".

От духоты храма и тяжёлых одежд теперь не только Федор, но и Иоаким изнемогал.

Выйдя на паперть, чтобы вернуться обратно в Кремль, оба они были порадованы переменой, происшедшей во время богослужения.

Подул порывистый, холодный ветер. От Сокольничьей рощи показалась тёмная туча и стала быстро-быстро надвигаться и расти. Не успели от паперти дойти и до Фроловских ворот, как упали первые капли дождя; затем они становились чаще, сильнее с каждой минутой. Ветер подул яростно, порывами... Дождь сменился серебристыми, круглыми,

полуоледенелыми снежинками, "крупой", как зовут её... И сразу, неожиданно, надвинулась сплошная туча. Кругом потемнело. Крупными, влажными хлопьями посыпал густой снег...

Народные толпы стали быстро редеть. Только торжественное шествие таким же размеренным, медленным ходом продолжало подвигаться вперёд.

На патриарха и на царя накинули меховые плащи. Но Федор чувствовал, что его уже пронизало холодом до костей. Ни движение, ни тёплый плащ не согревали иззябшего царя, озноб и дрожь все сильнее и сильнее одолевали его.

Врачи, которым пожаловался царь на нездоровье, приказали истопить баню, чтобы Федор мог выпариться там и натереться горячительной мазью, во избежание серьёзной простуды.

С тяжёлой головой, с горечью во рту поднялся на другое утро Федор. Спину ломит, жар так и пышет от него.

— Полежал бы, светик, покуль полегче станет, — решила было заметить царица Марфа.

— Пустое, Марфушенька. Недосуг лежать. Страстную перемогуся, Бог даст. Светло Христово Воскресенье встречу. А то и всем будет праздник не в праздник, коли —царь хворым в постелю ляжет.. Сама знаешь... Да и лучше на ногах. С недугом надо не сдавать, наперекор ему идти. Тогда хворь сама слабеет. Ты гляди и не сказывай никому, прошу тебя... Докучать станут... А мне тошней, как пристают ко мне...

— Твоя воля... Я молчу... Как сам знаешь, — печально ответила кроткая молодая царица.

Страстная неделя настала.

Будничная жизнь овладела Москвой. Только в храмах идут особенно долгие моления. Но торговому и трудовому люду даже помолиться порядком некогда.

Перед праздником особенно бойко идёт торговля, усиленно работают всякие мастера и ремесленники.

После такого чудесного утра, как минувшее Вербное воскресенье,

завершившееся снежной бурей, погода сразу потеплела. Потянулись серенькие, туманные дни. Тучи не сбегали с неба, сея частым, мелким, совсем не весенним дождём.

Как будто убрали красивую картину, озарённую ярким светом, и обнажилась обычная, грустная действительность.

Скинули свои нарядные цветные кафтаны и стрельцы, стянули пояса на тёмных расхожих чекменях и полукафтаньях, вздели армяки и уселись торговать в лавчонках и лавках, вместо пищали и бердыша взяв в руки аршин и весы.

Пользуясь издавна дарованными правами беспошлинного торга, большинство служилых стрельцов, их жены и дети постарше занялись торговыми делами, сначала просто чтобы увеличить скудное казённое жалованье, а потом заманили всех и те большие барыши, какие стало приносить новое занятие.

Торгует, молится, всякими рукомерами занимается московский люд. Готовится к Светлому празднику.

Готовится к нему и царь московский и всея Руси Федор Алексеевич. Отстаивает долгие службы, принимает патриарха и духовную власть, приказывает, какую милостыню раздавать в эти великие дни покаяния и скорби, сам ходит по колодникам, деньги, калачи им раздаёт, выпускает на волю, кого можно...

Но на очах у окружающих тает он, как воск от пламени.

И правда: пламя постоянно горит в груди, в голове, во всём теле царя.

Врачи, видя упорное, болезненное нежелание Федора лечь в постель, стараются разными снадобьями уменьшить разрушительную лихорадку, утушить предательское, убивающее жизнь внутреннее пламя.

И после приёмов разных снадобий на короткое время лучше чувствует себя больной.

Тогда он объявляет радостно:

— Вот сказывал я: перемогуся, все и пройдёт. А коля слягу в постелю — не встану боле... Сердцем чую, што не встану... Так уж лучче не ложитца. Рано помирать... Хошь и плохой я государь, а все же порядок при царе

какой ни на есть... Наследника нету своего... Братя?.. Один — и вовсе без разума... Петруша — куды мал... Не хотелось бы теперь помирать... Рано...

Царица Марфа начинает плакать, ничего не отвечая на такие слова.

Софья нахмуривает брови и тоже молчит. Разве скажет изредка:

— Што ж, государь-братец, коли охота тебе и свой милость печалить, и нас сокрушать, твоя воля. А мы уж сказывали твоему царскому величеству... И врачи, и прорицатели — все в одно толкуют: долгое житьё суждено тебе, государь. Разве што иные... ближние недруги, Бога позабыв, извести задумают. Да авось не допустит Господь до этого.

С первой минуты, когда проявилось нездоровье царя, Софья почти не уходит из его покоев. И он рад этому. Своей духовной силой, подъёмом и энергией она отрадно влияет на Федора, помогает ему справляться с собственной телесной немощью и слабостью духовной.

В одном только не сходятся они.

Стоит заговорить царю, что он хотел бы видеть своим преемником царевича Петра, как и покойный отец завещал, — Софья темнела лицом, обрывала всякий разговор, напоминая, что у Нарышкиных и так одна забота: извести его, Федора, посадить на трон Петра. Нередко после этого Софья удалялась на некоторое время к себе в терем. Но затем снова появлялась и ревниво следила за всем, что касалось брата: за приёмом лекарств, за его сном и отдыхом, за его выходами и приёмами царскими и домашними.

Как-то незаметно и окружающие привыкли, что у царя есть двойник, только в женском, пышном наряде с фатой — царевна Софья.

Отлучалась порою от брата в своей терем Софья и без всякой особой причины, стоило прибежать любимой постельнице царевны, Родимице. По-настоящему звали её Федора Семёновна. Родом хохлушка, из украинских казачек, это была хитрая, отважная бабёнка. Царевна, пошептавшись с Родимицей, сейчас же спешила к себе.

Здесь уже ждал её Василий Голицын, часто заходивший к матери, боярыне Ульяне, бывшей прежде мамкой царевича Петра.

С Голицыным делилась Софья всеми думами, опасениями и надеждами своими.

От него черпала советы и указания в тех случаях, когда сама не могла принять какого-нибудь важного решения.

Встревоженный встретил царевну Голицын, навестивший её в самую Страстную пятницу.

— Што с тобой, Василь Василич? Али беда какая? — торопливо спросила Софья, умевшая читать малейший оттенок мысли на выразительном красивом лице князя.

—Пока — ничево. Плохого нету, да и доброго не слышать же. Ты лучше поведай: как царское здоровье?

Софья молча и безнадежно покачала головой.

— Так, так, — раздумчиво, негромко произнёс Голицын, поглаживая и почёсывая свою волнистую холёную бороду, поглаживая длинный вьющийся ус. — Так как же быть-то? Дело плохое заваривается. Как был я последний раз у государя — прямо толковал он про Петра... Ево-де на трон надо... Матвееву, слышь, милость послана. На Москву ворочается главный недруг вашего роду... Надёжная опора Нарышкиных... Не нынче-завтра и сам буде здесь. Уж эта старая лиса живо дело скрутит. И помереть не даст государю — Петрушу постановит на царство. И то уж Нарышкины да все ихние мутить народ стали. Не то своих нахлебников московских собирают... Из городов съезжатца к им дружки стали... По кружалам, по дворам, по торговым местам ихние люди шмыгают, вести всякие разносят... К стрельцам подбираютца... Особливо в тех полках, кои и к Милославских роду склоняютца. Деньги сулят, толки толкуют всякие: "Бояре-де, советники нонешние царские вас грабят и ворами ведомым, полковникам вашим, тысяцким и десятникам мирволят грабить же... Налоги налагают не по приказу царскому, не по думскому решению, а по вольной своей волюшке, для своей корысти и наживы..." Вот што толкуют окаянные...

— Эки аспиды... Ну уж, коли бы только воля мне...— до боли сжав крепкие, белые зубы, глубоко втиснув пальцы в ладони, злобно

проговорила Софья...— А, слышь, што ж наши-то? Али не знают... Они-то што же?.. Сам-то ты как попускаешь, князь? Али не веришь: што нам — то и тебе будет. И почёту, и казны — не пожалеем. А от Нарышкиных — не то казны, казни дождёшься... Сам знаешь...

— Эх, не из почёту я... Тебе добра желаю... А уж ты не толкуй. Што можно, все налажено... Да, слышь, — раскололся народ... Да ещё...

Досадливо дёрнув плечом, он не досказал.

— Што уж там?.. Не тяни. Не терплю. Што бы ни худое, да знать поскорей. Што там, сказывай?

— В полку у Грибоедова, да и в иных полках, большие нелады пошли... Сызнова челобитную собираютца подать, вон как о Рождестве на Богдана Пыжева жалобились. Ныне, по скорби царской, смекают, не допустят их на очи к государю. Так они писать челобитную приказывают. Не нынче — так заутро и подадут...

— Пускай. Боярин Языков сызнова разберёт их, как и раней разобрал... Ково — казни предаст, ково — сошлёт, иных в батоги поставит. Дружков себе, крамольник, лукавый, предатель, Иуда ведомый, приготовит. От них и награду примет, как ему час придёт.

— Так-то оно так. Да сама, царевна, ведаешь: чернь на Москве какова? Словно море бурливое. Расколышется — не уймёшь в те поры. Заодно с виноватым и правых пожрёт утроба их мятежная, несытая... Сами службы не правят воинской, живут — богатеют, брюхо ростят, не службу несут воинскую. А туды же: стрельцы, оборона царству!.. Эх, кабы не нужда в их теперя, я б им показал...

— То-то, боярин, што нужда... Потерпи, все своим чередом. С их бы помощью нам Нарышкиных сбыть, стаю окаянную... А тамо и на стрельцов батоги найдутся... От стрельцов от тех народ московский немало обид видел. Поболе, гляди, чем сами стрельцы неугомонные от своих начальников... Народ и натравим на их, как час придёт. А теперя пускай мятутся. Мы мятеж их подхватим, на ково надо и наведём... Што задумался? Али не так я сказала? Научи сам, князенька. По-твоему сделаем.

— Чево учить? Все верно, что надумала. Так, гляди, и будет. Да жаль: много крови прольетца... Невинного люду сколько загублено будет.

— На все воля Божия, Васенька. Без воли Божией — и волос с главы не падёт. Али забыл заповеди святые?

— Ох, не забыл... Не та одна заповедь... Иные тоже есть... Ты вот...

Начал Голицын и не досказал... Только в раздумье поник своей красивой головой.

Не часто, но просыпалась в нём совесть, врождённая мягкость души. И жгучее честолюбие уступало тогда место другим, более прекрасным чувствам.

Вспыхнуло яркой краской смугловатое лицо царевны. Она умела понимать мысли своего любимца, словно невольным укором прозвучали теперь его слова. Но самая эта нерешительность в таком отважном, умном человеке нравилась проницательной девушке.

Если князь желал быть добросовестным даже с врагами, то уж в дружбе можно, конечно, положиться на него, как на каменную гору.

Теперь, желая развеять печальное, нерешительное настроение Голицына, Софья тихо, задушевно проговорила:

— Што ж, правда твоя, князенька. Тяжко и моей душе стало притворство да пронырство всякое... Сдадимся на волю Божию. Я и то надумала: не уйти ли в обитель, вон как сестра Марфуша. Видно, рука Божия на наш род, Милославских, налегла. Батюшка до времени помер... Федор и вовсе юным покинуть нас собирается... Иванушка-братец и живой не лучше мёртвого. Очами скорбен, разумом слаб... он не хуже "леженки" того, нищего последнего, што на мосту на Неглиненском лежит, милосердием людским жив и одеян... Ходить по терему — и то не ходит без помочи людской, злосчастный Иванушко... Нас, сестёр-царевен, Господь здоровьем не обидел и разумом, слышь, как порой толкуют те же вороги наши. Да к чему и разум, и здоровье, и юность текучая, коли в терему век вековать суждено, по горькой доле нашей девичьей... А там, гляди, у них... у ворогов... Один царевич, да двоих стоит... И воцаритца... Матушку свою, свет Наталью Кирилловну, возвеличит... Стрешневы в гору пойдут...

Особливо — Тихон-тихонюшка, да Нарышкиных стая, да Матвеевы, да Одоевские... Перебежчик Языков да... Мало ль хто?! И нам — все едино. Нам дал бы Бог до смерти дожить, в скаредном уделе дни скоротать... И забудется все скоро... И блеск царский, и думы гордые, и почёт, и воля... Другим место, кто посильнее, поупрямее. Как в лесу, в бурю бывает: трухлявые вязы сразу валит... А дубки коренастые, крепкие растут да ширятся, над истлелыми пнями — только краше зеленеютца...

Едва хватило выдержки у Голицына, чтобы не перебить царевну.

Каждое слово её, простое, безобидное на вид, острым уколом вонзалось в гордую душу князя. Ярко нарисовала Софья картину, полного ничтожества, какое ожидало его, если не доведёт он с другими до конца затеянного давно заговора.

Слишком явно стоял Василий Васильевич на стороне Софьи и Милославских, чтобы когда-нибудь Нарышкины простили ему это.

И личная распря с Иваном Нарышкиным, таким же заносчивым, как бывал порой Голицын, только более невоспитанным и грубым, — эта тяжёлая рознь больше всего толкала князя на борьбу с родом царицы Натальи.

Уступая шурину царя, брату, царицы, Голицын не раз молча сносил надменное, обидное отношение к себе. Но в душе поклялся отомстить за поруганную честь. И только при общей смуте, при бесповоротном падении Нарышкиных могла свершиться затаённая мечта. Знала и Софья о вражде князя с Иваном Кирилловичем. И недаром нарисовала картину величия всего рода царицы Натальи.

Выслушав Софью, молча поднялся Голицын, тряхнув головой, и почтительно поклонился царевне.

— Не обессудь, государыня Софья Алексеевна... А не пора ли нам и оставить байки те, сказки ребяческие? За дело приниматца. Там пускай грибоедовцы как хотят. А мы и в иных полках потолкуем... К Ивану Михайлычу нынче же побываю... наших всех созовём... Ковать надо полосу, пока не остыла. Да покрепче хватим молотом... Пусть дробитца, што дряблое... А крепкое — крепше станет. И такое, слышь, читывал я... У

латинян пишут ещё: "Fortes fortuna juvat". А по-русски, по-нашему: "Отваге Фортуна служит". Так отваги хватит и у нас. Бог бы счастья послал... Как все покончим, в те поры и попомню я тебе, царевна, все печальные речи твои. Небось сама посмеёшься над ними. Челом тебе бью, государыня-царевна Софья свет Алексеевна.

Сказал и быстро вышел.

"В обиду принял. Ничего... Шпору дать коню — шибче поскачет", — подумала царевна.

Подошла к окну и стала смотреть на Кремлёвскую площадь, на соборы, на высокие, покатые крыши дворцовых строений, на дальние улицы и переулки, какие были видны из теремного окна.

Велика Москва. Велик весь край, царство Русское. И вот она, слабая девушка, держит, хоть и потаённо, всю судьбу этого города, этого царства в своих руках.

Потаённо — пока... Но что-то говорит ей, что и открыто, при звоне всех колоколов выступит она, царевна Софья, перед народом, перед лицом всей земли... И земля признает её повелительницей, как некогда в Византии — Пульхерию, как Елизавету Английскую... Народ явно поклонится ей, и, не таясь, она будет держать бразды правления, всю судьбу царства в своих девических руках.

"Будет ли так? — вдруг шевельнулось сомнение в душе царевны. — Да, будет! Верю, што будет. А по вере и даётся... По вере и сбудется оно".

Вслух почти повторяет гордая, властолюбивая девушка одно заветное слово:

— Будет... будет...

А сумерки все гуще и гуще ложатся на затихающий город, на кремлёвские соборы, на дворцовые и теремные сады, где ветви деревьев, опушённые светло-зелёными почками, тихо шелестят и колыхнутся под налётами ветерка.

В ночь на шестнадцатое апреля, через силу перемогая себя, вышел Федор к пасхальной заутрене в Успенский собор. Но, стоя на царском месте, он тяжело налегал на руки Апраксиных и Одоевского с

Милославским, которые поочерёдно поддерживали царя.

Бледнее смерти был он и потом, принимая поздравления патриарха, духовенства и бояр.

Порою невнятный стон слетал с его посинелых, пересохших губ. Жадно проглотил он глоток вина с водой из кубка, поданного догадливым Языковым. Кое-как был закончен торжественный обряд, чтобы не смутить тысячи молящихся во храме, которые ловили каждое движение царя.

И из храма внутренними переходами почти на руках донесли Федора до его опочивальни, раздели и уложили в жару, почти в беспмятстве.

Врачи, Софья, царица Марфа и ближние бояре всю ночь попеременно стерегли больного, который то впадал в забытье, то начинал метаться, стонать и хриплым голосом бормотать невнятные слова.

Печально встречен был Светлый праздник Воскресенья в царской семье. Заливались перезвоном пасхальным колокола, горели смоляные бочки на площадях и улицах. Ликовало от мала до велика все население Москвы. То и дело всюду слышались радостные слова:

— Христос воскрес!.. Воистину воскрес!..

И даже недруги, встречаясь, на этот миг позабывали вражду, обменивались троекратным братским поцелуем.

А там, в кремлёвских покоях, где так торжественно и пышно встречали всегда пасхальный рассвет, где милости и дары в великую ночь лились рекой, теперь было тихо, печально.

Только на чёрных дворах, у конюшен, в жилищах дворцовой челяди горели огни, звучали струны домры и балалаек, откликалось эхо топоту пляски, громким песням и смеху...

Здесь ещё не знали, как плохо царю. Здесь пока не реял своим чёрным крылом призрак смерти, низко-низко пролетающий в этот миг над кровлею кремлёвского дворца.

Всю ночь до утра светился огонь и в покоях Натальи.

Придя от заутрени, она послала людей на половину Федора с приказанием, разузнать, что с царём.

Печальные вести приносили со всех сторон к Наталье. Отпустив всех, стала она молиться. Потом сидела в кресле и думала о чём-то... И снова молилась — и так до самого утра.

Кто знает: чего просила у Бога, о чём так упорно думала царица?

Постепенно стихала, замирала на улицах и площадях необычно шумная ночная жизнь, разошлась по своим углам толпа, встретив любимый великий праздник.

Только в стрелецких людных слободах, в пяти — шести гнёздах, какими широко раскинулись вокруг Кремля посёлки стрельцов, не умолкая кипело буйное веселье.

Ночная оргия перешла в буйное утреннее бесчинство.

Кружала и кабаки так и не запирали своих дверей.

У стрелецких сборных изб, осенённых высокими деревянными вышками, "каланчами", толпились стрельцы со своими жёнами, такими же нетрезвыми и буйными зачастую, как их мужья.

Больше всего стрелецких полков, до восьми, проживало одним ядром в Замоскворечье, на юг от Кремля.

Целые посады, потом ставшие улицами, были застроены жилищами стрельцов.

Большие, богатые храмы высились тут, построенные на пожертвования разгульных, но набожных и щедрых ратников-купцов.

Вешняки, Калужская площадь у самых ворот и вся нынешняя Калужская улица были сплошь заселены стрельцами.

В Земляном городе, у Пимена, что в Воротах, у святого Сергия в Пушкарях, у Троицы, где поднялась потом Сухарева башня, в память верного Петру Сухаревского полка, наконец, у святого Николая в Воробине и за Яузой, на Чигасах, — везде раскинулись стрелецкие слободы. Из Чигиринского похода двадцать две тысячи человек вернулось в Москву.

А теперь всего девятнадцать полков считалось стрелецкого войска в Москве, то есть пятнадцать тысяч мушкетов. В каждом полку находилось от восьмисот до тысячи строевых. А сто тридцать лет назад, к концу

царствования Грозного, их насчитывалось меньше двух тысяч воинов.

В разных областных городах: в Астрахани, Казани, Курске, Владимире, Галиче, Белеве — были свои стрельцы, но главную роль играло московское войско.

Всякую службу служили государям стрельцы.

Пока не явились на Руси иностранцы, которых особенно много выписал Алексей; пока не было рейтар и пеших солдат, набранных Михаилом и сыном его, Тишайшим царём, — стрельцы отважно и стойко дрались и дома и в чужих пределах, куда приходилось идти под царскими знамёнами.

Но постепенно выправка и отвага их пропадала. Больше была им по душе домашняя, городская служба, охрана царских выходов, прислуживание послам иноземным, сторожка на площадях, у рогаток, при городских воротах и у проезжих застав, где, кроме вороватых лихих людишек, не было других врагов, а выгоды набегало немало.

Ещё больше распустилось это войско, когда, пользуясь заслуженными раньше вольностями и льготой стрелецкой, те, кто посмышленнее из них, принялись за торговое дело, втягивая понемногу и остальных товарищей в свои интересы и купецкие дела.

Покупая большие, богатые лавки в гостиных рядах, стрельцы умело наживались сами и давали наживаться товарищам.

Привольная, безбедная жизнь, отсутствие постоянных учений, как это было принято в пехотных солдатских и иноземных полках, дружное, стойкое единение — все это создало особый нрав у московских стрельцов.

Чванные, наряжённые как напоказ, незнакомые с новой боевой наукой, отвыкшие от железной дисциплины, обычной в регулярном войске, стрельцы являли собой нечто среднее между преторианцами древнего мира и наёмными воинами, наводнявшими Европу, особенно после Тридцатилетней войны.

И раньше было трудно полковникам, пятисотенным и пятидесятникам стрелецким справляться со своими подчинёнными. А тут, после бунта

Стеньки Разина, в 1672 году были свезены в Москву и причислены к городовым стрельцам все самые опасные бездельники и шатуны из астраханского войска.

Расчёт на то, что московские, более спокойные товарищи хорошо повлияют на астраханцев, не оправдался. Напротив, астраханцы быстро заразили своим вольнолюбием и бунтарством сдержанные до тех пор стрелецкие полки.

Ещё при Алексее бояре, правившие Стрелецким приказом, умели кое-как справляться с этим буйным народом. А при кротком, не любящем крутых расправ Федоре князь Юрий Алексеевич Долгорукий и сын его, Михаил, не знали, как и управляться с распущенными ратниками.

Только Стремянный полк, приближённый к царю, выезжавший на его охрану верхом, на конях из конюшен государя, и сохранял ещё кой-какой порядок в службе.

Но и он, заражаясь общим недовольством, открыто нередко роптал на обиды и притеснения, какие терпит от своих полковников и голов.

Сейчас стрельцы бурлили особенно.

И Софья со всеми сторонниками и роднёй незаметно, но постоянно старалась подливать масла в огонь.

Не раз уже и раньше стрельцы вызывали к сборным избам тех из ближайших начальников, десятников и выборных своих, лихоимство или строгость которых не нравились толпе.

Здесь, как в войсковых кругах казацких, совершался разбор дела, произносился приговор и зачастую немедленно приводился в исполнение. Если обвинённый не догадывался откупиться вовремя, его подымали на каланчу и, раскачав, кидали вниз, под крик и рёв почти всегда опьянелой толпы:

— Любо!.. Любо!.. Любо!..

И оставляли искалеченного, полумёртвого на земле.

Далеко разносились эти крики, нагоняя страх на соседей, мирных горожан, заставляя вздрагивать от тяжёлых предчувствий даже надменных бояр в далёком Кремле.

Но явиться в буйное гнездо, покарать виновных, завести порядок и тишину — на это ни времени, ни сил не было у правителей царства, занятых сейчас иными делами и заботами.

Все Светлое Воскресенье и следующий день стрельцы провели в диком, бесшабашном веселье.

Но уже со вторника какие-то чужие люди показались на затихших улицах в стрелецких слободах, заглядывали в домишки, где мёртвым сном отсыпались после кутежа стрельцы и стрельчихи.

Хозяева подымались с тяжёлыми, одурелыми от похмельного угара, головами, толковали с незваными, но желанными гостями, потому что те не только сулили журавля в небе, но давали и синицу в руки...

Звонкие рублевики и полтинники вынимались из кошелёв и исчезали в цепких руках стрельчих, в корявых пальцах их мужей.

И несколько не удивляло хозяев, что такой тугой, тяжёлый кошель появлялся порою из кармана и складок рубища какого-нибудь нищего старика или калеки-побирушки, заглянувшей в слободу под предлогом сбора милостыни.

Стрельцы знают, что во дворце, особенно в теремах, у царевен и цариц всегда призревается много нищих, юродивых и бездомных людей Христа ради. И нередко обитательницы терема, не имея возможности выходить за пределы позолоченной темницы, пользуются услугами этих "убогих" людей в качестве передатчиков и пособников в своих делах и сношениях с внешним миром.

Особенно часто, одевшись совсем попросту, навещала постельница Родимица двух подполковников стрелецких: Озерова и Цыклера. Первый из них считался даже женихом красивой, умной девушки.

Толковала она с ними от имени царевны Софьи, сперва наедине, а потом стали звать на беседу и несколько человек "староверов" из выборных стрелецких, которые открыто выражали недовольство новыми порядками во дворце и слыли коноводами при всяком волнении, возникавшем в буйных военных слободах, раскинутых по Замоскворечью.

Эти выборные приставы, или урядники: Бориско Одинцов, Обросим

Петров, Кузька Чермной, Алёшка Стрижов, Никитка Гладкой и другие — в свою очередь вербовали союзников из рядовых товарищей своих.

И заговор рос быстро, не по дням, а по часам. Душою заговора, незримою, но властной, кроме Софьи, явился и опытный дворцовый "составщик" Иван Михайлович Милославский.

Правда, напуганный недавней опалой, старый хитрец стоял как будто в стороне от всех дворцовых и стрелецких волнений и интриг. Он даже, подобно другому ученику Макиавелли, кардиналу Ришелье, вечно притворялся больным, лечил припарками и всякими мазями свои поражённые будто бы ревматизмом и подагрой ноги. Из дому почти не выезжал, открыто никого не принимал.

Зато боярыня Александра Кузьминишна с дочкой Авдотьюшкой, любимицей отца, каждый день, под предлогом родства, навещали царевен, тёток и сестёр Федора.

А по ночам преданные люди особыми путями, через садовую калитку и задними ходами, пропускали к боярину каких-то таинственных гостей, с которыми Милославский толковал порою подолгу, отпуская от себя, как только начинало светлеть тёмное ночное небо, предвещая близкий рассвет.

Вместе с недовольными стрельцами собирались сюда по ночам бояре — враги Нарышкиных: оба брата Толстые, Александр Милославский, Волынский, Троекуров — словом, все те, которые после смерти Алексея не допустили сесть на трон царевича Петра.

Конечно, Нарышкины знали многое, если не все, относительно нового заговора. И у них были приняты свои меры, как это мы видели из предыдущих страниц нашей правдивой повести.

Но, зная многое, никто не решался принять каких-нибудь жестоких мер против открытого брожения в слободах. Первый сильный натиск на стрельцов мог явиться началом междоусобной войны. А этого опасались больше всего разжирелые, нерешительные бояре-правители. Потерять они могли очень много, не выигрывая ничего.

И потому с тупой покорностью судьбе глядели на возникающую бурю

даже люди, которые искренно желали добра и царству, и народу.

Общее недоверие друг к другу ещё больше порождало смуту и тревогу при дворе умирающего Федора.

Кто знает, может быть, человек, которому надо предложить действовать против одной из партий: Милославских или Нарышкиных — продался и тем и другим или предаст доверчивого приятеля, только бы выслужиться у сильных людей.

А сомнения в том, что Федор умирает, не было больше ни у кого из лиц, хоть как-то связанных с дворцовой жизнью.

Знала это почти вся Москва, особенно хорошо знали стрельцы.

Но всё-таки 23 апреля, в самое воскресенье, на Фоминой в Стрелецкий приказ явился выборный от всего стрелецкого полка с челобитной на своего полковника Семена Грибоедова.

— Никого из бояр и в приказе нету. Нешто не знаешь, голова с мозгами, какой нынче день. Али не проспался после праздничка, — сонным, сиплым голосом проговорил "очередной" приказный дьяк, Павел Языков, сам ещё не пришедший в себя от недавних угощений. — Черти бы побрали вас, стрельцов. Ни часу покою нету от окаянных. Одни вы и шляетесь, времени не знаючи...

И дьяк громко, протяжно зевнул, недовольный, что разбудили его, спокойно спавшего перед этим на скамье в прохладных сенях приказа.

— Ну, не разевай глотки, душа чернильная. Леший вскочит. Ишь, каку утробу отрастил на нашей крови, на казённых харчах... Не надобно мне и бояр твоих, и тебя самото. К царю-батюшке челобитная... Веди во дворец. Там доложи боярину, какому следует: допустили бы меня на очи его государевы. Ему и подам челобитье.

Дьяк даже глаза раскрыл на такие дерзостные речи. Наконец присвистнул и ответил:

— Ну, видимое дело: ума ты лишился, миленький. Вязать тебя надо да на съезжую вашу... Не пускали бы таких по городу бегать... Коли ты видал али слышал, чтобы вашу братью так, поодиночке, и здоровые государи пускали на очи на свои. А не то к скорбному царю, которого и близким

видеть не мочно, тебя, дуболома, допустить... Прочь поди и с челобитной своею. Заутра приходи, коли вправду велено тебе бумагу подать. Проваливай, слышь...

И дьяк уже собрался вернуться на свою нагретую лежаньем, широкую скамью.

— Ой, гляди не пожалей, што гонишь... Дело немалое... У нас, слышь, пока тысяча рук подписалась. Да за нами ещё не один десяток тыщ стоит... Гляди, наутро не поздно ли будет?

Обернулся снова дьяк.

Он знал, как и все, что большое брожение идёт в стрелецких полках. Никого не устрошил пример стрельцов, жестоко наказанных знатным родичем этого самого дьяка, Иваном Максимычем Языковым, за жалобу на полковника Пыжова, поданную два месяца тому назад.

Окинув снова более внимательным взглядом необычайного челобитчика, Языков медленно протянул руку за бумагой.

— Ну, давай уж... Небось, я сам нынче ж передам боярам... Ивану Максимычу да Юрию Алексеичу, князю Долгорукому со товарищи... Може, коли и важное што, они ноне же к царю заявятца, доведут о просьбе вашей, о челобитье смиренном...

— Да, уж тамо пускай сами разбирают по пятницам: смиренство али несмиренство нашло на нас... А правый суд должен нам быть произведён. Уж боле терпеть и мочи не стало.. Так и скажи...

— Скажу, скажу, молодец... не знаю, как звать тебя... Дьяк остановился, выжидая ответа.

— Зовут Зовуткой, величают Дудкой... А когда же нам ответ буде, сказывай, семя крапивное, а...

— Отве-ет... Да хошь завтра пожалуй, господин стрелец... Коли дело твоё такое неотложное, как сказываешь... да не одново тебя, а мирское, слышь, круговое ваше...

— Так, верно... Всем кругом писали... Тута вот сказано... Все прописано.

Он ткнул пальцем в челобитную, которую дьяк уже успел развернуть и теперь читал про себя.

— Так, так... Знакомы дела. Видать, жох у вас полковник ваш, Грибоед энтот самый. Ишь, поборы берет тяжкие...

— Совсем разорил...

— Жалованье царское не сполна выдаёт...

— Ворует, собака. Уж писари наши знают... Прямо говорят: ворует, аспид, денежки наши кровные, заслуженные...

— Да, ещё и работать на себя задарма неволит... Ахти-хти...

— Измаял работишкой дармовой. Мало, што под Москвою в усадьбе домишко ему постановили... И сараи рубили, и чёрные избы... Идол, на самый праздник, на Светло Христово Воскресенье, отдыху не дал. Кончай ему, да и все тут... Хуже нехристя... Поработил православных, как турецкий султан какой. И управы на него не найдём. Погибаем от ево мучительства от немилостивого. Неистово затиранил весь полк...

— Ах, батюшки... Прямой он разбойник... И всех так, сказываешь, замытарил?

— Ну, всех не всех... Которы урядники с им, да пятидесятники, да маеоры, начальство там главное — тем хорошо. И они по следам тово скареда на нашей шее уселись. А ещё из наших такие, кто богаче: вон, коли лавки в рядах имеет али на торгу. Не гляди, што рядовой стрелец, наш Грибоед с им не брезгует и хлеб-соль водит... И посулы берет немалые... Им хорошо...

— Што же, богатеи-то ваши и не подписали челобитной, видно. Не от всево полка она подана, стало быть...

— Ну-у... Не подписали! Смели бы они... Так мы бы из них тоже кишки все повыпустили бы... От свово брата отшибатца никак не можно... Купец не купец, а родовой стрелец. Так со всеми и руку тяни... Энто у нас уже так завсегда, спокон веку... А другое сказать, сами наши богатеи и подбивали нас... Толкуют, ихня толста мошна и то трещит от нахрапу от полковничьево. Знаешь, дьяк, как приговорка есть: "Злющему борову все не по норову..." Так и Грибоед наш. Нам ево не избытца добром, прогоним силом... В те поры хуже буде. Так ты и скажи...

— Ладно, ладно, скажу... Уж будь покоен, — повызнав все, что казалось

ему интересным, торопливо ответил дьяк. — Ты с Богом поезжай себе. А я твою челобитную в ту же пору и боярам понесу казать... Как они там?..

— Ладно, неси... Пущай они. Слыхали и мы на слободах: помирает царенька, подай ему Господи доброе здравие... Што ж, пущай бояре примут от нас душегуба, кровопивца Сеньку-полковника... Али новый царь наступит — он пущай разберёт. Только бы нам Грибоеда к лешему... Так, слышь, и скажи боярам...

Тяжело взобравшись на костлявого, высокого коня, привязанного тут же, в низу лестницы, стрелец ещё раз обернулся, кивнул головой в спину дьяку, который был уже у двери приказа, выходящей на площадку, и потрусил рысцой по площади, даже затаив какую-то песенку от удовольствия, что так легко и удачно выполнил поручение товарищей...

Когда старик князь Долгорукий прочёл челобитную, переданную ему в тот же день, под вечер, дьяком, он спросил:

— Што так спешно припожаловал с челобитьем, на дом ко мне заявился? Али не терпелось, пока я наутро сам загляну в приказы?

— Не по своей воле-то, боярин, князь Юрья Лексеич... Я было к Ивану Максимычу раней побывал. Он меня к тебе и послал. Уж больно грозился стрелец, всяки беды сулил, коли задержу челобитье.

— Грозил стрелец?.. Тебе?! Да што он, шалой али пьяный? В царский приказ заявился, да с угрозой!

— Не потаю греха, так уж пьян, что и лыка не вязал! А супротив ваших боярских милостей: Ивана Максимыча, да твоей, да сынка твоего, Михаила Юрича, князеньки, — такое городил и прибирал... и-и... язык не повернётся и вымолвить...

— Ла-адно... Зажирели собаки стрелецкие... Мало им батога, которыми недавно их велел потчевать... Ещё прибавлю. Как звать-то нашего челобитчика? Знаешь ли? Я ему покажу...

— Не сказывал, как ево зовут... Я уж и то пытал. Сдогадался — не дал ответу. Да он наутро за ответом быть хотел...

— За ответом... Получит ответ... Ступай. Я утром буду пораней. Сам все разберу.

На другой день, хотя и рано явился за ответом выборный стрелец, но ему пришлось недолго ждать... К приказам подъехал со своей свитой старик Долгорукий, поднялся наверх и первым делом спросил:

— А што, от грибоедовского полку посланец тут ли?

— Тут, уж давненько ждёт.

— Покажите мне его.

Позвали стрельца.

С шапкой в руке, отдав поклон важному боярину, стоит выборный, ждёт, что у него будут спрашивать.

— А, так энто ты тут неподобные речи в царских приказах ведёшь, — вдруг, багровея от гнева, закричал князь. — Узнаешь, пройдоха, как на нас, на слуг государевых, лаю непотребную изрыгать... Эй, берите его...

Приказные служители двинулись вперёд, сразу скрутили опешившего стрельца. Он даже не стал особенно сопротивляться.

По приказу князя немедленно был написан и подписан приговор. Дьяк сел на коня. Несколько сильных приказных сторожей, обычно выполнявших приговоры над обвинёнными, потащили стрельца прямо в слободу, к съезжей избе грибоедовского полка.

Ударили в било. Барабаны забили сбор. Двадцать минут не прошло, больше половины полка стояло уже на площади перед "каланчой".

Дьяк, не слезая с лошади, откашлялся и стал читать приказ:

— "По указу... и прочая, мы, думной боярин, начальник-воевода Стрелецкого приказа, князь Юрий Алексеевич Долгорукий со товарищи приказали: стрельца, имярек..."

Тут дьяк остановился.

— Как звать-то тебя?

Угрюмо стоявший со связанными назад руками стрелец недоуменно посмотрел на приказного.

— Ондреем зовут, по отцу Васильевым. А кличут — Щука.

— Так. Выходит, карась — не дремай. Добро.

И, крикнув, дьяк продолжал читать указ, словно так и было написано в бумаге:

— "Стрельца Грибоедова полка, Ондрюшку, сына Васильева, Щуку кнутом наказать за его облыжные, наносные речи и всякую лаю, всего дать двадесять ударов. А для примеру — сечь его на полковом кругу у съезжей избы, чтобы иным было неповадно".

Подписи прочёл, число и год.

Говор смутного недовольства пробежал между стрельцами, кучками обступившими дьяка и связанного товарища, которого держали приказные каты-прислужники.

Но никто не решился первый сказать что-нибудь. С утра не успели ещё охмелеть иные, способные на безрассудство в пьяном виде. И сильна ещё была в них привычка к повиновению.

Но стоило дать самый лёгкий толчок — и эта напряжённая толпа могла стать неукротимо-опасной.

И толчок был дан.

Как только по знаку дьяка два прислужника стали валить на землю стрельца, чтобы исполнить приговор, тот вырвался у них из рук и кинулся прямо в толпу:

— Братцы... Да што же... За што же, родимые... За вас же, товарищи, за весь полк муку принимать должен... Застойте, заступите, товарищи. Вашу волю творил, подавал челобитную... А ноне даёте на поругание посланца своего. Грех, товарищи... Стыд головушке, коли дадите меня на истязание...

Кинулся на колени бедняк и, не имея возможности шевельнуть связанными руками, припадал головой к ногам стрельцов, губами ловил руки товарищей.

Дрогнула сильнее, зашевелилась, зашумела вся громада стрельцов.

Но ещё не знали, что делать. Одно оставалось: прогнать дьяка с палачами. Но за этим должно последовать нечто бесповоротное.

Не пройдёт такая дерзость безнаказанно. Как ни слаба теперь царская власть, как ни идут вразброд бояре, вступая вечно в свару из-за доходов и выгод, в ущерб общему делу, — подобной дерзости стрельцам они не простят.

Пользуясь замешательством толпы, палачи снова схватили Щуку и стали валить его на землю, тут же срывая одежду, чтобы обнажить до пояса приговорённого к истязанию бедняка.

— Выручайте, братцы, — прерывистым, отчаянным воплем прорезал воздух Щука.

Палачи изловчились и сейчас же заглушили крик, заткнули чем-то глотку стрельцу.

Но нервы больше не могли выдержать у окружающих. Всякие благоразумные соображения были забыты.

Приземистый, широкоплечий стрелец, из бывших астраханцев, откинув палку, которую держал в руках, как будто она мешала ему, подскочил молча к приказным, схватил одного, оторвал от товарища, толкнул его так, что тот кубарем полетел прочь.

С размаху налетел палач на другого стрельца. Тот наотмашь ударил приказного, свалил его с ног, а сам кинулся туда, где другие приказные служители стояли, не решаясь: отпустить стрельца или продолжать своё дело.

— Прочь, идолы... Пока живы, уходите, — замахиваясь тяжёлой палкой, крикнул второй стрелец.

И, не ожидая даже, пока палач исполнит приказание, пустил ему на голову удар, сам даже крякнув при этом:

— Э-х... Получай, аспид...

Бледные, окружённые десятками озлобленных лиц, видя над собой занесённые кулаки и палки, палачи оглянулись, ожидая, что дьяк заступится за них или скажет, что им делать.

Но тот при первом же ударе, нанесённом служителю, быстро повернул своего коня, и теперь только насмешки и гиканье стрельцов неслись ему вдогонку.

Пустились следом за дьяком и все прислужники, нагнув головы, подобрыв полы кафтанов, только побряхтывая при каждом ударе, который получали на бегу от кого-нибудь из стрельцов.

Расправляя затёкшие, натёртые верёвкой руки, которые кто-то

поспешил развязать узнику, Щука заговорил возбуждённым, визгливым от озлобления голосом.

— Убегли, кровопийцы... Деру задали, собачьи прихвостни... За подмогой пошли. Верьте слову, братцы, — за подмогой пошли... Приведут драгун, солдат да рейтар... Всех нас изведут... Я сам в городе слышал: рать стрелецкую извести порешили бояре, так потачки мы им не дадим. Постоим за себя, братцы... Не дадим в обиду себя, и жён, и детей своих... Начальство покличем... Куды подевались они, грабители... Как нужно, и нету их... Полный круг созывайте... Другие полки повестить надо. Нынче нас обрают. А посла и за их примутся... Солдатам сказать надо. Им тоже солоно пришлось от командеров... Сами знаете: не раз подсылы были к нам и от бутырцев, и от иных полков... Бейте сбор... В колокол вдарим, братцы... Не дадим себя в обиду... Царь помирает. Так бояре и рады измываться над нами. Защиты-де мы не сыщем. Врут... Сыщем... Звони, робя... Бей в барабаны...

И, невольно заражаясь исступлённым настроением товарища, большинство стрельцов кинулось бить в набат, затрещали барабаны, зазвонили колокола на соседней колокольне.

Напрасно более опасливые и благоразумные старые стрельцы пытались осторожно уговорить толпу, остеречь её от того, что ждёт бунтовщиков в случае неудачи.

— Не слушайте их... Это предатели, подкупни боярские... На каланчу их — да вниз кидайте... Мы тута примем окаянных... За оружие беритесь... Теперь по домам, за мушкетами, за пиками... Всем с припасом воинским идти на сход...— Так кричали зачинщики.

Напуганные угрозой, смолкли те, кто думал удержать живую лавину без вина опьянелых, обездоленных людей.

Всю ночь почти длился сход грибоедовцев. Поскакали отсюда гонцы в другие полки. Везде почва была готова и товарищам обещали немедленную помощь против притеснителей: начальников и приказных бояр...

Наутро первосоветникам-боярам сообщили очень тревожную весть:

— Шпыня доносят: шестнадцать полков согласились с грибоедовскими стрельцами. Да к им же пристал солдатский Бутырский полк... И заставили приставов своих заодно идти, а попы ихние, все больше — староверские, кресты и Евангелие выносили. На том Евангелии да на кресте все присягали: друг за дружку стоять до самой смерти. Всех-де не казнят. Москву без стрельцов не оставят... И коли бояре полковников на правез не поставят, иску стрелецкаво не выполнят, самим надо начать расправу с кровопийцами, со мздоимцами-начальниками... А починая с первого Ивана Языкова, вора потатчика, да кончая князем Михайлой Долгоруким, што и сам правды стрельцам не даёт, и отца-старика с пути сбивает...

Так доносили шпионы, подсланные в слободы, где разгорелся полный мятеж. Теперь все полки решили составить одну общую челобитную и подать её самому царю, выступая на это дело целым скопом. И только не решили: с оружием собираться им перед Красным крыльцом или на первый раз прийти безоружными и выслушать, какой ответ будет на челобитье.

— Как же нам теперя? — невольно бледнея от только что сообщённых вестей, спросил Языков у Долгорукого, с которым съехался утром, двадцать пятого апреля, в Стрелецком приказе. — Крутая заварилася каша. Оно, положим, и половины правды тово нету, што в жалобе на Грибоеда написано. Не хуже других полковник. Может, и пользовался малость от своих людей. Так один Бог без греха... А не миновать тово, што разобрать придётся челобитную да для успокоения горланов — как-либо покарать полковника.

— Покарать? Да статочное ли дело? Будь начальник и втрое виновен, не можно по жалобе каждой холопской все творить, как они желают. Ныне — на полковника челобитная. Там — на тебя али на меня подымутся. "Не хотим-де, штобы Приказом нашим боярин Языков правил али князь Долгорукий. Сеньку Шелудивца в начальники волим". Так на кругу загалдят. И надо творить по-ихнему? Моя дума такая: войско собрать, которое не замутилось, окружить слободы. Попугать пищалями, две-три

избы разнести ядрами. А тамо — и крикнуть: "Несите оружие все сюды. Сдавайтесь на нашу милость". Разборку сделать как надобно. Зачинщиков — перевешать али башку долой безразумную. Ково — в колодки... Иных повыслать... Вот останные-то ровно из шёлку тканые станут. Так я мыслю.

— Да и я бы не прочь. Не пора, слышь, боярин... Сам знаешь: царь, почитай, одной ногой в гробу стоит... Помрёт — кабы смута иная, куды грозней стрелецкой, не загорелася. Ратные люди в пригоде станут, все до последнего. Эй, боярин, давай поступимся на короткий час и подержим недолго полковника под стражей, а там ево на волю пустим. Стрельцов бы замирить. А пройдёт смута — разочтёмся с ими своим чередом. Будут помнить, как челобитные писать, властям грозить, мутить по царству.

— Што же, пусть так, коли так, — неохотно согласился гордый старик, сознавая, что Языков в данном случае прав.

Грибоедов, заглянувший тоже в Приказ, чтобы вызнать, в каком положении его дело, немедленно был взят под арест. В слободу послали извещение, что жалоба стрелецкая рассмотрена и полковник-лихоимец арестован.

Обрадовались, зашумели стрельцы.

— Вон, братцы, наша взяла!.. Слышали?!

— Любо!.. Пускай и от нас грабителей-полковников уберут, — отозвались на это стрельцы других полков.

И быстрее закрипели перья полковых писцов, выкладывая на бумагу все обиды, настоящие и мнимые, какие терпели ратники от жадного и распущенного начальства.

Когда же через день стрелецкая громада узнала, что Грибоедов был арестован для виду и на другое же утро потихоньку отпущен домой, ослабевшее было озлобление вспыхнуло с новой силой.

— Эки проныры, обманщики. Морочат только нас... Время тянут. А там и пожалуют с иноземцами да рейтарскими полками, перебьют нас или зашлют на край света, — как бы угадывая тайные планы бояр, толковали на сходках стрельцы.

И одно общее решение постановили почти единогласно:

— Взять челобитную и к самому царю идти. Пусть он казнит и милует, пусть по правде рассудит своих верных слуг — стрельцов с лихоимцами-начальниками да с боярами, которые тех воров покрывают, дружбы и корысти ради.

Решение состоялось двадцать шестого числа. Тут же начали подписывать челобитную почти того же содержания, как и первая, поданная грибоедовцами.

Между прочим там было так написано:

"На наших полковых землях на наши деньги сборные выстроили себе полковники загородные дома; жён и детей наших посылают в деревни свои подмосковные: пруды им копай, плотины, мельницы строй, и сено коси, и дрова секи. Нас самих гонят тоже им служить, не то чистую работу делать, а иное што. И по дому, и по двору, ровно скот тяглый, работаем, что людям ратным и не подобает. И принуждают нас побоями и батожьем за наш счёт покупать себе цветные кафтаны с нашивками золотыми и всякими и папки бархатные и желтики [43], чтоб от других богатых полков без отлички. А из государева жалованья нашево вычитают себе и хлебные запасы, и деньгами немало. И за многие годы нам окладных и жалованных кормов не плачено. А тем воровством полковники те безмерно побогатели. А не будет нам дано суда и правды, так хоть самим доведётся тех ведомых воров-лиходеев перебить, а дома их по бревну разнести".

Так заканчивалось челобитье.

Тут же был приложен список полковников, которых обвиняли стрельцы, и бесконечные списки — счёт всего, что, по их расчёту, недополучили челобитчики из своего оклада деньгами и припасами всякими или сукном, холстами, которые тоже отпускались им по известной росписи.

Подать на другой день этой обширной челобитной не удалось.

Вечером царь отпустил Иоакима, с которым часто и подолгу толковал наедине всю эту неделю. Полежал немного спокойно и вдруг слабо застонал.

— Где Стефан? Плохо мне вдруг... темно в очах штой-то...

Врачи поспешили к больному.

Очевидно, очень плохо стало Федору Силы быстро иссякали. Приходилось чуть не каждый час давать укрепляющие средства, чтобы сердце не остановилось. Царь то впадал в лёгкое забытье, то приходил в сознание и, с трудом дыша, наконец приказал:

— Всех зовите скорее... Помираю... Хочу видеть братьев... Сестёр... Святителя просите. Матушку-государыню... Петра... Петрушу...

Эти слова, угасающий голос, искажённое смертной тоской лицо так повлияли на царицу Марфу, которая с Софьей была в опочивальне больного, что она лишилась сознания.

Перенесли её в соседний покой, отдали на попечение старухи Клушиной и другой постельницы, дежурившей там.

Рано на рассвете поскакали и побежали гонцы в Чудов монастырь, к патриарху, к первым боярам, во все концы московские.

Искрой пронеслась печальная весть по городу и по его посадам: "Царь умирает..."

Вместе с теми, кто был зван во дворец, толпы разного люду стали подходить, наполнять пределы Кремля, и все жадно ловили слухи, долетающие сюда из покоев царских, из царицыных теремов.

Быстро наполнилась людьми самая опочивальня Федора и соседние покои.

У постели столпилась вся семья: тётки, сестры, царица Наталья с Петром, Иван-царевич со своим дядькой, князем Петром Ивановичем Прозоровским, не отходящим никуда от питомца.

Несколько раз в течение долгой агонии, тянувшейся до четырех часов дня, Федор пытался что-то сказать, делал движение головой, слабо шевелил пальцами, словно подзывая кого-то.

Патриарх и Наталья, царевна Софья и боярин Милославский поочередно наклоняли ухо к самым губам умирающего.

Но только невнятный, прерывистый лепет срывался с посинелых губ.

Можно было различить отдельные слова:

— Матушка... Петруша... брата Ваню... Батюшка царство... Петруша...

И даже от такого слабого шёпота, от этих несвязных фраз силы его истощались. Он закрывал глаза, сильно вздрагивал, хрипло, тяжело дышал.

И не помогали ему самые сильные средства, какие решились дать умирающему Гаден и другой врач, чтобы поднять на короткое время силы, дать возможность хотя бы на словах объявить свою волю по царству, так как письменного завещания Федор сделать не успел; а бояре, случайно или умышленно, не торопили его с этим.

Садилось солнце, клонился к вечеру, догорал уже день так тихо, так печально, одевая пурпуром и золотом закат, затканый дымкой весенних облаков.

И тихо угас Федор, догорела молодая жизнь, всё время бледным, неровным огнём горевшая в слабом, подточенном болезнью организме.

— Душно... окошко... брата на царство... Господи... Пресвятая... Душно!..

Прозвучали последние слова... Несколько судорожных движений... И не стало на Москве царя Федора Алексеевича. А новый царь не был назван умирающим.

## Часть II

### Глава I. ДВА ЦАРЕНКА

Как только патриарх смежил мёртвые очи царю Федору, первую мыслью у святителя и у всех был тревожный вопрос:

"Кто займёт трон? Иван, из рода Милославских, или Пётр, из Нарышкиного гнёзда? Или оба вместе, как толковали ещё и при жизни Федора иные бояре, думая этим примирить обе враждующие партии?"

Первым патриарх совершил последнее целование. Пока остальные прощались с усопшим, омывали и облачали тело в царские ризы поверх савана, Иоаким, приказав трижды ударить в "вестник"-колокол, прошёл в свою Крестовую палату, куда за ним последовало все духовенство.

Помолчав, он обратился к попам:

— Там — плач и рыдание у тела государя почившего. Но на мене Господь

возложив тяжку заботу устроиты престол и землю, штоб не сиротило царство, як сиротиет ныне царская семья. Звестно вам, отцы и братие, шо остался по усопшем другый брат, и совершённого по царским звычаям возрасту бо шесть на десять лет исполнилося Яну-царевичу. Та только ж не нарекав его при жисти царь Хвеодор, бо ведомо нам усим: скорбен телом и духом той царевич. Другий у нас есть отпрыск древа царского. Юный Пётр, коему десять рокив исполняеца лишь в сём року. Но цветущего здравия, редкого разума отрок, сорище на такого похож, кому вже и шесть на десять годов минуло. А ещё к тому — мать-государыня великая княгиня Наталья Кирилловна жива у цого царевича, што буде на пользу царству. Ибо может избрать благое правление, доколе отрок-царь придёт в его совершённые годы. Как мыслите, обсудя все сие: кого наречи на царство?

Первый по старшинству чудовский настоятель Адриан, потом занявший престол патриарха, опросив остальных иерархов, ответил Иоакиму так, как и можно было ожидать:

— По воле Божией надо быть царём государю, великому князю Петру Алексеевичу. Да подаст ему Господь сил и мудрости на подвиг царства.

— Аминь. Теперь прошу вас, не забуйте: глас народа — глас Божий. Я к боярам выду, к царевичам, ко всим ближним вящим людям. Алибо к себе их покличу. Они пусть обсудят и решают... А вы — грядить на дворы дворцовые и на площади кремлёвские, оде уж собрался народ. И ще собирайте людей. Нехай стануть на обычном мисти уси: от гостей та гостиных чёрных сотен люди и от купцов та от разных чинов, та от стрелецких слобожан, от слобод хамовных — Кадашевских и иных... Единым словом, ото всево люду московского шоб стали лучшие люди... И скажите им, как вам Господь на ум послал избрати. И выйду я, вопрошу их: ково они нарекуть? Чин надо исполнить всенародный, штобы потом помихи и неладов не було на царствии, ково ни укажет нам Господь. Воистину — помазанник земли и Бога будет той избранный... Идить.

Разошлись по всем площадям иереи, стали на крыльце дворцовом владыки, послали бирючей [44] кликать и звать народ к Красному

крыльцу.

Скоро пройти уж нельзя было от толпы.

И духовенство пересказывало народу, что им говорил Иоаким. Повестило, что ими, духовными лицами, избран Пётр, один, без Иоанна, так как последний здоровьем слаб.

— Выйдет святейший патриарх, вас, люди московские, большие и малые, пытаться станет: ково хотите на царство? Дайте ответ по душе, как Бог вас наставит...

Так заключило свои речи духовенство. Как рокот волны или далёкого грома, имя Петра прокатилось по толпе.

Поднялись было отдельные голоса:

— Ивана бы... Старшой тот царевич...

— Обоим бы государить... Оно бы лучше...

Но этих несогласных с общей волной вынуждали молчать.

В то же время патриарх прошёл снова к царевичам, к боярам-первосоветникам, к думским и ратным, служилым людям.

Здесь ясно обозначилось два течения.

Друзья Милославских с отчаяньем видели, что власть уходит из рук. Стрельцы, ещё не подготовленные к делу, сейчас заняты личными вопросами. Партия родовитых бояр, иноземные войска, влиятельное поместное дворянство, подчиняясь авторитету патриарха, его выбору, о котором узнали сейчас во дворце, решили стоять за Петра.

Ближайшие к Нарышкиным лица даже явились сюда в кольчугах под шёлковыми кафтанами, с оружием, спрятанным под одеждой, готовые на смертельный бой, только бы отстоять своё дело.

И тогда патриарх, повторив почти все те же доводы, какие приводил духовенству, задал вопрос:

— Государи-царевичи, думные бояре, окольные, воеводы, служилые и верховые люди, Христом заклинаю вас распятым, по чистой совести скажите, кого на царство волите?

— Петра... Царевича Петра Алексеича... Ево государем...— почти единодушно ответили бояре, наполнявшие обширный передний покой

дворца и сени перед этим покоем.

Как и в народе, так и здесь — один — два голоса несмело прозвучали вразрез другим сотням голосов:

— Ивана Алексеича на царство. Ево волим... Старшова царевича, роду Милославских... Единоутробново почившему государю...

Окриком, бранью были встречены эти слова. Но Иоаким усмирил бояр из партии Нарышкиных, которые уже собирались кинуться на расправу со смельчаками:

— Стойте, чада мои. Господним именем молю вас: воздержитесь вид насилия. Здесь — вольно каждому своё слово сказать. Тем святее и твёрже будет обще избрание ваше. Нехай выступить, хто казав, шо не Петра на царство. Нехай изложить мнение своё.

Из толпы недругов Нарышкиных, очевидно ободряемый своими, вышел простой, небогатый дворянин Максим Исаич Сумбулов и торопливо, запинаясь от волнения, заговорил:

— А как я помышляю: царевичу Иоанну Алексеичу, как он старший есть и летами совершён, и подобает быть единым государем, царём-самодержцем всея Руси...

Сказал и умолк. А на лице, на лбу выступила испарина.

Понимает захудалый дворянчик, что сильные покровители выставили его застрельщиком, чтобы посмотреть, не пристанет ли ещё кто к этому заявлению... Но неодобрительный гул был ответом на быструю, сбивчивую речь Сумбулова.

Старец Иоаким добродушно улыбнулся, погладил свою редковатую бороду и начал наставительно и кротко:

— Чадо моё. Не ведаю, як звати тебе, як величати... Добре, шо старость чтишь и ей первенство желаешь. Но спрощу я тебя: слышал ли, што тут мною объявлено було о двух царевичах? И ещё спрощу вот два древа, росле, но бесплодие ветла чи вязь там подорожный... А вот — невелика вишенка, молода, кудрява, вся не тильки цветом, но и плодами обременённая. Што изберёшь? Кого из двух почтишь?.. То ли древо, што старей и без пользы, или плодовитое, хотя и молоде? Так и оба ти брата-

царевичи. И знову пытаю тебе, ково изберёшь?

— А как я помышляю: царевичу Иоанну Алексеичу, как он старший есть и летами совершён, и подобает быть единым государем всея Руси, — только и мог повторить, как заученный урок, обескураженный Сумбулов.

Но его уж и слушать не стали. Патриарху со всех сторон кричали:

— Петра... Ево, вот ево... Царевича Петра на царство...

И все глаза и руки обратились к Петру, которого сторонники догадались в эту минуту вывести из спальни почившего брата.

Милославские с друзьями пытались было заговорить. Но Иоаким поспешно возгласил:

— Аминь, и я реку, как уж единожды сказал. Теперь ще народ испытаты треба. Народа воля повершить наш выбор. Як Москва желае, тако и мы сотворим. Ходимте, царевичи, князья та бояре... А ты, государь-царевич, тут помедли с государыней-матушкой да с присными твоими. Я позову, як треба буде.

Пётр и вся семья Нарышкиных остались в палате, а патриарх, окружённый всеми боярами, властями, вышел на площадь, что у церкви Нерукотворного Спаса за оградой.

Едва задал Иоаким свой вопрос, одним кликом, одним именем ответила многоголовая, густая толпа.

— Петра на царство. Хотим царевича Петра!

— Единого его ли? Алибо оба да обще царствуют, с братом Яном Алексеичем? — для большей ясности повторил вопрос патриарх, твёрдо уверенный в том, как ответит народ, заранее умно подогретый и настроенный посланцами самого патриарха и Нарышкиных.

— Петра одново... Ему одному государем быть... Не надо Ивана... Петра на царство!..

И без конца гремел, повторялся этот же народный приказ...

— Так буде воля Божия!.. Иду нарекати царя. А вы уси — и прости люди, и ратни — идить во храмы кремлёвские. Там усе приуготовано. Примить присягу царю и государю, великому князю Петру Алексеичу, самодержцу всея Великия, Малыя и Белья России. Аминь... Хай живе на многия лета!..

— На многия ле-ееета...

Восторженный клич потряс окна дворца и долетел до царевичей и царевен, до семьи Нарышкиных, до всего гнёзда Милославских, которые здесь в одном покое стояли и ждали как разрешит судьба их многолетний спор?

Услышав эти крики, вздрогнула, вскинула головой царица Софья и вышла из покоя, а за ней и все царевны, старшие и меньшие.

Радостью засветилось лицо Натальи, когда она с молчаливым благословеньем опустила руки на голову царевича-сына, в этот самый миг призванного на престол голосом народа. Вернулся патриарх. С ним вместе все прошли в Крестовую палату. Грянул хор: "Аксиос..", "Осанна!"

И совершилось наречение на царство царя Петра Алексеевича, первого императора и Великого в грядущем...

Всю ночь толпы народа, переходя из одного собора в другой, совершали поклонение перед телом усопшего Федора и присягали новому царю-отроку Петру Алексеевичу и всему роду его. Везде на посадах, в стрелецких слободах, на окраинах столицы, как и в Кремле, разосланные гонцы собирали стрельцов и народ во храмы — и все приносили присягу новому государю, а священство служило панихиды по усопшем Федоре.

Крупными, быстрыми шагами, совсем не по-девичьи, ходит взад и вперед по своему покою царица Софья.

Остальные сестры уселись тут же, теснятся на скамье, словно опасаясь чего-то или взаимно защищая одна другую. Самая старшая, Евдокия, которой пошёл тридцать третий год, рыхлая, почти совсем увядшая, сидит в углу, прислонясь к стене, уронив на колени пухлые, белые, униженные перстнями руки и тупо глядит перед собой глазами без выражения, словно и не видит ничего: ни Софьи, мятущейся по тесному покою, ни сестёр Марфы, Марии и Федосьи, прижавшихся к ней с обеих сторон.

Порою слезы набегают на глаза царицы, собираются в их неподвижно уставленных маленьких глазках, выкатываются из-под опухших век и падают, скатываясь по щекам, высокую, ожирелую, медленно

вздымающуюся грудь. Екатерина, самая миловидная из сестёр, но тоже тучная, двадцатичетырёхлетняя девушка, кажется много старше. Она сидит чуть в стороне, облокотясь на стол, и перелистывает большой том "Символ Веры", сочинение Симеона Полоцкого, на первом листе которого красивым, чётким почерком с разноцветными украшениями было написано посвящение от автора царевне Софье.

Придвинув поближе канделябр со свечами, слабо освещающий покой, довольно медленно разбирает царевна писанные строки, испещрённые замысловатыми завитушками и росчерками искусного каллиграфа.

Тоскливые думы одолевают Екатерину, как и остальных царевен. Но она не любит печального, грустного в жизни. И чтобы отогнать чёрные мысли, вчитывается девушка в давно знакомые ей размеренные строки, которыми как-то не интересовалась раньше:

О, благороднейшая царевна София.  
Ищещи премудрости выну (вне) небесные.  
По имени тому (Мудрость) жизнь свою ведеши,  
Мудрая глаголеши, мудрая дееши.  
Ты церковны книги обыкла читати,  
В отеческих свитцех мудрости искати...

Дальше пиит говорит, как царевна, узнав о новой книге Симеона, "возжелала сама её созерцати и, ещё вчерне бывшу, прилежно читати"... И как ей понравилась книга, почему и приказала переписать сочинение начисто, как его поднёс Софье Полоцкий. Вместе с книгой и себя поручает он вниманию и милостям царевны и кончает льстивой, витиеватой похвалой:

Мудрейшая ты в девах, убо подобает,  
Да светильник сердца ти светлее сияет.  
Обилуя елеем милости к убогим,  
Сию спряжа доброту к иним твоим многим.

Но и сопрягла еси, ибо серебро, злато —  
Все обратила еси милостивне на то,  
Да нищим расточиши, инокам даеши,  
Молитв о отце твоём тёплых требуеши.  
И аз грешный многажды сподобился взяти,  
Юже ты милостыню веле щедро дати...

Почти вслух дочитывает Екатерина напыщенную оду, а сама думает:  
"Вот какие люди хвалили сестру. Умела же добиться. И все мы ей верили,  
что сделает она по-своему, не пустит на трон отродье Нарышкиной... А  
тут..."

И тёмной, беспросветной тучей рисуется ей будущая жизнь, какая  
предстоит им, сёстрам-царевнам. Так же заглохнут, завянут они, как их  
старухи тётки, вековечные девули, больные, обезличенные, вздорные,  
доживающие век в молитвах, в постах, в среде своих сенных девок,  
шутих, дурак и юродивых...

Не в такой ясной, отчётливой форме, но эти мысли теснятся в душе  
царевны.

И свою тоску, своё предчувствие печального будущего она связывает с  
сестрой Софьей, её винит во всём. Уж если ей все верили, она должна  
была дойти до цели, не останавливаясь ни перед чем... Мало ли есть  
средств? Можно проникнуть и в терем Натальи, и в покои Петра... Не  
бессмертные же они... Грех, правда, великий грех... Так всякий грех  
замолить можно. И, наконец, расплата за грех ещё не скоро будет, там, в  
иной жизни. А прожить так, как теперь, придётся ещё много лет... Это же  
хуже ада... И во всём Софья виновата...

А Софья, она думает почти то же, что и сестра, тоже винит себя теперь в  
нерешительности, и молча шагает мимо сестёр. Все сильнее сжимает,  
ломает себе пальцы; порой подносит их к зубам, схватывает и зажимает  
почти до крови, чтобы не дать вырваться бешеному, злобному рыданию,  
подступающему к самому горлу, от которого грудь так и ходит ходуном.

За дверью слышались шаги и голоса.

Вздогнули царевны. Неужели это идут за ними от Нарышкиных? Узнали, конечно, о сношениях со стрельцами, с боярами. И, пользуясь удачей, властью, попавшей к ним в руки, отвезут всех в монастырь, заставят насильно постричься...

Это опасение сразу охватило всех сестёр. Шесть сердец забилося с тревогой и страхом, широко раскрылись шесть пар глаз.

Софья остановилась, Екатерина даже книгу уронила, вздрогнув. Остальные застыли на своих местах.

Но тут прозвучал знакомый голос Анны Хитрово, творящей входную молитву. Вошла она и Иван Милославский.

Пока вошедшие закрывали за собою невысокую, тяжёлую дверь, в полуосвещённой комнате рядом обрисовались ещё и другие фигуры, женские и мужские. Но те остались за порогом.

— Што пригорюнились, касатки мои, царевны-государыни? Али жалко брата-государя, в бозе почившего Федора, света нашего Алексеевича, — запричитала протяжным, плаксивым голосом Хитрово. — Смирение подобает во скорбях. Не тужите, не печальте душеньку святую, новопреставленную. Чай, ведаете, до сорочин [45] до самых круг нас летает чистая душенька. Скорбь нашу видит и сама скорбить почнет... Не надо, Божья воля творитца. Грех роптать на неё. Горе то поручь [46] с радостью шествует. Вот новый государь у нас есть... Юный царь, Пётр Алексеевич. Только што Господь привёл: здоровали мы ево, красавчика милаво, на царстве. А там, слышь, толкуют: вам, государыни, и поспеть не довелось челом ударить брату-государю на ево новом царстве. Я сказываю: в горести по брате, в слезах царевны-государыни... Може, пошли себя обрядить; достойно бы, с ясным лицом, не в обыденном наряде государю бы кланятца. А злые люди зло и толкуют. "Гордени-де царевны... Не по сердцу им, што их единоутробный брат Иван не воцарился... И ушли потому..." Эки люди-завистники. Адовы смутители. Ссорить бы им только родных, смуту заводить в семье царской... Ну, слыханное ли дело. Как скажешь, Софьюшка? Ты у нас самая разумница слывёшь. Такое делать и говорить можно ли?.. На рожон чево прати,

коли не мочно ево сломати? Верно ли?..

Софья, как и все царевны, хорошо поняла смысл причитаний Хитрово. Они ясно сознавали, что поступили неосторожно. И за это были наказаны минутою панического страха, сейчас пережитого сёстрами.

Кроме Софьи, остальные царевны поспешно двинулись к дверям.

— Ахти мне... Правда твоя, Петровна... Наряд скорее бы сменить... Идём, сестрички, поклонимся... Воздадим кесарево — кесареви, — первая откликнулась Евдокия.

Но Софья, сделав движение, как бы желая удержать сестёр, заговорила напряжённым, нервным голосом:

— Поспеем, куды спешить. Минули годы наши, штобы в жмурки играть. И там знают, каково легко нам челом им добить... И нам ведомо: милее было бы роденьке нашей царской и вовсе нас не видать, ничем челобитья примать наши... Не из камня мы тёсанные, не малеванные. Люди живые, душа у нас есть... Куклу, вон, ребячью за тесьму дёрни — она руками замашет, ногами запляшет... Али и нас ты, Петровна, так наладить собираешься?.. Пожди, поклонимся идолам... В себя дай прийти. Скажи вот лучше, старая ты, разумная... И ты, дядя... Правда есть ли на земле? Закон людской да Божий не то подлым людям, черни всей, а и нам, царям, вам, боярам, исполнять надо ли? А закон што говорит?.. Молодшему поперёд старшова на трон сесть — вместе ли то? Собрались горла широкие перед Красным крыльцом, крикнули: "Петра волим царём..." Што ж, он и царь?! А крикнули б они: "Тереньку-конюха царём?.." Так сотворить надо боярству всему московскому, преславному, патриарху и клиру духовному, пресветлому?.. Скажи, боярыня?.. Ответ дай, дядя!

Злобой, негодованием горели глаза девушки. Она выкрикивала каждое слово, так что всё было слышно в соседнем покое.

— Нишкни ты... Там — чужих много, — прошептала Хитрово, поплотнее прикрывая дверь и опуская суконную портьеру.

— Нешто же можно государя-брата единокровного к конюху Тереньке приравнять? — только и нашёлся возразить царевне Милославский,

недоуменно разводя руками.

Софья ничего не возразила больше. Выкрикнув всё, что накопилось у неё в груди, она сразу ослабела, рыдания, которые долго накалились и рвались наружу, так и хлынули потоком.

— Петровна, милая... Да как же?.. Да можно ли?.. Где же правда?.. — с плачем приныкая к плечу старухи, запричитала Софья. И рыдания долго колотили её, как в лихорадке, долго лились давно невыплаканные слезы, пока царевна не стала постепенно затихать.

Хитрово даже не пыталась словами утешить это бурное горе, этот неукротимый взрыв отчаянья. Она только отирала, как могла, глаза и щеки девушке, залитые слезами, и порой тихо проводила рукой по волосам, не то приводя в порядок их разметавшиеся пряди, не то проявляя любовную старушечью ласку.

Милославский, тоже молчавший, пока рыдала Софья, подошёл к ней поближе, когда рыдания стали умолкать.

— Слышь, Софьюшка... Нишкни... Послушай меня, девушка... Пождать — не совсем отменить. А и так бывает: ныне ликует, а наутро тоскует... Слышь, заспокой свою душеньку горячую, неоглядчивую... Наше нас не минет, а ворог сгинет... Верь ты слову моему. Али уж и разум затмился у моей Софиюшки?.. Помни, как звать-то тебя... Мудрость... А ты причитаешь в запале, слезы точишь без толку... Всеми пора. Вон, настанет утро. Понесут государя хоронить — и вопи, што вздумаешь... Сестра брата хоронит, никто не осудит... А ноне — помолчи... Только вот, помяни меня и слова мои: трех деньков не минет, может, иные хто волком взвоют... Потерпи. А на поклон государю пойдя — это надобно. Может, и недолго ему государить... А все, чин-чином выполнить надо... Иди, девушка. Сестёр веди и сама ступай...

— Правду кажут тебе, государыня-царевна, родимица ты моя, — вдруг прозвучал за спиной Софьи чей-то женский голос. — Треба челом вдарить государю... Щоб в людях толкив лишних не було...

Все оглянулись в испуге.

Говорила спальница Софьи, любимая подруга и наперсница, пресловутая

Федосья Семёновна, незаметно для всех вошедшая в покой во время рыданий царевны.

— Ух, напужала даже. Откуда ты? — спросила хохлушку Хитрово.

— Де була, там вже немає!.. Посля скажу... А лышень, родимица, государыня ты моя, — добре казалы, их мосць [47] . — Бабёнка кивнула на Милославского. — Не довго ждаты... Таган кипить. Скоро и пину зниматы... Идыть же, государыня-царевна, родимица вы моя...

— Правда? — с загоревшейся, порывистой надеждой, вставая и овладевая собой, спросила царевна. — Добро. И то правда, с чего нашло на меня?.. Не ушло наше дело... Поглядим, што потом Бог пошлёт... И нынче бы, не вмешайся старец-святитель... Нет, Аким-то наш... Аким простота... Кир-патриарх блаженный... Лукавый старик, хохол... Не ждал никто от него прыти такой...

— Ужли так и не ждали?.. Не зря же усопший все с им, глаз на глаз, беседу вёл...

— Беседу... У брата одна беседа была вечно: о души своей спасении... Вот и думалось, исповедует старец брата, грехи с него сымает, каких и не творил он... А вышло...

— Ничего не вышло, верь, Софьюшка. Што мы выведем, то и выйдет... Ну, буде. Не мешкай. Эй ты, Родимица... Зови сенных, ково там. Принарядить царевен надо. И с Богом идите... Не спят, поди, тамо...

— Куды спать... В единый миг в уборе выйдем... Уж поглядишь, боярин... Ступай, не мешай нам...

И Хитрово, проводив Милославского, с помощью Родимицы и других прислужниц, быстро привела в порядок царевен.

Было около полуночи. Палата, переполненная весь вечер всякого звания и чина людьми, стала пустеть. Не только Наталья сидела смертельно измученная, даже крепкий, живой отрок-царь едва мог заставить себя прямо сидеть и принимать поздравления, держа руку на поручне трона, для обычного целования. Глаза у Петра посоловели, личико побледнело. Он подавлял зевету и мечтал: как сладко будет вытянуться в своей постельке, в которую ещё никогда не укладывался так поздно, разве

кроме пасхальных ночей.

Но тогда в воздухе веяло весной. Мальчик высыпался с вечера и уходил на всюнощную бодрый, ликующий... В храме стоял и молился, а не вынужден был сидеть, как теперь, целые часы неподвижно, кланяясь каждому поздравителю, отвечая хоть словом на поздравления более знатных и почтённых царевичей, бояр, воевод и князей...

Борис Голицын, Родион Матвеич и Тихон Никитич Стрешневы стараются по возможности облегчить своему питомцу первое всенародное выполнение царских обязанностей, нелёгких даже для взрослого человека, не только для резвого мальчика, каким был Пётр.

Во время коротких перерывов между поздравлениями они оттирают лоб, лицо и шею мальчику влажным холстом, дают ему пить, негромко повторяя:

— Уж и как любо глядеть нам на тебя, государь. И где ты выучился так говорить и делать все сладко... Гляди, матушка-государыня души не чует от радости, видя такого сынка-государя... Потерпи ещё малость... Скоро и конец... Не три глазки... Да не усни гляди. А то зазорно будет. Скажут люди: на трон посадили государя, а он и уснул, ровно дитя в колыбели...

— Ну, где уснуть, — отвечает Пётр.

И, правда, глаза его, потускнелые было, сразу загорелись от похвал дядек, от сознания, что мать может гордиться им.

И величаво, как это делал когда-то отец, кивает боярам мальчик-царь. Даёт руку целовать, приветливо говорит:

— Благодарствую на здорованьи. Пусть Господь пошлёт мне сил на царстве, тебе, боярин, служить и прямить нам, государю и всему роду нашему.

Умиляются люди:

—Уж и разумен же отрок-государь. Иному старому так не сказать, как он подберёт. Благодать Божия над отроком.

И сразу встревоженным, подозрительным взглядом окинул Пётр группу, которая показалась в палате.

По три в ряд, вошли все старшие его сестры, сопровождаемые

несколькими ближними боярынями, и направились к месту, где сидел мальчик.

— Поздравляю тебя, государь-братец Петрушенька, на государстве твоём самодержавном на многая лета, — первая по старшинству подошла Евдокия и склонилась к руке брата, чтобы поцеловать её по обычаю.

Но Пётр весь вспыхнул и, слегка заикаясь, как это бывало с ним в минуты смущенья, сказал:

— Благодарствуй, сестрица-душенька... Дай поцелуемся.

И, вместо обрядового лобзанья в лоб, с тёплым, братским поцелуем коснулся её бледных, полных губ.

Затем подошла Марфа. За ней настал черёд Софьи. Но царевна незаметно отступила, и выдвинулась на очередь Екатерина. С нею, с Марией и Федосьей поцеловался Пётр, но царевны всё-таки приложились и к руке брата-царя.

Когда уж все пять сестёр отступили от трона и стали отдавать поклоны царице-мачехе, Наталье, — подошла к трону Софья.

Все насторожились, ожидая чего-то.

Занялся дух и у мальчика-царя.

Странное ощущение испытывал он сейчас. В нём проснулась способность не то читать в чужой душе, не то переживать те самые настроения, какие испытывают окружающие мальчика люди.

Дух перехватило у Петра. Холодок побежал по спине, как бывает, когда глядишь вниз с высокой колокольни или предчувствуешь скрытую опасность. Так, должно быть, испытываешь на поле настоящих боев, а не тех потешных сражений, какие устраивает мальчик у себя в Преображенском порой. Врага почуял перед собой Пётр. И это было тем страшнее, тем тяжелее мальчику, что этот непримиримый враг — родная сестра. Все говорит, что не обманывает его догадка. Красные, воспалённые от слез глаза горят холодной, немою ненавистью, и даже не пытается скрыть царевна выражения своих глаз, не опускает их перед внимательным взором прозорливого ребёнка.

Как из камня вытесанное лицо, сжатые губы, напряжённый постав

головы, опущенные вниз и плотно прижатые к телу руки со стиснутыми пальцами, — все это напоминает хищного зверя, которому что-то мешает броситься на врага.

И против воли — тёмное, злое враждебное чувство просыпается в душе ребёнка. Он весь насторожился, как бы готовясь отразить вражеское нападение. Но в то же время ему невыразимо жаль сестру. Он словно переживает все унижение, всю муку зависти и боль униженной, гордой души, какая выглядывает из воспалённых, заплаканных глаз царевны. Он даже готов оправдать её ненависть и вражду по отношению к себе самому.

Ребёнок годами, но вдумчивый и чуткий, Пётр давно на собственном опыте понял, как тяжело переносить унижение, заслуженное или незаслуженное — все равно.

А теперь, с возвеличением его рода, рода Нарышкиных, неизбежно падёт и будет унижен род Милославских... Только царь Алексей при жизни и мог кое-как сглаживать роковую рознь. При Федоре страдали Нарышкины, страдал он сам, Пётр. И за себя и, больше всего, за мать, за бабушку. Анну Леонтьевну, за дедушку Кирилла, за другого деда, Артемона Матвеича.

Всех теперь он возвеличит. Постарается, чтобы они забыли печальные дни унижений и гнёта. И, разумеется, всё будет неизбежно куплено падением Милославских, обезличением этих самых сестёр, особенно Софьи, игравшей такую большую роль при Федоре.

Вот почему, сознавая, какой опасный враг стоит перед ним, мальчик в то же время жалеет, любит... да, любит, несмотря ни на что, эту надменную, гордую девушку, стоящую перед ним, царём, не с притворным смиреньем других сестёр, а с немым, но открытым, гордым вызовом.

Эта отвага, этот открытый вызов — по душе Петру, полному такой же гордой и безрассудной отваги. Он ценит её в девушке, в царевне и чувствует, что, даже враждуя, Софья остаётся ему более близкой, родной по душе, чем остальные, неяркие, заглохшие в терему царевны-сестры...

Ждёт юный царь: что скажет сестра? Наверное, что-нибудь особенное,

не тот заученный привет, какой он слышал сегодня из сотен и сотен уст... Важное что-нибудь; такое, что проникнет в самую глубину сознания и заставит дать ответ... И боится больше всего мальчик, что не найдёт настоящего ответа, не подберёт слов, таких же режущих и важных, тяжкозвучных, какие сейчас вот произнесёт учёная, мудрая старшая сестра.

И сразу всем станет ясно: не зря добивалась царевна поставления царём Ивана, слабоумного, больного, вместо которого, конечно, правила бы царством она, Софья. Увидят все, что рано было отдавать трон ребёнку, за которого другие должны говорить: да и нет...

Боится всего этого Пётр. До лихорадочной дрожи, до скрытого трепета боится.

И потемнели его большие, блестящие глаза. Как мрамор, побледнело лицо. Губы, нежные, сжались также сильно, как и у царевны. И, всегда не похожие, они оба стали походить лицом друг на друга, эта некрасивая, чересчур тучная, начинающая расплываться двадцатипятилетняя девушка и этот красавец-мальчик, полный детской прелести, несмотря на крупное сложение и строгое сейчас выражение глаз.

Выдержав небольшое молчание, металлическим, громким голосом, медленно и раздельно начала царевна:

— Челом бью царю-государю, великому князю Петру Алексеевичу, московскому и киевскому, володимирскому, новгородскому, царю казанскому, царю астраханскому, царю сибирскому, царю псковскому и великому князю смоленскому, тверскому, югорскому, пермскому, вятскому, болгарскому и иных земель, царю и великому князю Новагорода низовые земли, черниговскому, рязанскому, ростовскому, ярославскому, белозерскому, обдорскому, кондийскому и всех северных стран повелителю и государю иверские земли карталинских и грузинских царей, кабардинские земли, черкасских и горских князей и иных многих государств и земель восточных и западных, и северных отчию и дедичю и наследнику государю и обладателю, — ево царскому величеству, царю

и самодержцу всея Великия и Малыя, и Белыя России на многие лета... В законе тя, благочестивого государя, Бог да утвердит!..

С каждым новым титулом все больше и больше крепнул голос царевны, она и сама будто вырастала, и окружающим казалось, что развёртывается перед ними какой-то огромный, древний свиток, на котором золотом, огнём и кровью начертаны не только эти названия, а все события, все битвы, усилия и жертвы, какими ковали, звено за звеном, государи московские этот бесконечный, громкий свой царский титул, словно тяжёлым плащом одевающий каждого русского повелителя, вступающего на трон его предков, на трон Рюрика, Владимира Мономаха, Дмитрия Донского, Александра Невского, Ивана IV и других...

Так казалось всем, потому что и сама Софья, вызывая из груди каждый титул, перед собою видела всё, что хотела внушить окружающим.

И особенно ярко представилась Петру вся необъятность и тягота царского бремени, возложенного на его детские плечи сегодня вместе с бесконечным, грозным и блестящим титулом...

Окружающим и самому Петру казалось, что его детская, но такая значительная перед этим, фигура делалась все меньше, меньше, стала ничтожной до жалости по сравнению с пышной царственной мантией, с бесконечными звеньями царских титулов, которые так почтительно на первый взгляд, перечислила царевна своим металлически-звучным, выразительным голосом.

И не величанием впивались слова сестры в душу и сознание ребёнка-царя, а острыми стрелами, жгучей обидой, тем более тяжкой, что глумливая насмешка была слишком глубоко и хорошо прикрыта под золотом внешне почтительных речей... А последний намёк об утверждении в законе был слишком явным упрёком младшему брату, который не вполне законно получил наследье старшего.

Величие, тяжесть венца и власти, которую случайно кинула судьба в его детские руки, так подавила в этот миг Петра, что он всею грудью глубоко, протяжно втянул несколько раз воздух, как будто начал задыхаться в этом обширном, наполовину опустелом покое.

"Ничтожество, посаженное на трон великого царства... Незаконно сидящее на нём!"

Так переводил на обычный язык мальчик-царь притворно-хвалебные слова сестры-царевны.

Не одна обида сдавила грудь Петру. Он угадывал, что Софья не посмела бы так говорить, бросать подобный вызов, не будь у неё за спиной какой-нибудь надёжной опоры, могучей, ратной силы, вот хотя бы вроде тех стрельцов, о мятеже которых донеслись и до мальчика вести как раз сегодня утром.

Пётр сам читал много книг по истории России и западных царств; немало рассказов слышал о том же. И уже понимал, что решают судьбу царств не слова, не желания отдельных людей, как бы высоко они ни стояли над всеми, а столкновение двух или нескольких сил, вооружённых ратей. Кровью и железом куют властелины новые царства, отымают старые друг у друга.

Сомнения нет: сестра решила отнять у него царство. Она думает, что на это хватит у неё ратных людей, сторонников и слуг... А у него, у Петра, неужели их меньше?.. Нет. Быть не может. Иначе не он, а брат Иван сидел бы сейчас на троне. Не царица Наталья, а Софья принимала бы поздравления и низкие-низкие поклоны всех, до старших царевен, сестёр Алексея-царя, включительно.

И эта мысль влила силу и бодрость в грудь мальчику. Он почувал как бы дуновенье какой-то незримой силы над собою.

Все эти ощущения, все мысли быстрее молнии, пробежали одна за другой в душе Петра.

Не успела Софья выпрямить свой бесформенный, чуть ли не уродливый по толщине, грузный стан, склонившийся в пояском поклоне, как поднялся с места Пётр.

В первое мгновенье ему хотелось сказать что-нибудь такое же жгучее, как все, что сейчас сорвалось с уст царевны. Но тут же сознание величия сана, возложенного на него, уверенность в себе, откуда-то прилетевшая, и наполняющая душу жалость к сестре-сопернице, но близкой в то же

время, — все это заставило его заговорить спокойно и твёрдо, не с вызовом, как Софья, а примирительно и властно в то же время.

— Сестра-царевна... Благодарствую на челобитьи. Пошли Господь и тебе много власти и радости. Хорошо ведь сказала ты... Про закон, вот... Я не умею так... А все же скажу... Все государи преславные были, кто по закону правил. А я и не хотел царства. Как стал отец-патриарх мне сказывать... Я говорю: "Иван, он старший царевич. Ему и на трон". А патриарх мне на ответ: "Тебя Бог избрал"...

При этих слова вытянулся во весь рост мальчик, словно вырос на глазах у всех. Его речь, не совсем свободная и ровная вначале, сразу окрепла, стала плавной, связной, как будто демон Сократа овладел Петром. Он продолжал:

— Верю в Господа моего и послушал святителя. Помнить надо, сестра, что сказано: "Послушание воле Господней — возвеличит человек"... Смирение моё и полагаю во славу себе. А без веры, без смирения страстей своих — счастья быть не может, государыня-царевна. Не раз сказывали мне: велика слава и власть — своей волей и душой, злобой и любовью владети. Нет выше той власти. Памятовать о том, сестрица, всегда надо. Тогда Господь и власть, и счастье на земле пошлёт...

Умолкнул Пётр и смотрит: поняла ли Софья его слова? Готова ли смириться, протянуть ему руку и примириться навсегда так же охотно, как он сам готов? Но на Софью слова брата произвели странное действие.

Она несколько мгновений вглядывалась в брата, как будто в первый раз в жизни видела его, слышала его голос.

Слова о смирении, о подвиге, об умении властвовать над собой и над своими страстями, — конечно, это прямо говорится для неё, для Софьи. Не может не знать Пётр, чего желает так пламенно и сильно душа сестры.

И как он сумел оправдать своё возведение на трон. "Воля Божья"... Конечно.

О той же воле Божьей ей говорили сейчас и Хитрово, и дядя... Но совсем в ином смысле...

Да не в этом сила. Откуда у мальчика этот прожигающий душу, властный и, в то же время, сострадательный взгляд? Как смеет он жалеть её, Софью?.. Враждовать с ней он может. А жалеть — не сметь...

И резкое, непоправимое слово готово было сорваться с губ царевны.

Но она не выдержала открытого взгляда больших, тёмных глаз брата, ничего не сказала, опустила голову и, резко повернувшись, вышла из покоев.

На другой день, рано утром, Софья послала к патриарху, просила заглянуть к ней на короткое время для важного разговора.

С неохотой пошёл святитель на половину царевен. Он предвидел, о чём пойдёт речь. Тут уж нельзя будет уклониться от решительного ответа, как он обычно делал в важных случаях, угрожавших его высокому властному положению. Отговориться нездоровьем нельзя. Все равно придётся столкнуться с царевной и со всей семьёй Милославских сегодня же, на похоронах Федора.

И потому со своим постоянным, ясным и кротким выражением лица, подавляя недовольство, двинулся святитель внутренними переходами в терем к царевне. Здесь он застал уже немало духовных владык, царевичей и бояр.

— К тебе прибегаю, святой владыко, — после первых приветствий сразу заговорила о деле Софья. — Вести недобрые стали ко мне доходить. Может, и ты о них извещён. Давно идут толки. А ныне — и вовсе вслух заводят речи... Любо иным по старому обычаю — старшему бы брату на трон сесть... Ивану Алексеевичу. А не будет того — и мятежом грозят людишки безразумные. О царстве, о люде христианском сожалея, прибегаю к вам. Не можно ли отменить, што постановили вечор... Мир тем упрочите.

Говорит, волнуется царевна. Видно, всю ночь не спала. До утра ходила по опочивальне и решила сделать последнюю попытку: миром, без крови кончить последний спор между двумя родами — Нарышкиных и Милославских. Её словно отравило наивное, бессознательное величие души, какое вчера проявил мальчик-брат. Ей как будто больно и стыдно

стало перед самой собою, что не попыталась она так же открыто добиваться своего, как открыто предложил ей Пётр дружбу и примирение.

И, пользуясь тем, что с утра дворец снова переполнился важнейшими в царстве людьми, царевна, убедив и Милославского, и Хитрово, созвала бояр, пригласила патриарха и открыто дала понять, что междоусобица неизбежна, если только не будет посажен на трон царевич из рода Милославских. Молча бояре выслушали Софью.

Иоаким обвёл всех взглядом и, убедясь, что никому не по душе желание Софьи, мягко проговорил:

— От имени Господнего и народным хотением, купно со властями духовными и боярами поставлен государь Пётр Алексеевич на царство. И нема власти, коею низринуты либо низвесты можно государя того. Милостию Божиею, не людским хотеньем царём наречён. Так воно и пребудеть. Напрасно, государыня-царевна, трудишь себе.

— Ин так... Твоя правда, владыко. Соблазна не след заводить... О другом тогда прошу. Не чести рода своего ради... Жалея людей и землю, молю и заклинаю: постановите, пока не поздно... Не было ещё венчания царского. Тебя молю, святейший отец: изволь, наречи и царевича Ивана купно с Петром в государи, да купно воссядут на престол всероссийский и вместе царствуют.

С досадой поднялся с места патриарх, опасаясь, что такое предложение может быть принято боярами, ради избежания грозящей распри. И торопливо заговорил:

— Всеу тревожишь себе и нас, царевна. Сама знаешь: многоначалие — зло для царства. Един царь да буде у нас яко Бог изволил...

Благословил царевну, всех окружающих — и вышел из покоя.

Молча, отдав поклон, разошлись и бояре, кроме Милославских с друзьями.

Совсем потемнело лицо у Софьи.

— Не примают мира. Так стану воевать! — кусая губы, объявила громко царевна.

И в тот же день показала, что не отступит ни на шаг.

Закончились над телом Федора все обряды, какие полагалось совершить во дворце.

Гроб был поднят на плечи, и его в торжественном шествии понесли в Архангельский собор. За гробом по строго установленному чину мог следовать только наследник престола и вся мужская родня покойного государя.

Но в этом выходе, кроме Петра, приняла участие и Наталья, так как царь был ещё слишком молод. И мать его являлась, естественным образом, временной соправительницей царства.

В небольших, обтянутых чёрным сукном санях несли Наталью стольники её. В других санях сидела, окутанная траурной фатой, юная вдова, царица Марфа. Старуха Нарышкина шла сзади с некоторыми важнейшими боярынями, с жёнами царевичей и князей.

На Красном крыльце шествие на короткое время остановилось.

Стольники передали с рук на руки свою царственную ношу молодым дворянам, которые должны были донести сани до самого собора.

Вдруг говор прошёл по всем рядам похоронного шествия и, как зыбь на воде, докатилось смущение до обеих цариц.

Наталья оглянулась и глазам не поверила.

Царевна Софья в траурном наряде, в сопровождении трех-четырех женщин, показалась в дверях, выходящих на дворцовое крыльцо, вошла в ряды провожающих и, пользуясь тем, что все ей давали дорогу, быстро приближалась к голове шествия; минуя обеих цариц, все духовенство, она шла прямо туда, где на плечах бояр колыхался гроб с останками Федора.

Вся кровь кинулась в лицо Наталье.

Не одно негодование на дерзкую выходку взволновало царицу. Ей стало до боли стыдно за Софью. Поступок царевны не имел себе примера. Это было такой же позорной выходкой, как если бы она, Наталья, полуодетая, явилась в мужское общество, да ещё состоящее из чужих людей.

Послать кого-нибудь, остановить царевну. Но посланный от Натальи, конечно, не будет иметь успеха. Софья пойдёт наперекор, устроит что-нибудь, более нехорошее.

Знаком подозвала Наталья свою мать, когда шествие остановилось на одном из поворотов.

— Матушка... иди скорее... Бей от меня челом царице Марфе. Отрядила бы к Софьюшке ково. Ну, статочное ли дело. Видно, себя не помнит девушка. Вишь, што надумала. Стыд-то какой... Сором и стыд головушке... На нас укор и позор. Явно, на очах всех бояр, на очах всего народа — плюёт в лицо нам царевна. Вперёд царицы-матери, вперёд вдовы-царицы затесалась. Никто-де так не любит усопшего, как сестрица-девица... Да пешая, гляди... Царевна московская... Плечо в плечо с чёрным людом идёт... Не бывало... не слыхано... Ступай, скорее, матушка... Пусть в разум придёт, коли не вовсе отнял его Господь... Коли стыда хоть малость есть у девицы...

Все пересказала царице Марфе старуха, что говорила ей дочь.

Марфа сейчас же поручила боярыне Прозоровской подойти к царевне, уговорить её вернуться в терем.

Степенно приблизилась боярыня к царевне, пошла с ней рядом, и, наклоняясь к Софье, ласково, мягко передала все доводы, какие приводила Наталья, закончив просьбой скорее вернуться в терем.

Но Софья тихо, в ногу со всеми, шла вперёд, словно и не слыхала речей Прозоровской. Только время от времени сдержанные рыдания, глухие стоны вырывались у неё из-под фаты...

И чем ближе к собору подвигалось шествие, тем громче, резче и жалобнее звучали эти вопли... Очевидно, сначала царевна опасалась, что её силой принудят немедленно удалиться в терем. Но чем дальше от дворца, чем ближе к собору, где все черно вокруг от толпы московского люду, — тем сильнее крепла уверенность царевны, что не будет затеяно резкого столкновения на глазах народа.

Прозоровская только покачала головой и поспешно вернулась к саням царицы Марфы.

Вся дрожа от негодования, стыда и гнева, вышла Наталья своих саней на паперть, где её поджидали оба брата — Пётр и Иван.

— Видел, Петруша, что Софьюшка-то делает? — задыхаясь, едва могла прошептать царица сыну.

— Уж видел... Так зазорно, и глаза бы не глядели. Ровно не в себе сестрица. Как мыслишь, матушка?..

— Ну, тово и разбирать не стану... Идём, простись скорее с усопшим государем-братом... Да во дворец вернёмся... Не вместно нам быть с тобой и во храме, коли озорничает старшая сестра... На нас покоры пойдут... Идём же скорее...

— Твоя воля, матушка... Как люди сказывали, до конца мне, царю, стоять тут пристало, пока усопшего погребут... А не приказываешь, родная, так я тебя послушаю...

И вслед за матерью мальчик подошёл к останкам брата, уже возложенным на возвышении, посреди храма.

Слезы брызнули из глаз Петра, когда он с благоговением прикоснулся к оледенелым рукам и челу мертвеца своими горячими губами.

Быстро отерев слезы, творя частое крёстное знамение, сошёл с возвышения Пётр и, следуя за матерью, боковыми воротами покинул храм.

Этот поспешный уход, нарушающий старый, веками установленный уклад, весь обиход церковной и дворцовой жизни, поразил окружающих не меньше, чем присутствие царевны-девушки при гробе брата-царя.

И даже Иоаким как-то нервно, быстрее обыкновенного dokonчил служение, как будто и он был выведен из равновесия тем, что произошло на его усталых от жизни глазах. Ещё больше поразила всех царевна, когда гроб был опущен под своды склепа и шествие в том же порядке двинулось обратно во дворец на поминальную трапезу.

Искуснее любой наёмной плакальщицы, "вопленницы" проявляла своё безутешное горе царевна. Волосы выбивались прядями из-под головного убора... Она ломала руки, хваталась за голову, горестно раскачивалась на ходу и громко, крикливо, с рыданиями и воплями причитала нараспев:

— Государь ты наш, батюшка... Федор свет Алексеевич... И на ково ты

нас, сирот, сестёр своих пооставил? Извели покойного брата-государя лихие, злые люди... Остались мы теперь круглыми сиротами... Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни родни какой верной да приятной... Нету никакова заступника... Брата нашево Ивана на царство не выбрали... Из чужова роду-племени, не от матушки нашей царь-государь... Помилосердуйте над нами, сиротами, люди добрые, весь народ московский... Коли в чём провинились мы перед вами, и братец Иван, и мы, сестры-царевны, и род наш Милославских, — отпустите нас живых во чужие края к королям христианским. Не дайте извести до корня род весь царский...

На вопли царевны, на её жалобы и мольбы о спасении, громко и всенародно оглашённые почти над гробом брата, невольно стал откликаться весь окружающий народ.

Люди прислушивались, качали головами, шептали друг другу слова, после которых сами пугливо озирались, словно опасались, не подслушивает ли кто из окружающей толпы.

Все знали, что бояре повсюду рассылают своих шпыней [48] .

Шнырят те в народе и подводят под батоги и палки ни за что ни про что порой...

Только и могла отвести свою душу Софья, пока шествие не достигло дворцовых ворот. Но здесь почти насильно её взяли посланные Натальей боярыни и проводили в покои царевен.

И в самой Софье наступил перелом. После недавнего исступления и такого резкого вызова решимость ослабела, отчаянная отвага исчерпала все душевные силы. Медленней стала работать мысль, труднее воспринимала ощущения усталая женская душа.

Зато другие союзники затеянного дела работали вовсю, хотя не так напоказ, как Софья.

Через день после похорон, — в воскресенье, 30 апреля, около полудня — большие толпы стрельцов разных знамён, а с ними и солдаты-бутырцы появились в Кремле и прошли к самому Красному крыльцу.

— Царя нам видеть надо, — решительно заявили незванные гости.

В руках у передовых забелели челобитные. Семнадцать человек выступило с просьбами из толпы тех шестисот — семисот стрельцов и солдат, которые постепенно собрались перед золочёной решёткой заветного царского крыльца.

В другое время сразу бы появились иноземные пешие и конные роты, вызваны были бы рейтары или иное войско и смельчаков разогнали бы очень скоро.

Но теперь не та пора. Пожалуй, и вызванные перейдут на сторону буянов, сольют с ними свои ряды, и только большой соблазн и урон будет для авторитета власти.

Вот почему царь не заставил себя долго ждать и вышел к челобитчикам в сопровождении начальников Стрелецкого приказа, обоих Долгоруких, Ивана Языкова и приказного дьяка.

Царица Наталья и дядьки отрока были тут же, как бы желая оградить его от всякой возможной опасности. Но личная опасность пока не угрожала Петру.

Ударили в землю челом стрельцы, едва увидели ребёнка-царя, которому с полной охотой присягнули на верность всего два дня тому назад.

— Здорово, верные стрельцы мои. Бог в помощь, ребята. С чем пришли, говорите. Слышно, челобитные у вас... И вы с ими, бутырские... Как будто и не одново полёту птицы, а летаете стайей... Ну, што тамо у вас... Я слушаю.

Сказал Пётр и ждёт стоит: что дальше будет?

Сверху, с площадки, не очень-то ясно долетает до стрельцов хотя и звонкий, но не особенно сильный голос отрока-государя.

Однако все поняли вопрос и, как один человек, заголосили:

— Не казни, дай слово молвить... Заступись, царь-государь, солнышко ты наше... Светик ясный... Ишь, какой ласковый... Не серчает...

— Тише вы... Не галдите все... И не слышать, чай, царю, — окрикнул своих один выборный из стрельцов постарше и посановитей, держащий в руке челобитную.

И, подойдя совсем близко к крыльцу, поднял бумагу над головой, громко

объявля:

— Челобитную приносим... Вели принять, отец ты наш... Солнышко красное...

Воину-старикуну невольно при виде мальчика-государя вместо избитых обычаем величаний шли на язык более тёплые и простые слова почти отеческой ласки.

Эту ласку, это невольное расположение сейчас же почувствовал стоящий наверху Пётр.

И сразу исчезло неясное опасение, с которым он появился на крыльце, заражаемый, конечно, тем ощущением страха, какое отразилось на лицах окружающих царя при докладе, что его хотят видеть буйные, очевидно, нетрезвые, озорные стрельцы.

— Давайте мне сюды... Вон боярин возьмёт... Разберу вас... Велю разобрать... По правде вам всё будет сделано... Уж верьте мне!.. — так же просто, тепло заговорил со стрельцами Пётр, как и они обратились к царю.

По знаку мальчика Апраксин сошёл, принял все челобитные у стрельцов и у солдат Бутырского полка, которым командовал полковник Матвей Кравков.

— А теперь с Богом, по домам. Коли охота, дадут вам по чарке. Выпейте за наше царское здоровье, — снова крикнул стрельцам Пётр.

Кивнул головой на их земные поклоны — и вместе с боярами покинул Красное крыльцо.

Долгорукие и Языков заранее знали, что написано в жалобах, знали и то, что сегодня они будут поданы. Но не имели возможности помешать этому. И уж наперёд решили многое выполнить по просьбе стрельцов. Всё-таки они уселись с царём и стали внимательно просматривать поданные листы, которые Пётр вручил им тут же, на крыльце.

— Што за челобитье? Чево просят? Сделать можно ли?.. Как скажете, бояре? — спросил царь, видя, что бояре успели прочитать челобитную.

— Да, што, государь? Старые дрожжи поднять горланы затеяли. Дела не новые, стародавние, позабытые, почитай. Ишь, сметили, подлые смерды,

што пора для них хороша. И завели своё... Обиды, вишь, от полковников. Недодачи ищут за много лет. Оно бы не след начальников позорить. Так все и раней велось... Полковники по-старому же дело вели... Да не та пора... Доведётся и покарать для виду полковников, на ково челом били молодцы. С жиру бесятся, стрельцы-собаки!.. Добро. Придёт и на них череда...

— Для виду покарать?.. Да можно ли, бояре? Нет, уж лучше не надо так... Виновен кто, с тово и взыщите, как закон велит. А нет вины на человеке — как и покараешь ево? Можно ли, бояре?

И прямо своими живыми, ясными глазами, как олицетворение совести, смотрит в глаза постарелым дельцам ребёнок-государь.

— Так-то оно так, свет государь, — тепло заговорил старик Долгорукий.  
— Вина есть, как не быть. Без вины люди бы не пришли на начальников челом бить... Да вина вине рознь. И кара разная за каждую вину... А расправу учинят ратники. Хуже потерпеть доведётся полковничкам-господам... Вот о чём толк...

— Так... Разумею... А все же дай мне одну челобитну, боярин, сам погляжу: што в ей?

И мальчик внимательно стал вчитываться в строки, неровно выведенные плохими чернилами на синеватой бумаге.

— Да неужто ж все правда, што пишут стрельцы? И вы, бояре, знали и не казнили воров-лихоимцев? Тати на большой дороге коли грабят, казнят же их. А тут наших ратников полковники грабили... И кары не было им... Да как же, бояре?.. Да почему? Али неведомо было вам?.. Вон сколько этих воров тут прописано.

Пётр стал пробегать по челобитным имена обвиняемых полковников — все хорошо знакомые имена. Генерал-майор Бутырского полка Матвей Кравков, полковники Грибоедов, Полтев, Иван Колобов, Карандеев, Титов, Григорий Дохтуров, Воробьин, богомольный Матвей Вешняков, Глебов, Борисов, Нелидов, Щенин, Перхуров, Конищев, Танеев и иноземный полковник Конрад Кромэ.

Всех их видел не раз Пётр, говорил со многими. Знает, что эти весёлые,

ласковые, brave люди, к которым окружающие, даже государь и главные бояре, относятся с уважением.

А теперь на этих же людей, имеющих за собой не только мирную, но и боевую заслугу, возводится обвинение в воровстве, в казнокрадстве, в бесчеловечном отношении к подчинённым.

Это ошеломило Петра.

Вызванный для принятия челобитной, он сразу столкнулся с таким печальным явлением, которое иначе и не дошло бы до мальчика-царя, а если бы и дошло через приказы, то раньше бояре хорошо сумели бы подготовить Петра, по-своему истолковав челобитье.

И вот в первые же дни своего вступления на трон, силой роковой случайности, мальчик узнал самую опасную язву, которая разъедала строй всего Московского государства.

Лихоимство, воровство, угнетение слабых сильными.

Смотрит на бояр отрок-повелитель своими ясными глазами, в которых и недоумение, и уже загорается гнев.

— Неладно оно, што тебе в руки, государь, подали эти смутьяны челобитную свою. Вон как смутили душу юную, — мягко заговорил Языков. — Тебе знать бы надо раней, што святых да некорыстных людей куды как мало. А царству слуги нужны надёжные, дело бы своё понимали. Оно и в жилом дому случается: дворецкий — и вор, и пьяница, да дело блюдёт, порядки знает, холопов, челядь домашнюю в руках держит, ровно в ежовой рукавице. Так хозяин и видит плутни дворецкого, бражничанье его, а ровно не видит. Другова возьмёшь, пить, тянуть не станет — так хуже будет. И порядок весь в дому вверх дном пойдёт. Так оно и по царству... Служат ладно те полковники. Смелые все, дело своё знают. А што там нелады какие у них со стрельцами домашние — нам бы и знать не надо, и вам, государям, в то не мешатца бы... Да вот пришлось... Зашатались стрельцы, ради твоего малолетства, ради двухдневного на трон вступления... А ещё скажу...

Языков огляделся и стал говорить потише.

— Может, и люди такие есть, и очень велемочные [49], которым по

душе стрелецкое шатание да бунтарство. Они, может, всю бучу и сбили... Да это погода разобрать можно. Теперя помыслим, как с челобитной быть?

— Ужли холопей послушать?.. Выдать им головой столько славных начальников? — не выдержав, спросил Долгорукий.

— Ужли не послушать?.. Штоб у них смелости прибыло самосуд учинить, как вон тут писано? — спросил старика Языков.

Наступило молчание.

У Петра от усиленной работы мысли даже слёзы проступили на глазах.

Все что он услышал, было ему понятно. Но в то же время не испорченная привычкой к власти, не затуманенная государственной мудростью мысль не могла мириться с необходимостью закрывать глаза на преступления и пороки людские, отказывая в правосудии тем, кто нуждается в защите.

Если бы ему ещё сказали о всепрощении, о том, что и сами угнетатели-полковники не виновны в своём грехе, что они так росли, так воспитались... Если бы ему дали надежду, что зло можно исправить постепенно, просветив и господ, и рабов, причём последние не допустят даже до того, чтобы их смел кто-нибудь угнетать... Это могло бы успокоить царя-отрока.

Но ни Языков, ни Долгорукие, сами выросшие в растлевающей атмосфере насилия и лжи, не умели найти слов для успокоения смятенной детской, чистой совести.

Помолчав, робко, неуверенно задал мальчик новый вопрос:

— А если правы стрельцы?.. Как же им не жалобиться? И наветов, поди, они бы ничьих не послушали, не стали бы бунтовать, коли самим бы плохо не было... Так я мыслю.

С удивлением поглядел Языков на мальчика.

— Вон оно што, государь... Ну и видать, што мало тебе дела московские, стрелецкие ведомы. Живут они, подлые, как дай Бог всему люду хрещеному на Руси. Сыты, пьяны от казны твоей царской. Земля им дадена и всякое пособление... Торгом богатеют, почитай, все, хто не

вовсе пропил душу свою. Лодырничают, службу не несут, почитай, как иные ратники твои царские... Не то в сборных избах — каждый с семьёй своей в просторном доме живёт, с детьми, с родителями... У редкого бывает, што своей челяди нет. Старых да хворых на твой же, государев, кошт примают, по обителям их кормят-поют... Повинностей городовых да посадских не несут, как прочие люди земские; торгом да промыслом заниматься могут безданно-беспощинно. Бывают тяжбы али сделки у них и промеж себя, и с иными людьми — пошлины на том не дают твоей, государевой, суды-расправы дармовые для их. Бывает радость у вас, у государей, — им же милости да жалованье идёт, не в пример прочим. Окромя разбоя и татьбы, ведают они все дела и проступки стрелецкие по своим приказам... А знаешь ли, как другие ратные полки на Руси скаречно живут? Казна куды не богата... На чёрных людях и так тягло тяжёлое лежит. Сами люди чёрные, ровно скоты, грязи мрут... Повидаешь царство своё, тогда узнаешь... Где же им больше дать, собакам, стрельцам этим буйным, зажирелым?.. И жалеть-то их грех. Вот дума моя какая...

Кончил речь Языков. Легче стало всем. И бояре, и сам Пётр как будто нашли оправдание той несправедливости которая творилась издавна и которую им пришлось прощать теперь.

— Да коли так, на што и стрельцы нам, государям? — снова задал вдруг вопрос мальчик, очевидно, глубоко заинтересованный всем, что сказал Языков.

— А ни на што, почитай... Раней — нужда в них была, пока солдатских да иноземных полков не было. А ныне и сами они поиспортились, обленились. Да и войско иное у нас завелось, вот по примеру зарубежных царств. Посылали стрельцов на войну, и недавно, слышь... Так сам знаешь: посрамили себя бабьи ратники... Не с поляками, не с турками али с казаками астраханскими им воевать, а со свиньями да с курами али со своим братом, землеробом, пока дреколья нет у мужика в руке... И надо бы их разогнать... Да сразу — опасно. Они тоже так легко куска жирного не упустят. Скажут: "Все одно помирать, не в бою, так с

голоду". И совсем забунтуют. Хлопот тогда наделают, и-и!.. А их мы помаленьку почнем сокращать... Разошлём по окраинам али куды иначе... На их место добрые войска и рати заведём... Вот и не станет смутьянов этих...

— Так, слышь, боярин... Може, и не след карать полковников тех, на ково они челом бьют? — опять нерешительно задал вопрос Пётр.

— И не след бы, а надо. Вишь, обнаглели стрельцы... Засилье взяли в сей час, ироды. Говорю ж тебе, Пётр Алексеевич, государь ты мой милый, мутят их люди сильные... Поди и деньгой наделают... И... Ну, да не время об этом... Как ни крути, а не миновать тех начальников им головой выдавать... На их разбойный суд и расправу. Обычай, слышь, таков.

— Ох, не надо, бояре... Коли стрельцы — людишки подлые... и суд станут не по правде творить, и кару дадут не по вине... Не надо давать, слышь, Максимыч. Тебя прошу, князь, Юрья Алексеич. Не придумаю я... Не знаю по государству, как што надо?.. Сам не скажешь ли?.. Жалко мне этих. Особливо — Кравкова да немчина Кромэ... Я их видел, знаю. Какие молодцы!.. Как быть, бояре?

— Да, одно и есть, — отозвался старик Долгорукий, — отца патриарха просить... Как полковников под караул возьмём — послал бы к стрельцам из духовенства людей повиднее. Просили бы те окаянных, пусть не своим судом судят. Здеся, в твоих государских приказах, в разряде Стрелецком суд дадим. Все лучше, ничем на ихнем сходе оголтелом. Тамо — с каланчей станут кидать людей, на куски рвать станут, хто им не по нраву пришёлся. Видали мы расправу стрелецкую...

— Да неужто?.. — всплеснув с ужасом руками, спросил Пётр. — Такое творица... А што же вы, бояре?.. Как не закажете...

— Э-эх, царенька... Дите ты, так и спрашивать с тебя нечего... Поживёшь — узнаешь. Поди сунься к ним. Не одна была, что и полковников они своих с круга палками гнали в три шеи. Одно на них и есть: пищали полевые навести, перебить половину, другая половина повинитца...

— Ну, и так бы ладно, коли иначе нет способу, — сразу меняя выражение лица, сверкнув глазами, совсем как делает порою Софья,

сказал Пётр.

— Эко легко это, думаешь. Своих на своих повести. Первое дело — междоусобица. По всей Европе говор пойдёт: не стало страха в войсках царских. Расшаталась сила русская. И набросятся соседи, ровно коршуны, на окраины царства... Да и домашним соблазн великий. Вот-де не сумели бояре с царём и войска своего в порядке содержать... А смуты и свары по земле и без тово немало. Раскол растёт... С югу — казаки буйные, Астрахань беспокойная... На закат солнца — Польша да Литва спит и видит: у нас што-ништо урвать... На Поморье — немцы подбираются к нашим исконным вотчинам да областям вековечным... Время ли усобицу подымать?..

— Правда ваша, бояре. Я, слышь, пытаю только. Нешто не вижу, что ещё не моя пора входить в дела государские. А знать охота. Челом вам бью за все, что по чести да по совести растолковали мне, бояре. Вижу, служите вы по правде мне и царству. Не позабуду. А ныне делайте, как получше. Отца патриарха я и сам попрошу.

— Уж того не миновать. Да и боярам думным доложить надо, о чём с тобою, государь, толковано было. Без их немочно дела вершить. Таков обычай.

— Толкуйте... Скорее лишь бы. А то и впрямь мятеж пойдёт по царству. С Богом, идите к делам своим, бояре...

И отрок поспешил к матери, чтобы ей рассказать про первый тяжкий урок государственной мудрости, полученный сегодня.

## Глава II. СТРЕЛЕЦКАЯ РАСПРАВА

Все помянутые в челобитных полковники и Кравков немедленно были взяты под караул. Обвинённые полковники поспешили и, кто сколько мог, внесли деньги, на раздачу стрельцам по челобитной. Но уже третьего мая явилась к царю вторая толпа стрельцов с требованием передать виновных в их распоряжение.

— Приказная правда нам ведома. Кто богат, тот и прав, — кричали, обнаглев, стрельцы. — Откупиться думают, кровопийцы! Ты больно юн

государь. Твои бояре и тебя морочат, и нас хотят навек закабалить.

С трудом удалось патриарху успокоить мятежных. Митрополиты, архиереи, священники и монахи, даже придворный пиит и любимец Сильвестр Медведев в том числе, в Кремле и в слободах увещевали стрельцов, заклинали, порою со слезами, об одном:

— Сделано по-вашему, дети Христовы. Слыхали указ государя милостивый, по коему головой выданы вам все ваши обидчики. Одно молим, не имайте тех полковников, не берите в ваши приказы стрелецкие. Негоже так. Перед всей землёй непристойно так делать: словно суда нет царского на злодеев. Челом добейте государю, детки, он бы их судить приказал по закону. Верьте Богу, чада: не будет потачки злодеям вашим. И сами при том станьте, видеть будете, какая кара постигнет лихоимцев. Сам кир-патриарх, святейший Иоаким послал нас. Ужли для нево не сделаете, для богомольца, заступника нашего перед престолом Божиим?

Буйные, но набожные стрельцы, особенно те, кто постарше, согласились на увещания духовенства.

Это было так ново для воинов-слобожан. К ним, к ихним плохоньким съезжим избам, к "приказам" приезжали и приходили властители духовные, князья церкви, и священники и проповедники, просили, уговаривали, не угрожая ничем, а призывая к милосердию, поминая о правде Божьей, о благе государства, о таких вещах, которые никогда здесь не поминались.

— Волим так, как желает святейший отец патриарх, — отвечали повсюду стрельцы...

И арестованные полковники, после разбора их дела, были приведены и поставлены перед Стрелецким приказом, на Ивановской площади.

Тяжёлая получилась картина.

Выборные от всех шестнадцати полков и от бутырцев, не совсем трезвые, но сосредоточенные, суровые, стояли у самого крыльца Стрелецкого приказа, как стоят на похоронах. И любопытствующие, рядовые стрельцы, плотными рядами теснились за этими выборными.

Дальше кучками и небольшими группами толпился люд московский...

И чем дальше от места наказаний, от Приказного крыльца, тем больше толпился народ, окружив, по обыкновению, все выступы зданий, взбираясь на колокольни и звонницы соседних церквей.

Кипучая площадная жизнь шла своим чередом. Площадные приказные, стряпчие и писцы строчили простому, тёмному люду кабалы и челобитные, продажные и торговые записи. Разносчики всякого товара и напитков, стригуны-цирюльники, забегающие сюда со Вшивого рынка, барышники продавцы из ларьков — все они уделяли порой внимание печальному событию, которое сейчас происходило у Стрелецкого приказа. Но, привыкнув к ежедневным казням, совершаемым здесь же, скоро опять принимались за свои дела. У самой лестницы Стрелецкого приказа, под охраной стрельцов, стояли в грязных, изодранных местах, но дорогих нарядных кафтанах полковники, выданные стрельцам головой, то есть на полную волю челобитчикам, как было принято тогда на Руси.

Все шестнадцать обвинённых стояли, разбившись на три-четыре кучки. У самых ступеней, опустясь на выступ лестницы, сидел раздавленный горем и стыдом седой, грузный генерал-майор Бутырского полка Матвей Кравков. Он опустил голову на руки, словно закрывая лицо от людей, и только большие, ещё не совсем поседелые усы свисали длинными концами наружу из-под рук боевого начальника, отданного теперь во власть его собственным солдатам. Плакать он не мог, не умел. Глаза, воспалённые и сухие, жмурились даже под прикрытием рук. Как будто свет майского весёлого дня, пробиваясь сквозь пальцы, резал их нестерпимо. Порою только широкая, мощная грудь старого бойца судорожно вздымалась высокой волной и сразу опадала. Он напоминал огромную, обомшелую от старости рыбу, выброшенную на сушу и задыхающуюся в чуждой среде.

Рядом с ним сидел всегда спокойный, невозмутимый Кромэ. Высокий, костлявый, но тоже крепкий человек, он и квадратной головой, и таким же угловато-прямолинейным телом производил впечатление вытесанной

из дерева фигуры.

Рыжеватые усы, не особенно длинные, но жёсткие, всегда торчали у него прямо, задорно. Так и сейчас они топорщились, придавая ему сходство с разозлённым котом.

Он тоже старался не видеть всего, что делается кругом, пытался своё лицо укрыть за мощным плечом Кравкова. И только сжимал и разжимал кулаки, выдавая этими движениями всю затаённую, сдержанную работу сильной, неукротимой души.

Со стороны жутко становилось при мысли: что может произойти с тем, кто сейчас попался бы в тиски этих бессознательно сжимающихся и разжимающихся пальцев.

Краснощёкий, вечно принаряженный и весёлый Перхуров, красавец и общий баловень, и Григорий Титов, напоминающий своими гладко причёсанными волосами и мужицким лицом раскольничьего попа, а не стрелецкого полковника, — эти оба тоже почти обернулись лицом к стене, у которой стояли. Только боязнь насмешки со стороны толпы удерживала Перхурова от слез, даже больше: от бурных воплей и рыданий. Он не сделал ничего, что не было обычным в среде равных ему начальников. Он знал, что и в других полках, во всём войске московском, даже у строгих иноземных генералов, принято пользоваться услугами солдат, принято не очень церемониться с казной.

Высшее начальство глядело сквозь пальцы на это и само принимало долю, какую считали нужным принести своим генералам полковники.

И вдруг им, шестнадцати случайным несчастливцам, приходится быть искупительной жертвой из-за общего застарелого греха.

Вон недалеко Посольский двор, где не раз, и по службе, и по дружбе с наезжими послами, бывал красивый, бойкий, неглупый Василий Перхуров. Жены и дочери послов нередко заглядывались на весёлого москвитя.

А теперь они же могут видеть со своего крыльца, как он, полковник, не раз шедший рядом с царём, охраняя особу государя, словно уличённый вор, со связанными ногами, на площади, у приказов ожидает своего

приговора и казни батогами наравне с последним смердом, стянувшим каравай с лотка.

Порою он готов был кинуться на окружающих стрельцов, вступить с ними в драку, чтобы тут же пасть под ударами, нанося удары.

Но одна мысль останавливала его:

"Все стерплю... перенесу все. А потом... потом — отомщу..."

Он ясно ещё и не знал: кому будет мстить? Порой казалось, что виною его позора и гибели были ненавистные стрельцы, ради которых верховные бояре привели на площадь и будут казнить батогами своего верного слугу.

Перхуров знал, что царю и правителям он служил верно. Земли не предавал. Но тут же являлась новая мысль.

"Если бы не струсили бояре, будь на троне настоящий царь, а не ребёнок, который может только глядеть из чужих рук?! О, тогда и пикнуть не смели бы собаки-стрельцы... Эти трусы в сущности, наглеющие, когда видят, что их боятся, убегающие без оглядки, чуть перед ними явится настоящий, серьёзный противник и враг".

И месть себялюбивым, глупым, жадным боярам казалась ему и справедливее и слаще, чем месть грубым, тёмным, вечно пьяным мужикам с пищалями и бердышами в руках, какими, в сущности, были стрельцы.

Мечта о мести заслоняет собой в душе Перхурова даже весь ужас того, что вот-вот сейчас разразится над ним здесь, на людной площади, в глазах всего народа...

Почти такие же думы одолевают Титова, и его лицо покрывается пятнами от тех же тяжёлых переживаний. Но утешается Титов иначе:

"Ково не казнили у нас на Руси? Бывало, и царским родичам не то батовов высыпали, а до смерти забивали, душили, топили, глаза выжигали... Не я первый, не я последний... Вон Христос куды святее нас, окаянных... Сын Божий, а боле терпел. И нам велел. Зачтётся это. Бог видит правду, хоша и не скоро скажет. Он заплатит гонителям, еретикам, никоновцам..."

Утешает себя так Титов. А всё-таки совсем в угол уткнулся лицом. Зазорно ему, властному, общему наставнику, чьё слово было законом не для одной сотни и тысячи людей, стоять здесь и ждать торговой унижительной казни...

Шарообразный, ожирелый, совсем омертвелый Грибоедов и сесть не может. Прислонился плечом к лестнице, опустил короткие, заплывшие жиром, волосатые руки на свой необъятный живот и стоит в оцепенении. Ему все равно сейчас, что скажут люди, что ждёт его. Вся жизнь сломлена, опрокинута, смята... Но и эта мысль тупо, сонно проползает в утомлённом мозгу.

И только что-то сосёт под ложечкой. Сейчас время, когда обычно этот обжора садился за трапезу. Голод, мучительный, сверлящий внутренности и вызывающий ломоту в костях, — вот что ощущает сейчас полковник. И отдал бы сотню червонцев за сочный кусок мяса, за хороший, жирный пирог или звено свежей рыбы.

Худенький, востроносый, юркий Глебов стоит, бегая вокруг своими сверлящими глазками. Не то он соображает: нельзя ли убежать? Не то думает: как бы и кого подкупить, чтобы отвертеться от кары, от грозящего неизбежного разорения? А может быть, раскидывает умом: за что приняться после, как повыгоднее пристроить деньги, припрятанные при появлении людей, посланных арестовать его? Чем после казни можно будет вернуть и потеряные богатства, и положение? Думает это Глебов и всё-таки, волей-неволей, кидает изредка взгляды на зловещие приготовления, которые делаются тут же, у Приказного крыльца.

Видит, как приносят связки тонких, гибких прутьев, батогов, как сходятся сторожа, заменяющие палачей... Как пробегают наверх из одних дверей в другие писцы и дьяки приказные...

Глядит на это и полковник Нелидов, угловатый, костлявый, рябой человек лет пятидесяти. Тупой и жестокий от природы, он не был жаден до денег. И только копил излишки для дочери, единственной своей наследницы, желая выдать её получше замуж.

Жесток он был со стрельцами по убеждению, видя в них лентяев и

мятежников. А свои вымогательства не считал преступлением или грехом. Так уж заведено было. И нежданно-негаданно его, усердного, верного служаку, безупречного начальника, отдали на позор, клеймят названием вора, лиходея.

Этого никак не могла уяснить себе исполнительная, но тёмная, ограниченная голова Нелидова. И, словно во сне, сидит он тут, глядит на все и ничего не видит или видит сон, который не имеет реального значения, который рассеется при первом движении спящего...

Почти то же думают и остальные преступники, те девять человек, которые стоят, растерянные, поруганные, понуря голову, на этом позорном месте суда и казни...

Сон, правда, скоро рассеялся, но не так, как бы хотели обвинённые.

Движение усилилось наверху, на крыльце приказа. С вышины лестницы послышался сипловатый голос:

— Тута ли все полковники, маеоры? Указ им государев объявить надо.

Сразу встрепенулись обвинённые. У них мелькнула надежда: не милость ли это приходит с неба.

Надежда могла явиться. За последние два дня — полковники знали — все их близкие и приятели, люди влиятельные, богатые, хлопотали, бегали, ездили, сулили богатые взятки; матери и жены плакали и валялись в ногах у дворцовых боярынь, у царевен...

Правда, везде был один ответ:

— Против воли, а придётся покарать всех... Мятежом грозят стрельцы. А смирать их нет сейчас средств и возможности...

Но всё-таки надежда теплилась ещё у всех в груди.

И, кроме Кромэ, за которого некому было хлопотать, все обвинённые живо сомкнулись и стали лицом к лестнице, с высоты которой тот же сиплый голос начал обычную перекличку:

— Семён Грибоедов.

Толстяк с трудом отдал поклон и отступил на шаг от товарищей, влево.

Один за другим были вызваны остальные пятнадцать человек.

Затем дьяк развернул длинный свиток-указ и стал однозвучно читать:

— Великой государь и великой князь Пётр Алексеевич, Великия и Малыя и Белья России самодержец, велел сказать тебе, Семёну Грибоедову:

"В нынешнем, 7190 (1682) году, апреля в 30-й день били челом великому государю на тебя пятидесятники и десятники и рядовые стрельцы того полкового приказа, у которого ты был. Будучи-де ты того приказа, им, стрельцам, налоги обиды и всякие утеснения чинил. И, приметывался [50] к ним для взятков своих и для работ, бил их жестоким боем. И для своих же взятков, по наговорам пятисотников и приставов, многих из стрельцов бил нещадно, взяв по два и по три батога в руки и по четыре. И на их, стрелецких землях, которые им отведены под дворы, и на вымороченных местах построил загородные огороды и всякие овощные семена для тех огородов своих велел стрельцам покупать за сборные, полковые деньги. А для строения и на работы, на те огороды жён и детей стрелецких же посылал. И в деревни свои прудов копати, плотин и мельниц делати, лес чистить, сено косить и дров сечь. К Москве все то на их, стрелецких подводах возить заставлял. Для тех же своих работ велел покупать им лошадей неволею, бил батогами. Кафтаны цветные с золотыми нашивками, шапки бархатные и сапоги жёлтые неволею же делать им велел. А из государского жалованья вычитал ты у них многие деньги и хлеб и теми сборными, полковыми, и остаточными деньгами и хлебом корыстовался. Да из караулов: стенных и прибылых [51] , из недельных, и в слободах, со съезжих караулов, отпускал стрельцов очередных в отпуск по тридцати, и по сороку, и по пятидесяти человек и больше отпускал.

А за то имал ты с человека по четыре и по пяти алтын и по две гривны, и больше. А с недельных — по десять алтын, и по четыре гривны, и по полтине. И теми деньгами корыстовался.

Да ты же, стоя в Кремле на стенных караулах, получал на них, на стрельцов государева жалованья как полагается: деньги и запасы с дворцов. И то имал себе, а им не давал. Велел припасы продавать и теми деньгами корыстовался ты сам.

И на дворовое своё строение лес и всякие запасы подать им велел на

сборные деньги, и тем чинил ты им тесноты и разоренье.

И на двор себе, сверх денщиков, гонял на караул многих стрельцов и тех заставлял всякую работу работать и навоз чистить.

А как ты с приказом бывал на государственной службе [52] — с тех, кто хотел на Москве оставатца, имал ты великие взятки с боем да многих из тех, кто на Москве оставался на свой двор гонял караулом и для работы. А будучи на государственной службе, в походах, в полках и в малороссийских городах, и в дорогах — чинил стрельцам всякие тягости, на их подводах свои запасы возил и добро всякое.

А блаженные памяти брата его, государева, великого государя, царя и великого князя Федора Алексеевича указом тебе с великим подтверждением о том обо всём было сказано: чтобы никаких взяток со стрельцов не имать и на Москве работать на себя не заставлять, в деревни свои и к друзьям и свойственникам ни для каких работ стрельцов не посылать.

А для того тебе на пополненье дана была великого государя жалованная деревня в поместье, чтоб у полкового приказу твоего быти тебе бескорыстно. А ты, забыв такую великого государя милость и жалованье, твоего приказа стрельцам обиды и тесноты и взятки чинил и налоги всякие и бил их напрасно.

И великий государь, царь и великий князь Пётр Алексеевич указал и бояре приговорили [53] : за ту твою вину к стрельцам, за такие налоги и обиды и за многие взятки тебя от приказа отставить и полковничий чин у тебя отнять, и деревни, что даны тебе, к Стрелецкому приказу отписать, а у приказу быть на твоё место иному полковнику.

А за то, что, будучи у того полкового приказа, у съезжей избы от пятидесятников имал сборные их стрелецкие деньги и вычеты делал из денежных сборов, и хлебных и иных, взятков ради, — то все на тебе доправить [54] и отдать челобитчикам против их росписей и челобитья.

А что ты имал в неволю мастеровых, работных, конных и пеших людей и в деревню к себе их, и к свойственникам, и к знакомцам своим для работы посылал, — за то все доправить на тебе деньги и отдать

челобитчикам.

Да за те же твои вины, что ты, будучи у приказа, чинил им, стрельцам, всякую тесноту и обиды ради своей корысти, великий государь указал: учинити тебе наказанье, бить тебя батоги".

Тихо стало после прочтения этих слов и на площадке, наверху, и внизу, где стояли стрельцы и осуждённые полковники.

Совсем помертвело лицо Грибоедова.

Исказились лица и у остальных его товарищей. Надежды, значит, нет...

А дьяк уже начал своим сиплым, безучастным голосом читать и второй такой же указ, и третий, и все шестнадцать прочёл.

С небольшими изменениями, они все слово в слово одинаковы, эти указы.

И лучше бы уж сразу, покороче сказали несчастным приговор. А это протяжное, медлительное чтение приносит лишние муки. Ожидание казни гораздо тяжелей, чем самая казнь.

Кончено чтение.

Начинают обнажать до пояса первым Грибоедова... Вот повалили побагровевшего, близкого к удару толстяка на землю.

Пухлая, жирная спина, похожая на пуховую подушку, обтянутую красным глянцевитым шёлком, ещё ярче краснеет под яркими лучами солнца.

Один из катов сел на голову полковнику, другой тяжело опустился на короткие, пухлые ноги. С двух сторон стали два прислужника-палача.

Свист издала гибкая лоза, опускаясь на спину... Багрово-тёмный рубец прорезал глянцевитую поверхность кожи. Вторая полоса легла на перекрест...

Визгливый, бабий вопль вырвался у Грибоедова.

— Помилосердуйте... Все уплачу сполна... Последнее отдам... Помилосердуйте... Застойте за меня, ребятушки... Ой-ой-ой... Не могу... помилосердуйте...

Визг становился все пронзительнее, перешёл в какие-то нечеловеческие, животные вопли.

— Полно, — отсчитав известное количество ударов, сказал было сверху дьяк.

Палачи остановили в воздухе занесённые над несчастным батоги.

— Сыпь!.. Мало собаке этой... Самый окаянный был у нас... Въедчивый, как клещ... Ишь как разнесло ево. Нашей кровью налился, ирод... Сыпь ещё, — властно приказали стрельцы, выборные грибоедовского полка.

Остальные поддержали товарищей:

— Жарь ево! Spина толстая. Вынесет... Катай, продажная твоя душа! Не то самово под батоги подведём...

Палачи не стали и ждать приказаний дьяка-начальника.

Снова засвистала лоза, которая после двух-трех ударов ломалась в руках. Быстро отбрасывали её служители и брали свежую. Ещё минут десять тянулась отвратительная, гнусная казнь.

— Полно, — крикнули наконец стрельцы.

Подняли Грибоедова, уже переставшего и вопить под конец.

Лицо у него было багрово-тёмное, как у задушенного все перекопилось. Он не мог издать ни звука, только раскрывал рот, и что-то хрипело, клокотало в горле, в груди.

Вода стояла наготове. Целым ведром обдали толстяка.

Он затрепыхался и понемногу пришёл в себя.

Вдруг, полуодетый, избитый, с лицом в грязи, в крови, — упал он на колени, повалился ниц перед стрельцами и заголосил:

— Отпустите, братцы. Отцы родные.. Все верну, что на мне ищите Вдвое прибавлю... Отпустите.. В обитель уйду... Душу только отпустите на покаянье... Христом заклинаю... Христом распятым, Пречистой Матерью Ево!..

Потолковали стрельцы между собою, и один объявил:

— Ладно, поглядим. Коли наутро внесёшь все, што ищем с тебя, — иди к чёрту на все четыре стороны.

Пока толстяк стал поспешно одеваться с помощью тех же палачей, другие подошли к угрюмому, мертвенно-бледному Кромэ. Полковник стоял неподвижно, стараясь не видеть отвратительного наказания

товарища своего. Палачи схватились за кафтан, чтобы раздеть Кромэ.

Но в тот же миг здоровяк сразу встряхнулся, быстрым ударом сбил с ног одного палача, оттолкнул другого и угрюмо озирался кругом, выглядывая, с какой стороны ждать нападения, чтобы дать такой же отпор.

— Свини погани, — прорычал он. — У нас нет можно бить офицер... Я — эдельман. Убить, вешить можна. Бить пальки неможна... Свини... свини... русьски свини... свини...

Так с пеной у рта, яростно выкрикивал без конца Кромэ.

Палачи, сперва оторопелые от неожиданности, разозлённые сопротивлением, разом, с нескольких сторон кинулись на басурмана.

— Ловко, немчин треклятый... наших бьёт, да ещё лается... Ах, аспид...

Это закричали стрельцы, которым и понравился поступок отважного человека, и в то же время было обидно, что бьют исполнителей их собственной воли.

Несколько дюжих стрельцов кинулись на помощь палачам.

Завязалась почти молчаливая, отчаянная борьба.

Как бульдог, оскалив зубы, рыча порою глухо и отрывисто, Кромэ руками и ногами отбивался от нападающих. Чтобы не могли его обойти, он прислонился спиной к выступу крыльца и раздавал удары, пинки, кусал тех, кто вплотную подходил и обхватывал его... Ловкий, опытный в боксе, полковник долго бы не сдался палачам, но один из них подполз сбоку и потянул его неожиданно за ноги. Сразу во весь большой свой рост рухнул Кромэ, сейчас полуподнялся, но уже на него навалилось несколько дюжих озверелых людей.

Началась новая схватка.

Вся одежда была почти оборвана на Кромэ и висела лохмотьями.

Лицо, шея — исцарапаны, избиты, покрыты струйками крови.

— Ломи... вали, вяжи ево, — хрипло, отрывисто кидали друг другу нападающие.

Рычание вырывалось из груди жертвы. Долго шла отвратительная свалка. И неожиданно все стихло.

Силач перестал сопротивляться, сразу повалился навзничь, потеряв сознание.

— Ишь, прикидывается, как барсук на охоте, — подымаясь и отряхаясь от пыли, решил пожилой стрелец, тоже порядком потерпевший в драке.

— Бери ево. Сыпь, сколько надо. Собака немецкая...

И он, пнув ногой полковника, разом перевернул его кверху спиной.

Над бесчувственным человеком засвистали гибкие батоги.

Стрельцы глядели, пьянея от жестокой расправы.

Народ, хотя и роптавший открыто против обнаглевших стрельцов, зачастую обижающих мирных москвичей, сейчас тоже с каким-то болезненным вниманием следил за мерзкой сценой, и все были словно недовольны в душе, когда около вечерни [55] дьяк заявил:

— Буде на сей день. Заутра — сызнава начнём разборку... Кончено сидение приказное. И по домам пора...

Унесли Кромэ, так и не пришедшего в себя до конца истязания...

Грибоедова и всех других увели под караул, который держали те же стрельцы.

Совершенно растерянные шли полковники, не понимая, как ещё могут они ходить.

То, что прошло у них перед глазами, окончательно ошеломило их, спутало все мысли, стёрло все желания и ощущения.

Одна мысль сверлила всем умы:

"Как избежать позорного, мучительного наказания?.."

На другой же день при помощи родных, которых допустили к полковникам, они собрали все деньги, какие могли достать. Заложили, продали свои деревни и дома те, кто имел их. И всё это было внесено в уплату начетов, указанных в челобитной.

Но стрельцы не расстались так легко со своими обидчиками.

Кто не мог уплатить всего сразу или кого особенно ненавидели, как Грибоедова, Нелидова, Глебова, Полтева, — таких ставили в батоги по два раза в день.

Не наказывали вовсе, по предложению стрельцов, тех полковников,

которые успели заслать в слободы родных и закупить главных вожаков стрелецких.

Пощадили и начальников более человечных, как Перхуров, Кравков, за которыми была к тому же боевая слава.

Но всё-таки дней шесть выбивали из остальных все недоборы, которые в самых широких размерах насчитали стрельцы за полковниками.

В то же время новые грозные вести стали доходить до слуха царя, бояр и Натальи, которая являлась как бы необъявленной правительницей при малолетнем сыне-царе...

Стрельцы, опьянённые первой большой удачей, совершенно потеряли голову. Мало им показалось, что с осуждённых полковников взыскали с каждого почти по две-три тысячи червонных в пользу стрельцов.

Пока на Ивановской площади истязали главных ненавистных полкам начальников, у съезжих изб шла своя расправа.

Там с раската, с вершины каланчей сбрасывали пятисотников, сотников и приставов, которых обвиняли в пособничестве лихоимцам-полковникам. И не давали убирать исковерканные трупы.

Потом пошли и дальше: царю была принесена жалоба на самого боярина Языкова. Его обвиняли в укрывательстве и потачке лихоимцам. И эту челобитную подкрепили самой наглой угрозой.

Прежде сотоварищи Языкова, Долгорукие и Милославские, которым стало очевидно, чью руку решил держать оружничий царский, были довольны этим требованием мятежников. Милославские, без сомнения, сами дали толчок новой просьбе.

Наталья, успевшая уже вызвать из опалы брата Ивана, посадила его на место Языкова.

Тут же было объявлено стрельцам, что царь исполнил их желание: убрал воеводу.

Но когда появился указ о возведении в бояре Ивана Кирилловича Нарышкина, сразу награждённого званием оружничего и поставленного наряду с Долгорукими во главе Стрелецкого приказа, — недовольство вспыхнуло среди всех бояр, не только Милославских.

— Ого, быстро шагает молокосос Ивашка, — злобно хихикая, заговорил Милославский, лёжа у себя и охая от воображаемых болей в ногах. — Надо скорей укоротить побезку молодецкую. Гляди, поспеют всюду рассовать своих Нарышкины, возьмут засилье. Тогда и не выкурить их.

И послал старик Александра Севастьяновича созывать на беседу главнейших руководителей давно налаженного переворота.

Понеслись гонцы и к Софье. Милославские долго шептались с царевной, призвав на совет юркую Родимицу.

Вечером постельница оставила дворец, но вышла не пешком, а выехала в колымаге, объявив, что собирается на денёк-другой в Новодевичий, погостить у знакомой инокини да помолиться.

Несколько простых, небольших, но очень тяжёлых сундучков и укладок было поставлено под сиденье и в ноги Федоре Ивановне.

— И грузны же укладки, — заметил истопник, выносивший их.

— Как не быть тяжёлыми? Серебром набиты, рублевиками, — не то в шутку, не то серьёзно ответила Родимица.

— Ладно. Толкуй по пятницам. Середа ныне... Помрёшь — эстольких рублевиков не зацепишь. И в казне царской не набрать их эстолько.

— Вестимо, не набрать, родимец ты мой, шучу я. Полотна везу. Чай, знаешь — полотна куды серебра тяжеле, коли они добротные. А мне царевна приказывала — матушке игуменье дар отвезти при случае... Вот и тяжело...

С каким-то ликующим смехом уселась в колымагу женщина и уехала.

Но не попала в Новодевичий Родимица, а очутилась у Озерова, где и оставила свою кладь. А сама пошла по избам, к стрельцам и стрельчихам, с которыми давно вела тайные переговоры.

Озеров до полуночи сидел у Милославского. Там ему и всем другим главарям стрелецких мятежников роздали клочки бумаги: списки тридцати человек, обречённых на смерть, если только удастся поднять полки и повести их уже не против своих обидчиков-полковников, а прямо в Кремль, на пагубу рода Нарышкиных, для возвеличения имени Милославских. Во главе списка стояло имя Артемона Сергеевича

Матвеева.

— Дело нелёгкое, — в один голос толковали вожаки из стрельцов. — Ишь, по душе пришёлся нашим царь юный, Петра Алексеич. Ровно обвёл всех. Петру, хошь ты режь их, никто худа не сделает.

— Да и не рушьте ево, — досадливо поводя плечом, откликнулся поспешно Милославский. — Бог с им. Ивана царём просите. А там — все образуется само помаленьку. Вторым царём Ивана бы...

— Так можно... Хоша и много есть такова дубья, што не уломаешь. "Есть-де царь один, — толкуют. — Патриархом постановлен. Народом назван... Чево ещё царей?" Слышь, Стремянной весь полк, с им весь полтевский, да ещё Жукова стрельцы. А про сухаревских и толковать неча. Все за Петра. Вот как тут быть, не скажешь ли?

— Как быть? А так и быть, што толковать надо: родичи царя ихнего желанного, малеванного собираютца-де за все помстить стрельцам, чево те добились ныне. "Отольютца-де волку овечьи слёзки". Так толкуют Нарышкины. Окружить все слободы хотят. Ково — перерезать, ково — сослать. Не один Языков так царю порадил. И Нарышкины. Особливо Ивашка, боярин новоставленный... Вот и оповести своих. Што на это скажут? Да ещё — новый-де царь, Иван — вперёд лет за десять оклады дать стрельцам велит. Вот.

— Это... да... это — не шутка... Это... гляди, и вкрутую каша заваритца, коли уверуют.

— Уж это ваша забота, штоб мужики веру дали... Орудуйте. А вот вам и помогатые.

И тяжёлые кошели из рук скаредного боярина перешли в руки стрелецких полуголов.

Гримаса, как от мучительной зубной боли, исказила лицо дающего. И улыбкой радости озарились лица принявших дар.

— Твои слуги, боярин. Да коли Бог даст доброму делу быть — не забудь в те поры своих верных рабов. Места-то полковничьи — за нами штобы...

— Не то полковниками — и выше станете... Дал бы Бог час да удачу. Только, слышь: торопить дела нечево. Покуль не приедет Артемошка — и

ни-ни. Ево нам надо первой всего. Он жить будет — и нам несдобровать.

Разошлись по своим слободам, разъехались смутьяны: Озеров с товарищами. И всю ночь вместе с Родимицей сеяли слухи, толки да деньги и в избах, и на ночных сходках стрелецких.

Трудно было разобрать, что больше поджигает толпу, что даёт отвагу, будит злобу: вести ли тревожные, деньги ли, раздаваемые щедрой рукой, или чарки и полные стаканы пенного вина, зачерпнутого из бочек, выставленных для бесплатного, широкого угощения стрельцов и стрельчих.

— Изведём Нарышкиных... Всех ворогов царевича Ивана изведём! — не стесняясь, орали здесь и там пьяные, хриплые голоса. — Ведите нас... Бери, хватай оружие... Бей сбор...

— Тише вы, оголтелые, — стали уже сдерживать коноводы слишком ретивых пособников своих. — Али не слышали: приезду Матвеева надоть ждать. Хоша всех изведёшь лиходеев, а он уцелеет, — нам добра не видать. Один всех стоит... Без ево — што без головы змия вся порода нарышкинская... Вот и пождем. Голову прочь — и змий подохнет... Помните это, братцы...

— Ладно. Повременить можно. Над нами не каплет. Путай злодеи готовятца...

Открыто повели речи об этом в кружалах слободских, в торговых банях, везде, где только бывало собрание стрельцов. Конечно, Нарышкины скоро узнали про все. Узнал и сам Матвеев.

На другой же день смерти Федора, по воцарении Петра, поскакал к опальному в город Лух стольник Натальи, Семён Ерофеич Алмазов с поклоном от всей царской семьи и просьбой поскорей ехать в Москву.

Только один Матвеев мог объединить те силы, на которые опирались и новый царь, и вся родня его.

— Не даст себя Артемон Сергеич стрельцам в обиду, — решили братья Нарышкины, выслушав опасения Натальи по поводу заговора стрельцов, покушавшихся на его жизнь. — Он ли стрельцов боитца? Он ли их не знает? Вся крамола сгинет, только боярин ногою ступит в Москву.

Поверила им Наталья.

Алмазов не был хорошо осведомлён обо всём, что делается в стрелецких слободах.

Но не добрался ещё Матвеев со своим обширным поездом до Москвы, как на одной из ночёвок застал боярин семерых стрельцов, выехавших по торговым делам из Москвы, как они всем объявляли.

Матвеев, постарелый, больной, измученный годами тяжёлого изгнания, лишениями и нуждой, которую приходилось выносить, рано ушёл на покой в горенку, отведённую ему хозяином постоялой избы.

Улуча минутку, один из семерых ратников-купцов осторожно вызвал за хату Алмазова и тут, в тени, озираясь, не следит ли кто за ними, стал шептать:

— Слышь, боярин... Не погневайся, имени-отечества твоего не ведаю, чину не знаю. Дело великое сказать надо. Самому бы Артемону Сергеичу... Да как к нему подойдёшь, чтоб люди не видали... Гляди, и среди челяди боярской шпыни есть, от ваших недругов поставленные. Мне своя голова тоже дорога. А дело важное...

— Што за тайность? Сказывай. Я боярину передам. Одно мне дивно: какая тебе забота о боярине? Што он тебе?

— Што?.. Не признал он меня... А я с им не раз и в походы хаживал, и в бой выступал. Доселе люб он мне... И Бога я боюсь... Неохота душу лукавому в кабалу отдать, как и тем шестерым товарищам. А дело учиняется адово.

— Говори ж, коли так, да живее. Сметят нас...

— Сметят, сметят... Я живо... На Москве вороги ваши да Нарышкиных мятеж поднимают, стрельцов мутят. Списки пошли по рукам. Гляди: один и у меня есть... Вот... ково извести надо, как резня пойдёт. Их сперва было имён тридцать прислано. А стрельцы на сходах ещё с полсотни прибавили. И бояриново имя в первое место постановлено... Чтобы в том злом деле не быть — мы все семеро прочь от Москвы едем подале.

Сразу изменился Алмазов.

Взял список, свернул и поспешно спрятал за обшлаг рукава.

— Ну, спаси тебя Бог, коли ты от сердца... Иди в избу. Я боярину скажу. Може, тебя покличет. А уж награды жди изрядной... Ступай.

И Алмазов кинулся к Матвееву.

Грустно улыбнулся старик, пробежав список, и сейчас же перевёл взгляд на сына, бледного, но красивого юношу семнадцати лет, спавшего тут же на другой скамье крепким сном молодости.

— Што же, боярин? Ужли-таки назад не повернёшь? — спросил негромко Алмазов, не замечая, чтобы весть о гибели встревожила старика.

— Видать, што молод ты ещё, Ерофеич, и меня не знаешь. Помирать-то мне уж давно пора. Неохота было там гнить, в тайге, в бору медвежьем, ни себе, ни людям добра не сделавши... А про бунт той я давно сведал. И все затеи Милославских не зная — знал. Старые мы приятели... Привёл бы Бог до Москвы доехать. Уж там — Божья воля. Либо я тот бунт, все составы их злодейские порушу, либо там и голову сложу за Петрушеньку, за государя мово... Оно и лучше, коли старые очи мои скорее сырая земля покроет. Не увижу горя семьи царской, не увижу земли родной поругание и печаль...

Наутро дальше тронулся Матвеев, торопя всех больше прежнего.

Только у Троицы Сергия сделал привал на короткое время, чтобы поклониться мощам святителя.

Здесь явился к нему второй посол от царя, думный дворянин Юрий Петрович Лопухин, и прочёл указ, которым опальному возвращались все его чины, боярство, все отобранные именья и пожитки.

Ещё ближе к Москве, в селе Братовщине бил челом старцу от имени Натальи брат её, Афанасий, юноша лет девятнадцати, необыкновенно гордый и довольный тем, что был так рано возведён царём-племянником в чин комнатного стольника.

Бедняк не чуял, что это возвышение было для него смертным приговором.

Одиннадцатого мая довольно торжественно въехал Матвеев в столицу. Встреченный Нарышкиными, проехал в свой дом, заранее наскоро устроенный и приведённый по возможности в жилой вид.

Невольно слезы выступили на глазах у отца и сына, когда оба они, безмолвные, печальные, обошли давно знакомые, теперь опустелые, запущенные покои, оглядели стены, на которых грубые людские руки и беспощадная рука времени оставили следы разрушения.

Здесь, по этим комнатам, так уютно обставленным, с тикающими и звонко бьющими порою курантами по углам, ходила когда-то кроткая, весёлая женщина, которую оба так горячо и нежно любили: жена Артемона, мать Андрея...

Она давно лежит в родовой усыпальнице.

И почему-то обоим сразу пришло на ум: скоро ли им придётся лечь рядом с нею, незабытой, дорогой и донине?

Каждый прочёл мысли другого — и оба торопливо заговорили о чём-то постороннем, чтобы отвлечься от печальных предчувствий и ожиданий.

На другое утро пришлось принять много незваных гостей, и бояр, и стрельецких пятисотенных и пятидесятников, навестивших с хлебом-солью Матвеева, как своего бывшего начальника и покровителя. Потом отец и сын поехали во дворец.

Пётр с почётом, как деда, как старшего в роду, принял Матвеева.

После парадного приёма семья царская удалилась на половину Натальи — и там не было конца расспросам, рассказам, ласкам и слезам.

Когда же Андрей помянул про стрельецких полуголов и пятисотенных, утром навестивших отца, и назвал имена Озерова, Цыклера, Гладкого, Черного, помянул братьев Толстых, Василия Голицына и Волынского с Троекуровым да Ивана Хованского, — Нарышкины переглянулись с негодованием.

— Вот уж воистину: "Целованием Иудиным предаст мя..." Первыми заявили Шарпенки-братья оба... И Тараруй-Хованский... А Подорванный ужли не был?

— Иван Михалыч Милославский? Не порадовал. Присыла от себя не удостоил. Был родич, Александра. "Дядя, мол, без ног лежит... Котору неделю... А челом-де бьёт заглазно..." Я и мыслю: не мне ли ноги подшибить собирается?..

— Давно собирается, — живо отозвался порывистый Иван Кириллыч. — Эх, жаль, ево не пришлось мне за бороду потаскать, как трепал я анамчась [56] тово же племянника, Сашку-плюгавца. Недаром не любят они меня.

— Буде спесивиться, — остановила брата Наталья. — Слышь, родимый, горя много. Для тово и торопили мы тебя-скорей бы к нам поспешал... Сократить бы надо лукавого боярина и со присными ево.

— Сократим, сократим, хоть и не сразу...

И Матвеев стал совещаться со всей семьёй, что делать? Какие меры принять для подавления бунта, готового вспыхнуть каждую минуту?

— За царя бояться нечего, — в один голос объявил семейный совет — Царь наш миленькой, Петруша-светик, даже тем извергам по душе пришёлся. Одно только хорошее и слышно про Петрушу. Вот роду нашему прочему — конец, коли им уверовать — всех изведут...

— Вот оно как дело, Армон Матвеич. Чай, и к тебе уж попали списки окаянные. Нас — под топоры всех. Матушку с батюшкой по кельям, под клубук да под кукуль [57] ... Сестру Наталью — туды же... Ванюшку-братца — царём, не одним, так с Петрушей разом. А Софьюшку — шkodливую да трусливую кошку злобную, — ту на место охраны обоим государям дать. Таковы их помыслы. Денег кучу роздали. Посулов — и больше сулят... Вина — море разлитое... А толки такие лихие идут и про нас, и про все боярство, что не веря — душа не стерпит слушать их. Стрельцы как ошалелые стали... И бутырские с ими... Вот и порадь [58] теперя: как быть? — задал вопрос Иван Нарышкин.

— Как есть — так пусть и будет. Не трогать их луче пока. Орут они там, а сюды не сразу кинутся... Мы же им и от себя вести дадим. Даров пока пошлём, милостей, льгот ли каких посулим. А тем часом — иноземное войско да пищали изготовим, по городам весть дадим, спешили б дворяне и ратные люди всякие сюда, от обнаглелых дармоедов, от стрельцов стать на защиту всему вашему роду-племени царскому. Да изготovitца поскорее, к Троице уехать хоша бы. Там поспокойне, ничем здеся, для всех для вас...

Общее одобрение вызвали слова Матвеева. Камень свалился с души. Что-то светлое зареяло в том безысходном мраке, которым были словно окутаны уж несколько дней Нарышкины в своём высоком дворце.

Пётр, молча, внимательно слушавший все разговоры из уголка, куда он засел вместе с девятилетней черноглазой, хорошенькой сестрой Натальей, держа за руку малютку, быстро подошёл к старику.

— Слышь, дедушка. Я и раней не боялся... А как тебя послушал — и совсем покойно стало мне... Уж нет, с тобой ничево не поделяют мятежники. Велю я наутро плахи готовить... И колодки для них мастерить... Узнают теперя, крамольники...

И снова что-то придающее мальчику сходство с сестрою Софьей проглянуло на миловидном личике отрока.

Улыбнулся Матвеев и другие за ним.

— Не томашись. Всево на них хватит... Дал бы Бог изымать медведя, а шкуру содрать сумеем. А то, слышь, гишпанцы [59] и так толкуют: не побивши зверя, не дели шкуры. Помни это, внучек-государь, светик ты мой, Петрушенька...

И нежно, любовно притянул он к себе на колени отрока, стал гладить по шелковистым тёмным кудрям, целовал полные, румяные щеки, и ясные глаза, и пунцовые губы.

— Совсем вылитая Наташенька... Капля в каплю... И огонёк таков же. Где што, а он уж — вяжи их... И загорелся. Ничево. Обладится. Хороший, истовый будет государь, земли держатель и охрана... Подай Господь, как чается мне...

— Аминь, — общим окликом, словно эхо далёкое, отозвались все на слова деда, такие таинственные, пророчески звучащие в этом тихом покое в этот важный, решительный миг.

Потолковали ещё немного и разошлись.

А когда покой опустел и в соседних горницах стало тихо, раскрылся футляр больших стоячих часов, оттуда быстро выюркнула фигурка уродца, карла царицы Натальи, Хомяка, и ужом выскользнула из комнаты.

Через какой-нибудь час тот же Хомяк вышел из дворца и, пропутавшись, точно заяц на угонках, по разным кривым улочкам и переулкам Москвы, так же незаметно, по-змеиному, прибрался на двор и в хоромы Ивана Милославского, потолковал с ним довольно долго. А потом с Александром в закрытом возке выехал из ворот, прямо к Замоскворечью, в кипень мятежа, в гульливые, бесшабашные стрелецкие слободы.

Злобные, мстительные крики, проклятия и брань слышались всюду на сходах, как только сообщали стрельцам, что Нарышкины послали за помощью по городам, и даже в Черкассы, к гетману Самойловичу [60] .

Многие с места готовы были схватить оружие, бежать в Кремль, на расправу с правителями и роднёй Петра.

Пришлось сдержать этот поток, готовый ринуться вперёд раньше времени.

Заговорили некоторые из стрельцов постарше, поблагоразумнее:

— Ну, можно ль всему, што скажут, веру давать? Сколько годов мы жили, никто из царей и бояр не трогал наши слободы. Одни милости видели мы с Верху. А и то подумайте, братцы: какая власть у бояр на нас, коли царь не пожелает. А царя мы видели. Говорил он с нами. Што обещал — так и сделано. Ужли царю юному, кроткому не поверите?.. Без его воли и Нарышкины засилья не возьмут.

— Не возьмут? — вдруг пискливым, птичьим своим голоском снова затараторил карлик, ненавидевший особенно Ивана Нарышкина за постоянные насмешки и обиды. — А вот слушайте, ратнички Божии, народ православный, што надясь [61] учинил антихрист ходячий, Ивашка Нарышкин, ворог ваш главный. Только поспел из опалы воротиться, оболосся во весь убор царский, державу и посох и корону взял. На троне прародительском расселся да и кочевряжитца: "Ни к кому-де так корона не пристала, как мне одному..." И кудри свои неподобные, длинные поглаживает. А тут вошла царица Марфа с царевной-государыней Софьей Алексеевной. И почали они корить нечестивца: "Как-де смеешь бармы царские, ризы помазанника и венец государев на свои грешные плечи возлагать? Да ещё при царевиче

старшем, при свет Иване Алексеиче". А Ивашка Нарышкин как вскочит, как заорёт: "Всех вас изведу, а ево — первого..." Как зверь дикий, кинулся, за грудки царевича взял — и давай душить. Известно, пьяный озорник... Ему што! Уж через силу и отняли царевича у разбойника. Вот он каков. Вас ли пожалеет?..

Слушают пискливую речь стрельцы и не знают, верить или нет?

Крестится, клянётся со слезами карлик. Что за нужда ему врать? И с новой силой крики и проклятия Нарышкиным прозвучали в теплом весеннем воздухе.

Только к вечеру вернулся предатель-уродец домой и снова, как мышь, как ящерица, заскользил по тёмным углам дворцовых покоев, ловя толки и речи, приказы и распоряжения дворцовые...

Ураганом понеслись события, начиная с субботы тринадцатого мая.

Сходки в слободах происходили и днём и ночью. Сменялись попеременно боевая тревога, набат колокольный и барабанный треск.

Каждую минуту можно было ждать, что мятежники, рассчитывая на слабую охрану Кремля, двинутся в город. Но они не приходили. И во дворце уж привыкли к слухам и толкам о том, что "стрельцы выступают из своих гнёзд с оружием и пушками".

Сначала у всех ворот кремлёвских были поставлены усиленные караулы с приказанием: при первой тревоге запирают тяжёлые ворота, опускают крепкие железные решётки. Несколько раз так и делалось; но тревога оказывалась ложной — и снова скрипели ржавые блоки и цепи, завывали на штырях крепостные стопудовые створы ворот, распахиваясь настезь по-старому.

Особенно насторожились в Кремле в воскресенье, четырнадцатого мая. Обычно в воскресный день являлись уж которой раз незваные, буйные гости в пределах Кремля, у решёток и лестниц дворцовых.

Все иноземцы-ратники, какие сейчас нашлись налицо, были стянуты в Кремль. У Красного крыльца стояли полевые орудия. Фитили дымились у пушкарей. Но какое-то зловещее затишье сошло в этот день на Кремль.

Ни одного стрельца не показалось ни с какой стороны.

Одних во дворце успокоило это затишье.

Другие толковали:

— Ой, быть худу. Кот так же пригибается, дыханье таит, а потом и прядает на свой кус... Гляди, и они, окаянные, притихли перед наскоком наглым.

Матвеев также склонялся к последнему мнению, но ничего не говорил.

— Мы готовы. Што можно — сделано. А там — воля Божия.

Ночью, как и днём, особенно напряжённой жизнью жила охрана Кремля.

Но и ночь тихо истаяла.

Только к рассвету пришли вести из разных слобод:

— Изловили каких-то гонцов стрельцы. Будто за подмогой послали Нарышкины по городам: стрельцов бы извести вконец... Вот и пытали их до свету...

Думные бояре, съехавшиеся уже во дворец на большой совет, послали проверить слухи.

Вести оказались верные.

По указанию Хомяка стрельцы успели перехватить двух — трех из верных людей, посланных по городам с царскими грамотами.

Это явилось последней каплей, переполнившей сосуд.

Только что разошлись на короткий отдых отряды, сторожившие целые сутки у городских ворот, охраняя дворец и Кремль, как от стрельецких слобод двинулись передовые отряды мятежников, вооружённые одними копьями. Стрельцы толковали:

— Пищали неспособны в тесном бою. И тово убьёшь ково не хочешь. Бердышами драться — тоже места нету в покоях да в переходах узеньких... А копьё лучше всего. Надёжная рогатина. И на медведя годится, не то на боярина...

Мятежники валили потоком, толпа за толпой, со всех концов, со всех посадов, где были раскинута гнёзда стрельецкие.

Не по своему почину двинулись в путь стрельцы.

В девятом часу утра, в понедельник, пятнадцатого мая, к сборным избам мятежных полков прискакало несколько всадников на взмыленных

кровных жеребцах.

Это были Александр Милославский, братья Толстые, Василий Голицын, ещё и другие с ними.

Каждый из вестников гибели направился к заранее намеченной съезжей избе, где стрельцы, согласно уговору, стояли уже под ружьём, в походном строю, с барабанами, знамёнами, с полковыми орудиями наготове.

И везде громко объявляли всадники одну ложь:

— Нарышкины царевича Ивана задушили. На царевен посягают, на старших, из роду Милославских. Спешите, ратные люди, как вы крест целовали, — выручайте род царский, племя царя Алексея... Нарышкин и Петра заточить хочет, сам на трон умыслил воссесть...

Гул набата слился с треском барабанов, призывающих выступить в поход.

Опытные в боевом деле люди, Василий Голицын и Пётр Толстой, сейчас же заметили, что слишком тяжело вооружены стрельцы.

— Стой, ребята. Не с кем, почитай, и дратца во Кремле. Вести есть, што караулы там сняты крепкие. Оставьте пищали, бердыши. Кидайте мушкеты. И копья на них, собак, на Нарышкиных, с Артемошкой-чародеем, и тово хватит... Ни одна душа за их и не заступитца...

Послушали стрельцы. А чтобы совсем удобно было идти в рукопашный бой, обломили об колено длинные древка у своих старых, испытанных копий.

Вот почему с короткими рогатинами прихлынули и первые, и прочие отряды стрельцов к заветному месту, к дворцовым стенам в Кремле, к его крепким мостам и воротам.

Боярин Матвеев, ночевавший во дворце, около десяти часов утра собрался ехать домой. Только что окончился обычный боярский совет, начавший обсуждение дел, как всегда, ещё на рассвете. И остальные бояре домой собрались. К так называемому Спешному дворцовому крыльцу уже подали карету Матвеева и других думных бояр и царевичей.

От этого крыльца отъезжали обычно, кого спешно отсылали за чем-

нибудь из царских хором, и сюда же подъезжали все гонцы, чтобы не спешиваться на самой площади Ивановской, как того требовал дворцовый обычай.

Старик Матвеев неторопливо спускался по лестнице, опираясь на руку сына, когда за ним раздался тревожный оклик:

— Пожди маленько, боярин Артемон Сергеич.

Отец и сын остановились и невольно оглянулись назад.

Их звал князь Федор Семеныч Урусов, видимо, чем-то сильно напуганный и угнетённый.

— Што приключилось, боярин? — спросил Матвеев.

— Идут... идут... все полки, до единого... Изо всех слобод выступили. Земляной город миновали. В Белом городе показались... А отряды передовые уж и тут, у ворот кремлёвских... Слышь, боярин... Што буде теперь?..

— Э, как не приелось, князенька, труса праздновать. Который раз уж приходят крамольные... А все их не видать. И ныне, видно, так...

— Ну нет уж... Глянь сам... Видно сверху-то... Сам погляди...

Не говоря ни слова, повернул назад Матвеев и стал взбираться на лестницу быстрее, чем этого можно было ожидать от старика, хотя бы и с помощью юноши-сына.

Пока они втроём дошли до хором Натальи, несколько человек подтвердили справедливость сообщения Урусова.

У Натальи собрались многие из бояр, бывших на совете.

— Ворота припереть надо скорее кремлёвские. Беда, что не солдаты, не иноземные роты ныне на карауле, а стрельцы те же, полку Стремянного. Гляди, предадут нас ради товарищей. Да на все воля Божья. Зовите полуполковника сюды, который с караулом, — приказал Матвеев.

— Да отца бы патриарха просить надо... Все с им покойней, с молитвенником Господа Иисуса Христа нашево... Слышь, государь, Артемон Матвеич, — предложила Наталья.

— Как не позвать, покличем. Оно и для народа — препона. Не посмеют озорничать без оглядки, коли сам патриарх тут будет... Святейшего

зовите скорее.

Появился Григорий Горюшкин, полуполковник Стремянного полка, отдал всем поклон, стал у дверей, ждёт приказания.

— Поближе подойди, Григорьюшко, — ласково позвала Наталья. — Вот слушай, што бояре тебе станут сказывать, выручай государей своих. На тебя вся надежа. А мы тебя век не забудем.

Снова поклонился и подошёл поближе Горюшкин. Смотрят на него все, особенно царь Пётр. Хочется узнать отроку: что думает стрелецкий голова? За кого он станет? Чью сторону будет держать: товарищей с Милославскими или их, царя с Нарышкиными?

Но у Горюшкина лицо какое-то деревянное, непроницаемое. Не видно ни злобы на нём, ни сочувствия к тем, кто просит о защите. Только затаённое любопытство. Словно он любит на очень редкое, занимательное зрелище и ждёт: какой исход будет из всего, что сейчас происходит пред его глазами?

— Первей всево — ворота загородить, запереть надо. Решётки спустить, рогатки поставить. За воротами, на мостах малость людей оставить, а больше — на стены. И ни единой души ни в город, ни из городу не пропускать. Да ещё...

Горюшкин сделал движение, словно желая заговорить.

— Што, Гришенька? Али сказать што собираешься?

— Доложить думал. Сам вот с докладом шёл, когда позвали меня перед ваши, государей, царские величества. Прибежали от ворот кремлёвских, от караулов стрельцы мои. Толкуют: ко многим-де воротам приступили шайки невеликие стрельцов и бутырцев. Зла пока не чинят никакова. А, гляди, станем ворота закрывать — тут и помешают. Так как нам быть? В бой идти с ими до смерти али как иначе?

В тяжёлом раздумье опустили боярские головы. Теребят выхоленными руками свои седые и тёмные бороды, усы потрогивают.

За всем наблюдает, подмечает всякое движение, ловит каждое слово царь-ребёнок. Ждёт: что скажут бояре?

Потолковал негромко с ними Матвеев и снова обратился к Горюшкину:

— Тяжкое дело — кровь проливать. Особливо ежели первому быть. Не надо крови. Смуты кровью не зальёшь, сильнее разгоритца, гляди. Вас, поди, больше у ворот, чем их, покуда. Скорее и делай дело... Станут мешать — потеснить малость вели. У них тоже рука на своих не подыметя, драка — не кровавый бой. И дело своё сделаете, и масла в огонь не плеснёте. Беги скорее, не поздно бы стало.

Вышел Горюшкин, послал ко всем воротам приказ, как ему Матвеев сказал.

Но посылать стрельцов же пришлось. Иные честно исполнили приказание.

А многие тогда только добрались до отрядов у ворот, когда и здесь стояли целые отряды бунтующих, и у самого Красного крыльца уже плескались волны мятежа.

Вся площадь между Успенским и Благовещенским соборами кипела котлом.

Отряды Стремянного полка, поставленные для охраны у входов во дворец, стояли безучастно, как будто ждали минуты, когда можно будет присоединиться к бунтовщикам. А перед ними, лицом к лицу, все нарастая, сплошными рядами теснились стрельцы и солдаты, возбуждённые, иные без кафтанов, в одних рубахах, и, поджидая отсталых товарищей перекликались друг с другом, слушали, что говорили разных местах подстрекатели — попы раскольничьи и посланцы Милославских, шнырявшие везде и всюду.

Крики, угрозы, брань сливались в нестройный, но зловещий шум. На Ивановской площади, где стояли кареты бояр, окружённые челядью и вершниками, особенно громко гикали и кричали стрельцы. Разогнав холопей, они в щепы ломали экипажи, калечили лошадей, ломали им ноги и орали:

— Не убежать боярам от наших рук! Все попались.

Не медля нимало, заняли мятежники караулы у всех кремлёвских ворот, у городских рогаток.

Бояре не показывались, хотя толпа и кричала не раз:

— Бояр к нам сюды... Нарышкиных нам, Матвеева Артемона... Ответ держать должны. Бояр подавайте!

Во дворце ждали патриарха, одно присутствие которого должно было сдержать немного эту буйную, пьяную толпу.

Пока патриарх облачался и собирался выйти из своих покоев, вся царская семья, окружённая кучкой бояр, сбилась в страхе в одном покое, в окна которого так и ударяли неистовые крики стрельцов.

Особенно часто долетало два имени:

— Ивашку долгогривого с братьями сюды подавайте... Артемошку чернокнижника... К нам их сюды.

При этих криках Иван Нарышкин безотчётно подбирал, словно спрятать хотел свои волнистые, длинные волосы, которыми гордился как лучшим украшением.

Он, как и братья его, по примеру западных принцев, в отличие от бояр, довольно коротко носивших волосы, не стриг кудрей, и многие дети боярские переняли эту моду у Нарышкиных.

— Слышь, Кирюша, и ты, Левушка, подите сюда... И всех зовите. Андрюша, и ты с нами, — каким-то необычным для него, мягким, заботливым голосом позвал Андрея Матвеева и всех родных и двоюродных братьев Иван Нарышкин.

Привычной надменности и задора теперь не осталось ни капли у этого гордеца.

Отойдя подальше от других, он стал шептать братьям и Матвееву:

— Слышали: все про волоса про наши кричат. Ворвутся если звери эти — так сейчас и признают нас. Не срезать ли кудри поскорее?

— Э, пустое, — отмахнулся от брата Афанасий и вернулся к матери и отцу, которые молились в углу перед иконами, обливаясь слезами.

Набожный юноша опустился с ними рядом на колени и стал также творить молитву.

Пришёл наконец патриарх Иоаким с несколькими митрополитами и духовенством кремлёвским.

Чудотворный крест, литый из золота, с частицей древа Господня,

блестел у него в руке.

Потолковав немного, кому выйти к народу, старец двинулся из покоя, а за ним князь Михаил Юрьевич Долгорукий, как начальник Стрелецкого приказа.

— И я пойду туды... Меня зовут, спрошу, чево им? — твёрдо объявил Матвеев.

— Помилуй, не ходи, — обнимая старика, торопливо заговорила Наталья.  
— Слышь, тебя ищут изверги. На тебя натравили псов этих несытых. Тебя не станет, кто нам защитой будет?

— Господь! Пусти, Наташа. Може, наша трусость нам только и страшна. Нет на моей душе греха. Знают стрельцы Артемона Матвеева. Чист я перед ими. А коли оболгали и меня, и род ваш нарышкинский, так я открою им глаза.

— Нешто сговоришься с извергами? Пьяные, безумные, поди... И слушать не станут.

— А коли правда твоя — и сюда их дождёмся. И в покоях отыщут. Не пристало мне от смерти хоронитца за женской душегреей... Пусти, Наташа... Андрюшу моего побереги, гляди, коли...

Он не досказал и вышел за патриархом и Долгоруким. В этот самый миг новая волна гула покрыла прежние крики и ропот, долетавший до напуганной царской семьи. Зловещий набат, тревожный, пугающий, заставляющий сильнее биться самые смелые сердца, сгоняющий краску с самых розовых щёк, заметался короткими, частыми звуками в высоте над Кремлём, здесь, над кровлями царских покоев, над древними стенами и башнями твердыни московских царей. Этот наглый, вызывающий набат, до сих пор гудевший только в слободах, в гнёздах мятежа, властно звучит сейчас со всех кремлёвских колоколен.

Напуганная уж и без того, Москва сразу дрогнула: во всех углах и жилищах в страхе переглянулись люди, услышав этот растущий, все более зловещий и пугающий набатный звон кремлёвских колоколов...

А семье Нарышкиных и Петру, даже слабоумному Ивану-царевичу, показалось, что каждый удар набата не только врывается в окна покоя,

где сидят они, затихшие, оцепенелые... Нет, они точно видели, как выбивают эти звуки из стены кирпич за кирпичом, мнут, ломают все, что встречается им на пути... Рвут тело и душу на мелкие части... Необъяснимый, панический страх охватил и мальчика-царя.

Но в то же время он не перестаёт наблюдать и за окружающими, и за самим собой. словно два существа сидят в его груди: одно — страдающее наравне со всеми, другое — всему безучастное, не знающее страха и радости, только зорко наблюдающее мысли и дела людей.

Вдруг так же неожиданно, как возник, умолк этот колокольный вопль, вихрь медных звуков и стонов, судорожные вздохи и угрозы, мятежные оклики, вылетающие из груди незримого, но рядом, совсем близко стоящего гиганта.

Яркое солнце, как одинокий глаз, заглядывающее в окно, казалось оком этого загадочного чудовища, которое наклонилось над дворцом, выглядывая, кого бы избрать первой жертвой?

Не один набат замолк в Кремле: как-то разом стихли все голоса и клики, потрясавшие раньше воздух.

"Должно быть, кир-патриарх с мятежными говорит", — подумали все в покое и не ошиблись.

Кроме Анны Леонтьевны, кончившей молиться и державшей на руках внучку Наталью, и царевича Ивана, все кинулись к окнам, приоткрыли их и стали прислушиваться.

Иван во своей обычной неподвижности сидел на скамье, в одном из углов, и забавлялся ручной белочкой, любимым своим зверьком. Она возилась и бегала по рукам, по плечам, по голове юноши, а он даже закрывал от удовольствия глаза, когда когтистые, крошечные лапки проворно скользили по его волосам и шее.

Но едва приоткрыли окна Наталья и Нарышкины — сейчас же все откинулись назад.

А тяжёлые рамы, как будто дёрнутые снаружи кем-нибудь сильным, большим, с шумом распахнулись настежь, впустили в покой тучу пыли и сору.

Не ветер — настоящий ураган налетел на Москву так же неожиданно сверху, как внизу разыгралась буря людских страстей.

Заклубились тяжёлые, свинцово-синие, с багровым оттенком, тучи. Они быстро затягивали небо. Не успели передовые звенья этих воздушных драконов коснуться края солнца, как через минуту все оно было закрыто тучами, потонуло в них, и ясный майский день сменился вечерней печальной мглой.

Гуще и гуще наплывали тучи, сильнее становились порывы ветра, бросающего новые тучи пыли туда, к небу, навстречу клубистым облакам.

Но дождь не начинался. А между тем ливень был бы так отраден. Он освежил бы сгущённый, полный зноя воздух; охладил бы, может быть, и воспалённые головы мятежников, снова поднявших шум там, у Золотой решётки широкого крыльца.

Прокатился удар грома, далеко-далеко... Другой, третий уже поближе.

Раскаты его на миг заглушали ропот толпы. Но дождь всё-таки не начинался.

Сухая гроза, подбираясь все ближе и ближе, опаляла молниями совсем почернелые тучи, грозно ударял гром... И ни одной капли дождя не упало с разгневанного неба на разъярённую толпу людей.

Отойдя от окон, все уселись в тоскливом ожидании.

— А ведь нынче память царевича Дмитрия-отрока, во Угличе-граде убиенного злодеями, — вдруг почему-то негромко проговорила Максимовна, нянька царицы Натальи, доживающая свой век при своей питомице, богомольная начётчица-старушка [62] .

Пугливо переглянулись сидящие в покое.

Одна мысль пробежала у всех:

"Что это: случай или печальное предзнаменование?"

Но раздумывать было некогда.

Поспешно вошёл митрополит Адриан:

— Государыня-царица, изволь, послушай, что возвещу тебе. Такие речи воровские злодеи ведут, што и слушать не подобно. Видимо, враг

лукавый смущает души людские, князь тьмы уловляет рабов и слуг своих в яви и...

— Батюшко, отец митрополит, буде про души-то, — впервые подняла голос Анна Леонтьевна. — Ты про дело-то нам скажи. Про речи мятежные. Што несут они? Чево им надоть, окаянным? Денег, што ли ча? Казны али водки?..

Снисходительно поматывая головой, как бы давая понять, что он извиняет старуху, охваченную волнением, Адриан заговорил не так витиевато и поживее:

— Все не то, государыня-матушка ты моя, Анна Левонтьевна. В одну душу орут: "Извели, удушили-де лиходеи-изменники, Нарышкины и другие лихоимцы, царевича Ивана. И Петра-государя извести-де хотят, сами сесть на царство..." А многие тут же Матвеева-боярина да Языкова поминали... Да на крик кричат: "Подавай-де нам изменников, губителей царских, Нарышкиных. А не выдадите — всех вас смерти предадим..." Господи, сколь велико озлобление и слепота человеческая, — снова впадая в русло проповеди, заключил Адриан.

Никто не успел ему ничего ответить.

Быстро вошли Матвеев и сам патриарх.

— Слышь, бояре? Што скажешь, государыня-царица, Наталья Кирилловна? Может, Бог дал, все и обойдётся, — торопливо, почти радостно заговорил Матвеев. — Омманули нагло всех вороги наши. Може, и на свою погибель. Теперь, гляди, как бы на их голову не пала гора, нам на пагубу воздвигнутая. Покажем народу Ивана. Жив-де он. И государь-де, Петруша — дал Господь милости — жив, целёхонек. А тамо — потолкуем с ними, со всеми, шалыми... а тамо... Идём поскорее.

Пётр первый двинулся было к Матвееву и патриарху, стоявшим ближе к дверям.

Но Наталья даже не поднялась с кресла, в котором сидела, роняя беззвучно и часто слезу за слезой.

— Што же молчишь, государыня? Поведай што-либо. Тебе подобает к народу вывести детей своих, государей, царя и царевича. Слово своё

скажи царское — и заспокоишь мятеж. Верь ты мне, Натальюшка.

— Государыня, помилуй! Изволь выйти. Ворвутся — всех перебьют! Скажи им: жив-де царевич старшой... Вот он... Покажи его народу, — молил растерявшийся совсем Языков.

— Выйди, государыня, — просили все другие: Салтыков, Григорий Романовский, Нарышкин.

— Мне... вести сына... туда?..

Только и спросила с тоской, заламывая руки Наталья. Встала во весь рост перед патриархом и боярами, быстро притянула к себе Петра и прижала к своей груди.

Такая сила, такая мука и заразительный страх был в этих словах матери, которой предлагают вывести ребёнка-сына к бунтующей, озверелой, пьяной стрелецкой толпе, что ни у кого ни единого звука не сорвалось с губ.

А крики и вопли стрельцов вместе с порывами бушующего ветра все громче и наглее врвались в распахнутые окна.

От этих криков ещё глубже, ещё зловещее казалась тишина, наступившая в покое. Как будто все к смерти готовились и молились в душе или исповедовались перед своей душой.

— Белоцька, проць, больно! — неожиданно нарушил тишину глухой, сюсюкающий голос царевича Ивана.

И он с тихим, глуповатым смешком стал добывать из-за шиворота зверька, который забрался туда вниз головой и теперь, чувствуя неловкость, пятился задом из-под ворота рубахи царевича, шевеля торчащим кверху пушистым хвостом.

На миг оглянулись все на бедного недоумка и сейчас же снова обратились к царице, ожидая, не скажет ли она чего, не изменит ли решения?

Толпы мятежников росли. Видимо, ими руководили искусные руки... И, конечно, долго они не будут стоять и кричать там, внизу у крыльца... Сюда ворвётся вся буйная ватага. И уж поздно будет уверять их в чем-нибудь, призывать к благоразумию, молить о пощаде.

Понимали это все, как понимала и сама Наталья.

Но никто не решался первый приступить к матери, требовать, чтобы ради общего спасения она подвергла опасности своё дитя, царя-отрока.

Стрельцы его не тронут. В этом все убеждены. А как знать, не стоит ли уже за порогом несколько подговоренных злодеев, вроде Битяговского? Не будет ли нанесён удар с той стороны, откуда никто и не ожидает?

Понимают это все. Видят грозящую гибель — и молчат.

— Уйти отсель... Бежать, ужли не можно? — опять с тоской вырвалось у Натальи.

Никто ей не ответил.

Только Матвеев молча, безнадежно покачал головой.

Он уж успел узнать, что все пути отрезаны. Везде стрелецкие караулы. Коней стерегут в конюшнях мятежные стрельцы... Бежать невозможно.

— Наташенька, дочушка моя, а пошто ж и не выйти тебе со внученьком?

Этот вопрос негромко, но внятно задала царице Анна Леонтьевна, подойдя и слегка касаясь рукой плеча дочери. Рослая, красивая, женщина лет сорока шести, она казалась старшей сестрой царицы.

— Слышь, милая: чево боишься? Не грозят же внучонку мому, Петруше-голубчику. И, словно бы добрые люди, толкуют: пришли-де за брата ево, за Иванушку, постоять. Милая, доченька, чево ж боишься? Бог с тобой и с Петрушенькой с нашим... Ждать, слышь, хуже. Смерть — не там, куда человек не идёт. Она там, где сам стоишь. Вот она, здесь, со мной рядом... и с тобой... и с ним, с младенцем, рядышком. И так все ходит она, все ходит, покуль Господь не скажет: "Пора приспела..." И скосит она всякого, кому пора придёт. Петруше — так ево, младенца, унесёт ко Господу... И глаза мои от слез затуманятся, солнышко видеть перестанут... А все жить буду, хошь и старая, дряхлая стану, никому не нужная. Што же боишься, доченька? Господь с тобой. Он, Петруша, — царь. Ево зовут, слышь... Дети зовут. Старые, буйные, пьяные... Да все же дети ему, отроку, помазаннику Божию. Надо пойти. Може, выйдет он, слово-другое скажет — и души их спасёт. От греха удержит. Падут ковы адовы. Кто знает? Слышь, Наташенька? Скрепи сердечушко. На Бога положишь. Иди.

Не там смерть. С нами, тут она... везде она... Не бойся смерти, доченька. Так и внучка учи. Ступай с Богом!

От этих простых, но таких значительных и по смыслу, и по неожиданности своей слов чем-то новым пахнуло всем в душу. Стал бледнеть, исчезать животный, ослепляющий разум страх, в котором цепенели здесь люди раньше.

Словно себя нашли эти люди, с безмолвной мольбою окружающие сейчас Наталью и Петра.

Им уж как будто и все равно стало: выйдет ли царица, выведет обоих братьев или не успеет этого сделать. И они падут под ударами озверелой толпы, когда, потеряв терпение стрельцы ворвутся сюда, в покои.

Что-то всем зашекетало горло, как будто слезы подступили. Но не прежние слезы ужаса и бессильного гнева, от которого только что задыхались.

Нет. Стоит хлынуть этим новым слезам, и наверно, сразу хорошо, легко станет на душе, как после покойного, крепкого сна...

И у первой хлынули эти слезы у Натальи.

Тихо плача, не говоря ни слова, взяла она за руку обоих братьев и пошла к дверям.

Обливаясь слезами, двинулись за нею и Нарышкины, и бояре, и боярыни, бывшие при царице в покое.

Только не пошла мамка с царевной Натальей, горько, неутешно рыдая и отирая глазки девочке, которая тоже плакала, хотя и плохо сознавала, отчего ей так хочется плакать.

По приказанию царицы мамка отнесла царевну в её покои, в терем. Туда же увели трех братьев Натальи: Мартемьяна, Льва и Федора, которым было — четырнадцать, одиннадцать и шесть лет от роду.

Чем ближе подходили все к той части дворца, где стояла Грановитая палата, и широкое Красное крыльцо вело к соборам, тем слышнее стали крики мятежных ратников.

Страх снова прокрался в более робкие сердца, особенно тех, кто чувствовал за собой грехи.

Незаметно отстал Афанасий Нарышкин и прошёл в церковь Воскресения Христова, что на Сенях государева дворца. Там он распростёрся ниц перед престолом, в алтаре и молился о спасении своём и всей семьи.

Иван Кириллыч с братьями тоже отстал от других, повернул к царицыным хоромам и заперся там, в светёлке маленькой царевны Натальи, приказав прислужницам не говорить, что он здесь. Вскоре к ним пришёл старик Нарышкин с Андрюшей Матвеевым, которых Наталья и бояре послали сюда как в более безопасное место.

Как только Наталья с сыном и пасынком показалась на площадке крыльца, их так и шатнуло назад ударами ветра, кидающего тучами пыли в лицо. Но царица словно и не замечала ничего. Только зажмурила глаза и направилась прямо к каменному барьеру, который невысокой, но довольно широкой стеной обошёл всю площадку.

На этой стенке, доходившей до половины роста человеческого, обычно устанавливали полковой барабан дежурных полков при особом часовом для подачи сигналов всем караульным во дворце.

Ветром барабан давно снесло вниз. Часовой отошёл к дверям Грановитой палаты, укрываясь от бури.

Как раз в то время, когда Наталья с сыновьями появилась на крыльце, на площади пронеслась весть:

— Царевна Софья у Аптекарской лестницы угощенье поставила гостям... Три бочки пенного вина поставлены. Пей, сколь много душа просит...

Самые бесшабашные головы кинулись на зов. Задние ряды поредели. Остались впереди люди, убеждённые, что во дворце действительно совершилось преступление, и желающие произвести суд и расправу со злодеями царскими.

Поэтому, как только показалось большое шествие на верху Красного крыльца, стрельцы сами стали укрощать друг друга:

— Тише, не галдите... Идут... Бояре, кажись, нос показали...

Гляди, никак, и святейший сызнова с ими... Да и царица сама...

— Не обманули бояре. Сказали, что выйдет... царя-де приведёт с братом... Вот и есть она.

Хотя было довольно темно от бури, но кто из стрельцов не знал платья государыни-царицы? И все невольно притихли.

Когда же по сторонам Натальи обрисовалось два детских облика — удивление стрельцов выразилось новыми криками:

— Гляди, никак, сам царь тута... И царевич с им... Гляди, братцы... Глаза отводят... Удушен царевич... А энто другой хто...

— Молчите... Царица говорит, никак. Не галди, ребята... Слушать дайте. Как можно больше напрягая голос, чтобы её услышали внизу, несмотря на шум ветра, Наталья заговорила со стрельцами:

— С чево мятеж затеяли, стрельцы государевы? Вам ли так делать надо? Пошто крамолу сеете по земле, врагам царства радость даёте? Ложные вести поведали вам. Вот оба они, государи, живы и здравствуют. И Пётр Алексеич, царь-государь, и брат ево, царевич Иван Алексеевич. Глядите, коли не верите... Вот...

По знаку Натальи Михаил Алегукович Черкасский и Борис Голицын поставили обоих братьев на самый каменный барьер, так что со всей площади стало видно.

— Царь... Это царь наш малолетний, Петра Лексеич... Видим, знаем... Гляди, братцы, он! — закричали передние стрельцы остальным.

И даже в этом мглистом освещении издалека все узнали своеобразную фигуру, поступь и стать отрока-царя.

— А вот другой хто — не знаем, — опять закричали вожаки. — Може, он и не он. Не часто видали батюшку-царевича Ивана... Попытать бы надо...

— Попытайте, попытайте, — подтвердили отовсюду голоса.

А в это время какой-то дюжий стрелец при помощи товарища уже тащил высокую лестницу, стоявшую у Благовещенского собора, где делались какие-то поправки.

Приставленная к крыльцу лестница достала до самой стены, на которой стояли Иван и Пётр.

Два стрельца постарше, выдавшие царевича во время торжественных выходов, живо взобрались на самый верх лестницы и, обнажив головы, пристально разглядывали Ивана.

— Ты, слышь, государь, ты Иван ли царевич? Не извели тебя Нарышкины? Не удушил Ивашко Нарышкин? Ты сам и есть он?

— Вестимо, я царевич. Кем же мне быть-то? Мужик ты. Я бы тебя! Ишь, напужали у нас всех... Чучелы... Станет дядя Иван душить меня. Пошто?

И царевич носком сапога сбирался ткнуть в лицо бородачу, но тот уже стал спускаться к товарищам вместе со вторым стрельцом.

— Царевич энто, сам он сказал. Обляял меня государь. Никому быть, как он. Може, ещё хто попытает, ребята...

Ещё несколько стрельцов поднимались один за другим. Иван уж и отвечать не мог спокойно на их вопросы.

— Провалитесь вы, идола. Слепы, што ли? Я вон плохо вижу... А то бы уж ткнул вас...

— Он, он... И слепой, почитай, вовсе... Никому иному быть, как царевич старшой...— кричали люди, побывавшие на лестнице. — Нет обману. Напраслину сказали нам.

В настроении мятежников наступил перелом. И страшно, и стыдно было им бесчинств, какие натворили они сгоряча. Раздались голоса:

— Помилуйте нас, государи наши, и ты, государыня... Налгано нам. Шли не для мятежу. Ваши царские величества хотели застоять... От изменников оберечь. Помилуй царь-государь, светик ты наш... Земно тебе бьём челом... Не казни рабов своих...

— Христос с вами, люди добрые, — необычайно звонким, девическим каким-то голосом далеко в толпу крикнула Наталья, чувствуя, что её, как на крыльях, поднимает сознание минувшей огромной беды и опасности. — Идите с Богом. Другим скажите, кто ещё не знает. Нет на вас вины. Вот сам царь то же скажет...

— Идите с Господом, — звонко, тоже свободным теперь, радостным голосом крикнул Пётр. — Нет вины на вас. Кто обманул — те с виною...

— Ништо... Мы и сами с ими разведемся, — раздались кое-где голоса.

И с поклонами толпа собиралась уже отхлынуть от крыльца, очистить площадь.

Но тут случилось что-то неожиданное.

Братья Толстые, Александр Милославский, Василий Голицын, Куракин и другие сторонники Милославских поспешно прошли на Красное крыльцо, как только узнали, что Наталья повела туда Петра с братом.

Увидев, что стрельцы, стоящие тут, склонны к мирной развязке бунта, часть заговорщиков-бояр двинулась к Софье, в покоях которой сидел и Милославский. Другие, помоложе-попроворней, прямо кинулись обходом на площадь, чтобы подобрать людей порешительнее и не упустить удобной минуты. Не суждено было этому бурному дню закончиться добром. У бочек с вином, выставленных по приказанию Софьи, под предлогом, что это успокоит горланов, подручные царевны нашли больше народу, чем было его перед Красным крыльцом.

Кто полупьяным дошёл до Кремля, теперь совсем был пьян. Трезвых здесь не было.

Немало завзятых питухов и опилось тут же даровым вином.

Они лежали на земле, страшные, противные, грязные, потеряв сознание.

А остальные уж не разбирали, что они делают, где они сейчас.

— Што ж так загостились, ребятушки, — обратился Пётр Толстой к тем, кто был пободрее. — На площадь поспешайте. Покончат там без вас все дело дружки ваши. И награды им достанется больше...

Кинулись гурьбою стрельцы к Красному крыльцу.

Их громкие возгласы, брань и угрозы заронили новую тревогу в душу Натальи и бояр.

Матвеев быстро, настойчиво заговорил:

— Пройди, государыня-царица, хотя сюды, в Грановиту палату, поблизости, на всяк случай. И со святейшим патриархом, с господином нашим. А мы уж тут с князем авось образуем и тех, што бегут, как прежних образумили.

— Нет, уж я здесь, с вами побуду, — сказал Иоаким.

Наталья же беспрекословно исполнила совет Матвеева.

Она чувствовала, что последние силы покидают её.

В Грановитой палате все уселись как попало, обессиленные, напуганные. Пётр и царевич Иван рядышком взобрались на большой,

широкий царский трон, стоящий под навесом, в царском углу, отдыхая от пережитых волнений.

В это время Матвеев бесстрашно спустился с крыльца; громко, взволнованно обратился к тем стрельцам, которые кучками стали подбегать к дверям золочёной решётки, замыкающей собою вход на Красное крыльцо.

— Здоровы живёте, ратники Божии, доблестное православное воинство. Давно не видался с вами. Узнаете ли?

— Куды не узнать... Боярин Матвеев, Артемон Сергеич... Хозяин наш старый... Тебя нам и надо... Сказывай, как покойного государя извёл? Как нового извести собираешься? Говори, старый грешник, куды подевали Ивана-царевича, заступу нашу? А...

Крики, злобные, пьяные голоса и угрожающие взгляды буянов не смутили старика.

— Снова здорово. Где были до сих пор? Вон у дружков спросили бы. Они не токмо что видели царя и царевича — говорить с ими изволили государи. Нет в царском дому изменников...

— Были здесь оба... Видели мы... Толковали с ими! — раздались голоса тех, кто раньше тут был при появлении царской семьи.

— Ладно. А все же вы по городам посылать надумали... Твои все козни. На нас, на стрельцов, служилых людей иноземных да дворян городовых, всю земскую рать собираете. Стереть нас с лица земли норовите... И ты — первый... Иди, иди сюда... Поспешай, Варвара, на расправу. Не кройся за решёткою. Мы и сломать её умудримся, коли сам не придёшь...

— Не придётся ломать вам затворов во дворце царском... Вот видите, раскрываю дверь: не боюсь я вас. Потому — совесть моя чиста... А вы земской силы боитесь, про иноземные рати толкуете. Видно, за собой што плохое знаете! Болит душа моя. Так ли встретить чаял войско своё любимое? Царскую охрану самую ближнюю. Што дурнова вы от нас да от роду царского видели? А теперь... Вон сидит во палате царица-матушка. Вам она не родная ли мать была? И птенчики при ей, сыны царя Алексея, кой не то отцом — другом, слугою вашим был... Да и Федор тоже.. И вот

расплата стрелецкая... Стыд и горе. Плачут они там: и мать-государыня, и царь-отрок, и брат его недужный. А стрельцы, страмные, буйные, пьяные, инова дела не знают, собираютца двери в жильё царском ломать, убивать хотят не токмо что верных слуг царских, а родню самую близкую?! За што?.. Виновен хто из нас, хоть бы самый ближний к трону — жалобьтесь, челом бейте. Будет дана вам правда. Не попустит государыня и юный царь с боярами никому, даже брату родному вину или грех какой. Видели, как начальникам вашим было по челобитью вашему. А вы все забыли... Наущения злобные слушаете... Все заслуги свои былые в грязь затоптали.. Так уж и меня скорей убейте, старика, не видал бы я позора в войске моем, не слышал бы про горе и позор всей земли Русской... Убивайте меня скорее...

И прямо в толпу шагнул Матвеев.

Как от чего-то грозного, страшного отхлынула пьяная бесшабашная толпа от этого беззащитного старика, покоровшего их тёмные, смущённые души силой, величием духа, красотой подвига.

— Што ты, Господь с тобой... Ступай с Богом, боярин. Не медведи мы дикие. Не кровь пить пришли... Смутили нас... Прости уж... Коли жив Иван-царевич, коли все благополучно в терему вашем царском... Уж мы по домам тогда...

Нерешительно, с каким-то детским, наивным и грубоватым смирением звучат голоса стрельцов. Переминаются с ноги на ногу они, не знают, как им и уйти теперь отсюда.

— Ну ладно. Бог простит. Идите с Богом. Товарищам скажите скорее, собирались бы в место в одно да шли по домам... Идите...

И, поклонившись толпе, Матвеев стал подниматься наверх мимо Михаила Юрьича Долгорукого, который стоял тут же, как бы наготове защитить старца в случае беды.

Князь дал пройти мимо себя Матвееву и остался внизу, с тёмным, нахмуренным лицом, словно не зная, на что ему решиться.

Как начальник Стрелецкого приказа, Долгорукий считал и себя виновным в том, что допустил разыгаться мятежу.

Мягкие, душевные речи Матвеева достигли цели. Но они не нравились Долгорукому. Не так бы он поговорил с этими скотами...

Но начинать без повода — тоже нельзя было.

Долгорукий уже стал было подниматься за Матвеевым, который скрылся в дверях, ведущих в Грановитую палату.

Исход речей Матвеева не понравился не одному Долгорукому.

Оскалили зубы, как волки, Толстые и младший Милославский, которые уже, не стесняясь, появились на самой площади перед соборами, чтобы подогреть толпу, подстрекать её к буйству и резне.

Новую волну пьяной черни, стрельцов и солдат толкнули они на площадь к концу речи Матвеева.

Но Долгорукий не дал долго шуметь этим крикунам.

Нагнувшись через ограду крыльца туда, к новым буянам, он властно и зло крикнул:

— Не смей горло драть, ироды... Собачье племя... Холопы безглазые [63] . Мало вам, скотам, толковано было? Все не заспокоитесь. Так уж будет! Иначе я с вами, с крамольниками, потолкую. Жалели вас, кровь проливать не хотели. А вы и стыда не знаете. И вправду, видать, на расправу к мастерам заплечным захотелось. Вот я кликну челядь... Прочь по логовам по вашим по грязным, пока целы... Не то в топоры да в плети вас... Ах вы... висельники...

И вспыльчивый, несдержанный князь разразился грубой бранью, грозя кулаком пьяной толпе, наглость которой окончательно лишила его самообладания.

— Слышь, братцы, — закричал из толпы стрельцов Александр Милославский, который, пользуясь мглою, вмешался туда без опасения, что его узнают с крыльца. — Прислушайтесь, как лаетца мучитель наш, боярин князь Долгорукий, да ещё петлём и плетью грозит... Потерпите ли, братцы...

Но и без этих подстрекательств в стрельцах проснулся зверь, которого смирили, успокоили речи царицы и Матвеева.

— Што!.. Нас в топоры?! Лаетца ещё, окаянный... Буде зря время терять...

За работу, ребята... Починайте с ево первого... Заткнём глотку боярскую, ненасытную, широкоую... Гайда, кверху вали...

Патриарх, сообразив, что дело кончится плохо из-за одного неосторожного поступка князя Михайлы, поспешил навстречу толпе разозлённых стрельцов, взбегающих на крыльцо, и, высоко поднимая крест в руке, молил:

— Христом распятым заклинаю.. Стойте, чада.. Послушайте мэнэ...

— Ступай с Богом, святой отче... Не надо нам теперя уветов твоих... Не пора. Время пришло разобрать, кто нам надобен, кто нет... Бери ево, князька, ребята. Тащи к Пожару [64] ... На Лобном месте — тамо всех наших недругов судить станем... Всех их туды приведём.

Но не успели стрельцы, оттолкнув Иоакима, схватить Долгорукого, как блеснула сабля в его руке и один за другим двое упали, обливаясь кровью. Голова одного была разрублена пополам, как будто нарочно изловчился князь, нанося страшный удар.

— Кроши, руби ево на месте, коли так! — заревели стрельцы.

Два-три бердыша засверкали у князя над головой и опустились, с глухим треском раскалывая череп. Князь повалился мёртвым.

— Гляди, да он в кольчуге... То-то и копьё ево не берет, — орал какой-то приземистый парень, нанося с размаху копьём своим удар по телу, прямо в живот.

От первого удара по кольчуге загнулось жало копья. Но при втором все железо до древка вошло в живот, и, вынимая изогнутое острие, стрелец разворотил внутренности мертвеца.

— Подымай ево, робята... Вниз кидай... Гей, становите копья, примайте князя честь честью... Любо ли, гей, робя... Михаила Юрьева Долгорукова, князя, миром встречай... Любо ль?

— Любо, любо... Ох, любо! — кричали в ответ стрельцы, стоявшие внизу и окончательно разнуздавшиеся при виде первой крови.

Грузный, тяжёлый труп, с которого была сорвана почти вся богатая одежда, очутился в руках двух злодеев.

Взобравшись на стенку крыльца, они раскачали князя и бросили его

вниз, прямо на подставленные копыя.

Кровь так и хлынула из ран, пробитых остриями этих копий. И сейчас же тело рухнуло на землю.

— Пусти, я ему тоже поднесу гостинчика, — расталкивая других, орал совсем пьяный, на мясника похожий стрелец. — Он меня надысь под батоги ставил... Так вот же тебе, окаянный...

Ударом секиры он отсек у трупа руку, которая легла на отлёте, когда князь рухнул на землю.

— Мой черёд... Я...— раздались голоса — Я теперь!

Засверкали секиры. И только тогда оставили злодеи свою гнусную работу, когда на земле вместо человека лежали куски чего-то бесформенного, кровавого, как те куски мяса, которые лежат на ларях у мясников.

— Любо, ребята... Лихо! — снова выдвинулся Александр Милославский, рядом с которым теперь стоял и Толстой. — Теперь, благо почин сделан, — за других берися... Матвеева изловить надо... Он главный ваш враг!

— Врёшь, боярин. Али не слыхал, што тутa сказывали цари да Артемон Сергеич? Сам-то ты проваливай, пока не влетело, — крикнули подстрекателю стрельцы, ещё не позабывшие гордых и благородных слов Матвеева.

Зубами заскрипел Милославский.

— Шут их возьми, Сашка, — увлекая его за собой, сказал Толстой. — Идём, иных поищем, поговорчивей... Видишь, началась потеха. Теперь наша взяла...

Пётр Толстой не ошибся.

У того же Аптекарского крыльца нашли они новую кучку мятежников, допивавших подонки из бочек.

Эти не слыхали речей Матвеева. Они недавно появились в Кремле, куда не решались по трусости прийти первыми, а уж нагрянули потом, едва дошли к ним вести, что отпору мятежникам нет и все в их власти.

Окружным путём, знакомыми ходами Толстой и Милославский повели эту шайку прямо к Грановитой палате.

Услышав шум на площадке, узнав от вбежавшего сюда патриарха о свалке стрельцов с Долгоруким, о страшной участи, постигшей князя, все сидевшие в палате снова ощутили на себе холодное дуновение смерти.

Не успел патриарх рассказать о гибели Долгорукого, со стороны дворцовых сеней ворвались убийцы, наведённые Милославским и Толстым.

— Вон он, вон где отравитель, лиходей, чернокнижник, — заорали они, увидя Матвеева, — хватай его, робя.. Волоки на крылечко. Тесно тута. Жарко, гляди, его боярской милости...

И, как стая голодных псов на затравленного зверя, кинулись на старика.

— Прочь, изверги!.. Не дам.. Не позволю.. Не дам, — не помня себя, крикнула Наталья, обнимая голову Матвеева и стараясь прикрыть его от здоровых, мускулистых рук, которые протянулись к боярину.

Но две чьи-то руки грубо оттолкнули защитницу. Она в полубесчувственном состоянии упала на скамью и видела, как стали уводить любимого ею старого, беззащитного друга.

Ни кричать, ни плакать, ни молить не имела сил царица. Ужас владел её душой.

Прочь оттолкнули патриарха с дороги стрельцы, не слушая его увещаний. И старец стоял в стороне, закрыв глаза руками.

Как изваяния, вдвоём на троне сидели оба брата, крепко обняв и прижавшись друг к другу.

— Молчи, нишкни... Меня убьют, — вдруг совсем осмысленно проговорил Иван, когда Пётр сделал было движение, желая остановить стрельцов, крикнуть им, чтобы оставили Матвеева.

И, как во сне, не зная, что творится кругом, Пётр послушал того самого брата, о котором и думал не иначе как с презрительным сожалением.

— Правда убьют... Ты и не видишь, какие они... противные... страшные... Хорошо, што не видишь, — шепнул брату Пётр, и оба затихли снова, притаились в глубине обширного отцовского трона.

С глумливым хохотом, с прибаутками мимо бояр поволокли стрельцы Матвеева.

Он не сопротивлялся, но его потащили чуть не волоком, тут же срывая одежду, чтобы убедиться, нет ли панциря под нею.

— А то и топоры не возьмут, — крикнул кто-то из палачей. И тут же обратился к Наталье: — Слышь, государыня, Наталья Кирилловна, — боярина Кириллу да брата Ивана нам готовь: придём за ими. Волей-неволей отдашь.

Затем мимо трона, мимо патриарха и всех стоящих в ужасе бояр и боярынь злодеи повлекли Матвеева к выходу.

Не вытерпел старый князь Михаил Алегукович Черкасский.

— Оставьте, убийцы... Не троньте ево!.. Возьмите выкуп... Все возьмите... Не троньте ево, — стал он просить стрельцов и ухватился за плечи Матвеева, пытаясь поднять, поставить на ноги своего давнишнего друга, отданного на казнь палачей.

— Али сам с ним в разделку захотел? Прочь, старый... Мы боярами не торгуем. Довольно они торговали нами и братьями нашими... Отходи.

Но Черкасский не отошёл.

Видя, что Матвеев даже не держится на ногах, а, обессиленный, повалился на помост, Михаил Алегукович так и накрыл друга своим телом, как наседка птенцов накрывает от коршуна.

— Меня убейте... коли нет в вас души... Бога нет! Меня рубите, его не дам. Каты... звери...

— Гей, не лайся, старая собака. Моли Бога, што тебя нам не надобно, а то бы несдобровать тебе! Прочь...

Грубые руки вырвали Матвеева у старика, изорвали в борьбе одежду на князе. Его оттолкнули, а Матвеева, оглушённого, окровавленного ударом пики в голову во время схватки, потащили на Красное крыльцо.

Миг — тело старика мелькнуло в воздухе. Принятое на копья — оно уже бездыханным достигло земли... И тут Матвеева постигла та же участь, что и Долгорукого.

Ещё звучали на крыльце громкие крики радости, лихое гиканье, которому снизу стрельцы отвечали своим обычным откликом:

— Любо, любо, любо... Лихо...

А со стороны церкви Воскресения— Христова, что на Сенях, донеслись вопли, призыв на помощь, мольбы.

Знаком, близок был этот голос всем, кто сидел в палате.

Это молил о спасении Афанасий Нарышкин, которого за волосы волокли убийцы на Красное крыльцо.

От Успенского собора ворвалась во дворец новая шайка убийц. И прямо стала шарить по покоям, ища обречённых бояр и родню Нарышкиной по списку.

— Чево надо, люди добрые, ратники Божии, — вдруг пискливым голосом спросил передового карлик Хомяк, как из земли вырастая вблизи входа в церковь Воскресения на Сенях.

— Тьфу, нечистая сила! Отколь ты такой? — даже шарахнувшись в сторону, грубо спросил коновод шайки карлика, которого раньше не знал.

— Здешний я. Холоп, как и вы, боярский... Своим товарищам помочь охота... Чево ищите? Авось найду вам.

— Не чево — ково!.. Нарышкиных... Не видал ли, где они?..

— Иные попрятались... Не сметил куды... А одново — покажу вам... Близко...

И с ужимками Хомяк показал на двери домово́й церкви царской, у которой они стояли.

— Тута?.. Эка шельма, — почёсывая в затылке, — пробасил стрелец...— Как ево взять, вора окаянного, из храма Господня... Чай, непристойно будет...

— Ну, баба ты, не стрелец... Твоя ли вина. Не крылся бы в таком месте... Тебе взять надо — бери, где сметил... Другим попадёт эта птица — перья и ощиплют... А пёрышки богатые... И кошель есть при парне...

— Ну, леший тебя подери. Гляди, и правду баешь... Не наша, ево вина, коли в божницу залез... Гайда, братцы...

В алтаре, под покровом престольным, нашли Афанасия и поволокли за волосы на роковое Красное крыльцо...

Услышали вопли юноши сидящие в палате: отец, мать и сестра его... Но

никто не смел прийти на помощь... Двинуться не решался никто с места, где прикованы были ужасом и тоской...

Влекут Афанасия убийцы на крыльцо. А на плече у одного из них сидит, оскалив зубы, злобно ликующий карлик, напоминая собою тех выходцев из ада, которых рисует порой человеческая мысль в минуты кошмарных сновидений... Нарышкина постигла участь первых двух мучеников.

Так на плече у палача и остался Хомяк, когда повёл его с дружками по всем знакомым комнатам дворца и терема искать ненавистных Нарышкиных.

Всюду шарят шайки стрельцов, во всех покоях. Врываются и в царские опочивальни, и в домовые церкви, которых несколько есть во дворце, прокалывают копьями перины, подушки, опрокидывают пышные царские ложа для убеждения, что никого нет под ними... В церквах шарят под алтарями, повсюду... Рвут покровы, тычут остриями копий...

И постепенно находят всех, кого внесла Софья, Милославские и сами стрельцы в кровавые списки, где против каждого имени должен стоять один зловещий знак — знак креста, знак муки и гибели...

Всюду бегают и шарят во дворце стрельцы, потерявшие и страх, и совесть. Только не успели забраться они в горенки, где помещается девятилетняя царевна Наталья. И не заглядывает ни один из мятежников в терема сестёр-царевен, дочерей Алексея, к царевне Софье и к царице Марфе Матвеевне.

Самые пьяные, самые наглые палачи отступают, как только услышат от сенных девушек и старух, расставленных у всех выходов, сердитый оклик:

— Проваливай, рожа идольская. Здесь царевнин терем...

— Ладно... Нешто я што?.. Я сам понимаю, — пробурчит иной стрелецконовод. И крикнет: — Гайда мимо, робята. Не туды попали!..

Затем с бранью, с проклятиями или с залихватской песней, с гиком бегут мимо...

Немало боярынь и бояр собралось в покоях у царевен.

Но к Софье пропускают очень немногих. С царевной сидят бояре:

Милославский и Куракин. Волынский снуёт из покоя на крыльцо теремов и обратно, принимая донесения от всякого рода пособников и поджигателей бунта, разосланных отсюда не только по всем концам Кремля, но и в Бел-город, в Земляной городок и по слободам стрельецким, откуда то и дело выходят новые толпы стрельцов на помощь товарищам. Даже стрельчихи, пьяные, красные, бегут гурьбами с весёлым хохотом, с разухабистыми песнями, перекликаясь одна с другой.

— Бежим, пощупаем боярынь за жирелых, колупнем им бока толстые! Сымем с их наряды златоцветные, што из нашево поту-крови нашиты-настроены. Слышьте, наш праздник. Ишь, как на кремлёвских колоколах стрельецкие звонари нажаривают...

И новые толпы стрельчих выходят из домов, присоединяются к бегущим.

### Глава III. У СОФЬИ

Набат в Кремле, то затихающий на время, то снова потрясающий воздух, словно зовёт все тёмные силы, раньше угрюмо таившиеся по своим грязным углам.

Не одни стрельцы теперь принимают участие в разгроме бояр. Лихие воровские людишки, тати, площадные дельцы-пропойцы, кабацкие заседатели тоже втираются в толпы вооружённых, грозных стрельцов, надеясь урвать для себя что-нибудь в общем пожаре. Куда ни заглянут во дворцовые покои эти шакалы — все ценное забирают с собой.

— Што же, плохо ли, коли московский люд пристал на нашу сторону, — заметила царевна, которой донесли об участии таких добровольцев в стрельцкой резне.

— Не скажи, царевна, — отозвался осторожный Милославский. — Дать волю этой шайке, она не то Нарышкиных — отца родного задушит за чарку вина.

— С чёрным людом — с опаской надо... Это первое... А второе, слышь, толкуют: Москва, почитай, вся непокойна стала. Толкуют люди мирные: "Пошто бояр режут, Нарышкиных бьют и иных..." Гляди, мешать бы нам не стали. Заспокоить надо Москву... И челядь боярская за дубьё

приняться собираетца. Толкуют: "Перебьёте бояр — кому служить будем". Тревога по Москве пошла.

— Не одна Москва — вон и на Посольском дворе присылы от всех иностранных резидентов да послов уж были, — заговорил Василий Голицын. — Что, мол, у вас делается? Как мятежа не смирите?.. Дан был ответ, што больно сила велика стрелецкая, не можно кровь проливать. И вовсе тогда царству не быть. А, мол, стрельцы государей не касаются. Ищут и изводят недругов своих да царских. Да царевича старшева на царство зовут по закону. Только и есть... Мол, один Сухарев полк не бунтует. Не пристал к тем беспорядкам. А мятеж во всех полках. Погодить-де надо... И трогать ништо их, иностранных послов, не станет...

— А они што в ответ?

— Пока — ничево. Да все же надо дело скорее кончать али как-никак оправдать всю свару нашу... С соседними землями дело ещё доведётся иметь. Надо с ими ладить.

— Как не ладить? Што же, бояре, как быть, по-вашему? С чево начать?

— Трудно и быть. Теперь взаправду не сдержать стрельцов. Себя под обух подведёшь, гляди. Нешто так вот...

Милославский остановился.

— Как? Говори, боярин.

— Нарядить как-никак, ровно бы суд. Пусть кого стрельцы изымают — не секут тут же, на месте, без оглядки... И то вон плохо одно дело вышло...

— Какое дело ещё? — нетерпеливо спросила царевна.

— Да стрельцы-то молодые. Не знали добре в лицо Афанасья Нарышкина. А Федька Салтыков и попадись им, малость схож с Афонькой-то. Его живо и прикончили... Уж потом опознали другие. Я приказал отнести тело к отцу да челом ударить хорошенько... Мол, по недоглядке дело сделано. Наш Салтыков-то боярин. Да ау! Мёртвого не подымешь...

— Плохо, плохо... Да досказывай, дядя, што начал-то.

— Вот и надо, кого из врагов найдут, на допрос ставить... А после — казнить всенародно. Да не по углам, а на том же месте, на Лобном, ровно

бы так и от государей приказ даден. Вот народ и подумает, што не зря казни... А не подумает, так просто страх ево возьмёт... Это ты ладно надумал, дядя... А с послами как быть?.. Нешто нарядить к ним дьяка Лариона Иваныча? Старый он знакомец тамо со всеми... Васенька, — обратилась Софья к Голицыну, — сделай милость, погони ково за Москву-реку, где дом ево. Мол, как начальник приказу Посольского, пускай скажет иноземным послам от имени от царского...

— Не погневися, государыня, не приведётся послать Иваныча... Побили и ево... и с сыном Васьюкою, — с явным смущением прервал царевну Голицын.

— Побили?.. Да за што? Не за Нарышкиных был он. Што прикажут — то и делал. А старый слуга, дело знал. И, Васенька, слышь, на листе он не стоял. Имя не было вписано. За што же? Не пойму...

— Стрельцы сами нашли да расправились, — овладевая собой, глядя прямо в глаза царевне, спокойно отвечал Голицын. — Слышь, счёты были у них со стариком. Как ещё правил Стрелецким приказом старина — обиды всем чинил... Теперя и припомнили... Да ещё — в дому у дьяка нашли чучелу сушёную, рыбу каракатицу. Австрийский посол подарил на беду ему. И сочли стрельцы её за змия чернокнижного... А сына... Как стал он отца не давать да поранил одново-двух стрельцов — тут и с ним прикончили...

— На Пожаре так и лежат обое. И рыба та, чучело, при теле Ларивоновом... Што уж тут поделать...

— Да, уж ничево не поделаешь... Ково же к послам послать?

— Кого, государыня-царевна? Да вот хоша бы князя Василия, — вмешался Милославский, во время рассказа не спускавший своих пронизательных глаз с Голицына.

Тот так и вспыхнул, не то от удовольствия, не то пристыженный, что разгадали его какую-то тёмную проделку, затаённый, честолюбивый план.

— И то, — поспешно откликнулась царевна. — Не съездишь ли? Ты в тех делах сведущ. А как стихнет гроза — на место Ларионове и стать бы тебе.

Как мыслишь, дядя?

— Кому лучше, коли не князю, те дела ведать посольские, — хитро, но добродушно улыбаясь, согласился Милославский. — Ишь, ровно и вытесан напоказ. Умом взял, и лицом Господь не обидел, и статью, и поступью. Не скажут послы, што замухрынца каково к им нарядили дела ведать государские. Он же и в латинской, и в эллинской, и в немецкой речи сведущ... Кому же иному и быть?

— Вот и ладно. С Богом, Васенька... Ступай.

Голицын вышел.

— Кто там ещё? — услышав за дверью новые голоса, спросила Софья. — Войди!

Вошёл князь Иван Хованский, который с сыном своим Андреем принимал самое живое участие в событиях грозного дня.

Они вдвоём с Андреем поспевали всюду, сообщая отдельным отрядам стрельцов распоряжения Софьи у Милославского и донося последним об общем ходе мятежа.

Потомок литовских князей, древнего рода, но не богатый, честолюбивый и пронырливый, старик Хованский соединял в себе замашки надменного вельможи с низкими проявлениями угодничества перед высшими и трусил в минуты опасности, особенно на войне... Поражением и бегством оканчивались все стычки русских войск с польскими и шведскими отрядами, если только начальствовал Иван Хованский, прозванный за это Тараруем [65] .

Особенно не любили его воины за то, что перед битвой Тараруй громко грозил врагу, говорил пышные речи, призывая стоять за землю Русскую до последней капли крови, обещая полную победу при первом натиске, так как враг-де слаб и ничтожен, а за русское воинство стоят все силы небесные с Господом самим во главе.

И непременно служились торжественные молебны перед каждой стычкой.

А начинался бой — Хованский, теряя голову, сам уходил подальше, оставлял войско без руководителя, этим подавая сигнал к отступлению,

вызывавшему неизбежный разгром.

Только там, где можно было отличиться без всякой опасности, как, например, в происходившем сейчас мятеже, — Хованский и сын его были в первых рядах.

Сохранив свой литовский тип, с длинными усами, с нерусским обликом, в полупольском наряде, рослый, красивый Ягеллоныч, как он величал себя [66], Иван был очень привлекателен на вид. А сын его Андрей — и вовсе считался красавцем. И оба честолюбца вовремя предложили свои услуги Царевнам из рода Милославских, обещая помогать до конца.

Вот почему они попали в расположение и милость в теремах царевен, когда затеян был переворот.

Шумно-болтливый, снисходительно-фамильярный с низшими, князь в обычное время хорошо умел ладить с воинами. Потому Софья и Милославский наметили его в начальники Стрелецкого приказа.

В виде опыта они предоставили ему главное распоряжение мятежными отрядами и были довольны выбором.

Всё шло почти так, как предвидели главные руководители переворота. Возбуждённый чарками вина, которые он на ходу выпивал со стрельцами, подбадривая их, довольный своими успешными действиями и быстрым развитием мятежа, князь Иван грузною, развалистой походкой вошёл в покой царевны, как в свою горницу, и отдал всем почтительный, но в та же время полный достоинства поклон.

— Чем порадуешь, князь Иван Андреич, поборник наш и крепкая оборона? — ласково, хотя не без затаённой усмешки спросила Софья.

— Покойна будь, государыня-царевна. Я дело своё справляю. Ночь не настанет, а все недруги наши сгинут с бела света. Уж не будь я князь Хованский. Вот как дело облажу с Андрюшкой с моим. Он у меня и в сей час тамо. Приглядывает, как я ему приказал... Што за сын! Без похвальбы скажу. Такова и не сыскать другова. А уж вам, государыням, каков доброхотен... Удержу нету. Говорит: "За Софьюшку-царевну да за Катерину свет Алексеевну живот положу, души не пожалею..." Да, говорит... А я ему сказываю: "Сынаша..."

— Добро, добро, князь Иван Андреич. Кто не знает, што оба вы с сыном — витязи преславные. И не корыстно прямите нам, по доброте души своей. А не поведаешь ли, пошто заглянул сюды к нам, к сиротам печальным. Нет ли дела какова, что ты войско покинул, заявился в терем наш бедный, неукрашенный? Да испить не хочешь ли чево с устатку? Чай, жарко на площади, на вольнице тамо.

— У-х как жарко. Дело кипит. Добро, што ещё ветерок Бог послал... А то правда твоя, мудрая царевна: пересохло горло у слуги твоего покорного, у холопа верново... Чарочку медку али романеи [67] — не мешало бы... Веришь ли, от раннего утра, с восходу солнечново и по сю пору не то куска во рту, капли на губах не было...

— Ах, родимый, князь, индо жаль в сердце ударила... Мигом подадут... Садись покуда. Сказывай: пошто пришёл?

— Да запытать надо. Никово послать не мочно. Сам пришёл. Дело такое...

В это время девушка подала на подносе кубки, чарки и сулеи [68] с мёдом и романеей, которые были наготове в соседнем покое.

— Э, э, — крякнул князь, быстро взяв и осушив большую чарку. — Не осуди, коли ещё одну я... Веришь ли...

— Выкушай на доброе здравие... Хошь три... Милости прошу...

— Э-э-эх... Ладно. Кх... кх... вот и горло прочистило... Так дело, слышь, хитрое... Немчина... тьфу, жидовина искали мы, Гадена... от коево и смерть приключилась государю нашему, Федору Алексеевичу всея...

— Так, так... Што же, нашли ево?..

— Почитай, што нашли. Шпынь к нам был, знать дали мне, што на дворе у резидента датсково, Розенбуша кроются оба: лекарь-жидовин и сын ево, стольник Натальин, Михал-еретик. Послал я туды двоих — троих стрельцов, а им и сказывают: "Прочь-де идите. Место не ваше тута, не русское, а посольское. И никово нет из тех, ково ищите". Наши было в ворота ломиться стали. А там не то холопы Розенбушевы — и рейтарский караул, и ратники лесливские. Хоша и не много, да стрельцы — трусы они, государыня-царевна: коли кто им спуску не даст — сами тыл кажут...

И ушли, мне сдоложилися. Я к тебе. Как быть? Не искать на посольских дворах? Али набрать силу познатнее, нагряться к резидентишке да задать ему такую баню, штабы до конца веку помнил московски веники. Как скажете, бояре?

И, покручивая лихо свой молодецкий, хотя и седеющий ус, Хованский выпуклыми голубыми, но помутнелыми от времени и вина глазами обвёл сидящих.

— Ишь, как распетушился резидентишка! Держава-то ихняя не больно велика, а он туды же. Им больше в нас нужды, чем нам в них. Коли уж стал Розенбуш в дела домашние московские нос совать, прячет лихих людей у себя, пусть не погневаётся, коли и к нему нагрывают, — вспыхнув, проговорила Софья. — Мы законное дело творим. Народ на царство желает Ивана-царевича. Вот и казнят изменников царских.

— Вестимо, государыня. Коли за обиду почтут при датском дворе — нам тоже не велика печаль. Одно лишь знать бы: правда, что там они кроются все, про ково тебе сказано? — примирительно покачивая головой, спросил осторожный Милославский.

— Слово князя Хованского. Нешто буду я... я сам зря говорить? Верный человек мне вести подал.

— Ну, так с Богом, пошли вынуть тех лихих людей.. А резидентишка тот и другим послам не велик друг Пустой человек, бражник. Посылай наряд за теми-то. Хлопова, окольничева, с ими пошли. Не на деле он тут.

— Вот, вот, так я и сам полагал, — шумно заговорил Тараруй. — Только все же поспросать надо. А с Бушем с этим — чево и думать! Уж как я решил, так и надо. В сей час пошлю... Выберем всю рыбу, котора там спрятана... Хе-хе-хе... Уж от меня ништо не уйдёт. Будь покойна, царевна-матушка, и вы, бояре. Все слажу, все повершу. Стрельцы у меня молодцы. Глазом мигну — черта к дьяволу спровадят и назад вытащат... Вот как у меня...

— Благодарствуй, спаси тя Бог, князь Иван Андреевич. Уж не оставь ты нас... — с поклоном отозвался Милославский. — Уж и царевна-государыня, и государь Иван Алексеевич не позабудут твоей послуги...

— Надо полагать, и про меня, холопа верново, попомнят государи, как поставлю я на трон российский ково надобно, — хитро подмигивая и самодовольно откидываясь в кресле, сказал Хованский, не замечая тонкой иронии старика.

— А Языков, что с им? Ужли не нашли? — сухо, отрывисто задала вопрос Софья, которой показался неприятен тон и слова князя. — Это опасный змий. Раней всех надо бы прикончить изменника.

— Хо-хо, не нашли... Вот он где у меня...

И, опустив руку в свой глубокий карман, он снова вынул её, держа что-то зажатое в ладони.

С невольным любопытством окружающие сделали движение посмотреть, что в ней.

— Вот, — громогласно объявил князь и раскрыл ладонь, где лежало большое кольцо с крупной бирюзой, испещрённой золотыми знаками, — талисман, который всегда носил на пальце оружничий.

— Убит? Где, в кою пору? — спросил Милославский и за ним Софья. — Не слышно было, не доводили нам о том.

— И не могли довести. Жив ещё, собака, — радуясь впечатлению, произведённому появлением кольца, забасил Хованский. — Да все равно как мёртвый... Успел сбежать из дворца, предатель... Знал, што несдобровать ему. Чуюла кошка, чьё мясо съела. И кинулся на Хлыновку, к батьке своему духовному, к попу Андрею, где церковь святителя Николая за Никицкими... Чай, знаете...

— Ну, ну...

— Укрыл ево поп... Известно, не все пастыри государей чтят. Иные врагов царя и веры хоронить готовы у себя... Корысти ради. Вот хто по старой вере живёт, те инако. А энтот, никоновец [69] , и рад был...

— Далё, далё...

— Я же и сказываю. Укрыл боярина. А Господь и не дал уйти еретику. Повстречал на дворе на поповском ево холоп один, из приказу Стрелецково. Признал и челом бьёт, мол, здрав буди, боярин Иван Максимыч... А тот затрясся, ровно стена помертвел. "Нишкни, —

сказывает, — вороги ищут меня. Вот тебе перстень. Все деньги роздал. Ево бери. Дорогой-де, заветный. Спасёт меня Бог, приноси перстень — много отсыплю за нево..." А холоп, не будь глуп, — и принёс ко мне колечко-то. Коли там ещё ему журавля посулят, а я шельмецу полтину целую отвалил... И повёл он стрельцов за боярином. Поди, приведут скоро Максимыча...

— Ево не убивать одним разом. Попытать надо: как он к царице Наталье перелетывал? Как тайности наши все выдавал, слышь, боярин?.. И тебя прошу, князь...

— Хо-хо... Попытаем... В застенке в Константиновском и то все налажено [70] . Стрельцы иных изменников, кои успели казну свою схоронить, туда водят, поджаривают, постегивают, правду выпытывают... Хо-хо-хо-хо...

Князь снова раскатился довольным смехом.

— Ну, добро, добро, — оборвала Софья, которую, видимо, стала тяготить шумливая кичливость и панибратство старика. — С Богом, кончай дело... Ладно бы нынче все прикончить... Ивана бы Нарышкина сыскать... и все зубы ядовитые повырваны будут у змия... Другие — помоложе. Не так опасны...

— Што же, али помиловать надо младших Нарышкиных? — осторожно снова задал вопрос Милославский. — Али крови испужалась, царевна?

— С чево надумал! Не испужалась я. На то шла. А сказываю: Иван всех главнее. Пока ево не возьмут — пусть не отстают ребята наши... Да старика Кирилку в иноки. Вот дело, почитай, наполовину сделано.

— Да, не много довершить останется. Иди же, князь. Слышал: Языкова бери. Да сыскать Гадена-волшебника. Да Ивашку Нарышкина, да...

— Уж знаю. Сам знаю: хто стоит на списке, тово и разыщем... Ни синь-пороху не останется. Я же сказал вам. Чево ж тут ещё языком молоть? Челом бью...

И пошёл было совсем к выходу князь Хованский, но неожиданно повернул назад.

— Эка, што было позабыл... Добро, на ум пришло. Ещё боярин Иван Фомин, сын Нарышкин, долго жить приказал: в дому у нево, за Москвой-

рекой изловили гадину — и дух вон... Да, ещё... Вот потеха была... Как пошёл отец патриарх из палаты из Грановитой прочь — между попами да святителями затесался и князенька, горденя, дружок матвеевский, Григорий Ромодановский [71] с сынишком Андрюшкою... Попы на патриарший двор, и те двое за ними. Да, видно, побоялись отцы духовные, не укрыли ево. Тут, промеж патриарших дворов да Чудова подворья, на улочке и пристигли стрельцы-молодцы отца с сынишком, ровно зайца на угонках. Только их и видели, вечную память им дали... Хо-хо-хо... Попомнили князю походы Чигиринские [72] , как изводил он стрельцов тяжёлой службою, поборами своими... А то, слышь, вот как ты, царевна-матушка, про змия про зубастово, яд источающа, помянула — ещё одно сказать надо... Затейники же стрельцы мои... Уж им на чоботы не наступишь... Пришло их ни мало ни много на двор ко князю старому, к Юрию Долгорукому. Бердыши, копья в крови, сами — тоже. А ему — рабски челом бьют: "Не погневайся-де... Ныне поутру ненароком убили-де сынка твоего, свет Михаила Юрича. Лаять нас зря стал, сердце и не стерпело... Толкуют, сами ждут: што буде? Вытерпит ли старый волк? Вытерпел. „Воля Божья!“ — только и сказал. А сам стонет лежит на одре, ноги, вишь, болезнуют. И двинуть ими не может... „Бог, мол, вам простит. Сами не ведаете, што натворили... Не вами то дело затеяно! Не вы виною“. — „А коли простил от души, — бают, — не поднесёшь ли чарочку? День больно хлопотный. Да и жарко, не гляди, что буря...“ И на то пошёл, угостить приказал. Дивуются наши. Одначе с чево на старика напасть, коли так пришипился, присмирел? Да и больным-больной... Только что не подышает. Не тронули. Пить пошли.

— Н-ну?.. — захваченная рассказом, сказала Софья, когда Хованский оборвал свою речь и тоже протянул руку к новой чарке.

— Кхм... Пить, говорю, пошли, што там выдали им. Меду, сказывают, и вина крепково дали. А в опочивальню и вбежи старуха Долгорукая. Сама не своя... Ведьма ведьмой. Седые космы рвёт на себе, вопит, голосит: "Сынок ты мой родименький, любименький, единый ты мой, ненаглядненькой... Убили тебя злые вороги, псы лютые.. Прокляты буди

они и навеки..."

Хованский, увлекаясь рассказом, даже заговорил старушечьим голосом.

— А князь и цыкнул на бабу "Молчи, дура! Чай, мне не менее твоего сына жаль. Да воем беды не поправит... И им, вора, кары не избыть. Знаешь, по пословке по старой: „Щуку съели, да зубы оставили..." Отольютца им наши слезы. Коли Бог поможет, будут все висеть, как Иуды на осине, — на зубцах каменных по стенам Земляного да Белогорода..." И случись тут холоп один, што не захотел боярина покрывать от товарищей, за своих руку держал. Пошёл из покоя и сказал все стрельцам... Кинулись ребята, вмиг с хитрым злодеем со старым прикончили... Руки-ноги ему обрубали... Да в кучу навозу тут же, перед воротами кинули. Да ещё... сбежал один на погреб, из бочки рыбу взял невелику солёную, с головою, и ткнул в рот князьке: "Грызи, мол, щуку и с зубами..." Хо-хо. Да ещё...

— Ладно, князь, вдругорядь доскажешь. Не пора ли посылать к Розенбушу, как хотел?

— И то, и то... Иду, государыня-царевна.

— Слышь, а святаиший отец патриарх где? У себя, што ли? Не кроет ли на дворе своём ково? — спросил торопливо Милославский.

— Нету. Все там перешарили... Сам Аким в собор прошёл. А в подворье у нево не то под алтарями — в мышинных норках копьями шарили. Никого нету... Молит Бога теперь в соборе. И домой не идёт.

— Не тронул бы хто ево. Пускай молит.

— Не, хто тронет. Я не то никоновцам, а и нашим, капитоновцам [73] , сказывал да иным: пальцем бы не рушили владыку. Вестимо, не след свару подымать из-за нево, из-за Акима из-за нашево в народе... И то, слышь, боярин, холопы боярские не покойны стали. И Нарышкины, слышь, надумали их собрать, оружие им дать и на стрельцов вести. А того холопья — куды больше, чем наших наберетца. Они задавят, коли накинута голыми руками, ослопами [74] и то одолеют... Кабы плохо не было, боярин, — сразу спадая с весёлого тона при мысли о возможной опасности, заботливо произнёс Хованский.

— Пустое несут люди. Пусть и не думают стрельцы. Где им холопей собрать? Сколько бояр на нашей стороне. Поболе, чем и за нарышкинцами... А другое дело, вот што надо: отряди-ка поболе людей в Холопий да в Судный приказы... Да малость кабальных записей, да книги старые по ветру развей, поизорвать прикажи. Вот холопи на радости и станут за стрельцов да за царя Ивана волей-неволей. У ково не лихой господин, тово холопи сами не кинут. А лихим господам — и холопей иметь не надобно... Только не все изорви, гляди. Спустя время штобы можно было и поправить беду, слышь.

— Вот-вот, и я так само сделать хотел. А все же лучше спросить, думаю. Уж, небось, будет сделано. Наша Москва — и не возьмут её не то Нарышкины — сами черти из пламени адова... Одно лишь жаль, што не приспела пора и Акимку сменить. Ково из старых попов на ево бы место? Не из никоновцев проклятых... Да, сам вижу, не пора... Всево сразу не обладать.

— То-то. Сам понимаешь, князь. Разум-то у тебя орлиный. Вера — велико дело. За Нарышкиных мало кому охота под обух лезть. А трон святейшего патриарха — не то мужики, бабы все в драку полезут... Ну, с Богом...

— Челом бью... Да, вот... Одна ещё докука, царевна-государыня... Овдовела ныне жёнка дьяка Ларивона Иванова. И сына не стало. А достатки у них изрядные были... Вот кабы мне ваши милости бабу посватали... Вот бы...

— Што же, сватай, князь, поможем, — не скрывая нетерпения, ответила Софья. — Што потом скажешь?

— Да все, почитай, сказано. Челом бью.

И вышел наконец из покоя.

— А што, слышь, дядя: не учинить ли нам вправду царём князя Ивана Хованского? Ишь, и теперь ещё, ничево не видя, он ровно отец родной нам. "Я да я... да попова свинья..." А как дело завершитца, он силу у стрельцов возьмёт... Не трудененько ль нам станет тогда?..

С таким вопросом обратилась Софья к дяде, едва вышел князь.

— И не думай, царевна-матушка. Кому Тараруй вреду али страху наделает, кроме как себе? На то он и Тараруй. Ведёшь ево, а он и величаетца. Словно на крыльях летит. А руку отнять — и носом в грязь зароет. Ково ни есть, надо иметь, дело бы повершить. А с князем, — с этим, с Ягеллонычем, — все легче будет сладить потом, чем с другим, хто поумнее... Вон и сынок ево к Катюше к нашей в женихи норовит. Ужли отдадим? Не кручинься о них, Софьюшка. Ино теперь дело подумать надо... Другая забота есть.

— Какая, Иван Михалыч?

Милославский не успел ответить.

— Царица Марфа Матвеевна к тебе, государыня, жалует, — доложили Софье.

— Вот оно, моё дело, само на порог, — шепнул Софье старик, когда она поднялась навстречу царице Марфе.

Заплаканная, измученная, вошла молодая царица в покой и сразу зажмурилась от света многочисленных свечей, которые горели здесь из-за тьмы, вызванной сухой грозой и ветром.

— Челом бить пришла тебе, царевна-государыня, — напряжённно-нервно заговорила царица. — Што творитца вокруг — не скажешь ли? Как быть, не научишь ли меня, вдову бедную, беззащитную?! И в мой терем стали забегать лютые мятежники... Ищут ково-то, грозят... Твоё имя поминают да брата-государя Ивана Алексеича. Ужли от вас приказано ругательство такое чинить мне, вдове честной! Знаешь жизнь мою. Как пред Господом, так перед тобой стою, царевна-сестрица. За што же поношение терплю?.. Ещё и не отмолила я души государя-супруга усопшего. Вон в четвёрток двадцату панихиду служить надо... А я из терему выйти не смею. Как жива до тебя дошла — не знаю... Сестрица, Софьюшка, али ты не знаешь? Али не видела?.. Глянь... Што творитца, глянь... Кровь всюды... Алтари Божий — кровью залиты... Отцов при детях на куски рвут. Сынов на отчих глазах топорами секут... На папертях храмов соборных трупы нагие лежат... Я ненароком глянула... Сестрица... Страшно, страшно мне... Укрой, защиты, коли можешь... Софьюшка...

И в ноги царевне повалилась напуганная, потрясённая царица Марфа, трепеща от истерических рыданий.

Пока позванные боярыни приводили в себя молодую лову. Софья сидела как изваянная, и серым цветом лица, чертами крупными, твёрдо очерченными напоминая гранитные статуи египетские.

Только в немигающих глазах то вспыхивало, то угасало пламя какой-то мучительной мысли, тяжёлого переживания.

До этой минуты царевна выслушивала с интересом все доклады об ужасах, творимых по её воле. Правда, слыша о пролитой крови, о зверских убийствах, брезгливо морщилась девушка. Но она знала, что нельзя иначе.

— И яшни не состряпать, коли яиц не поколотишь, — успокаивала себя эта властная, честолюбивая душа.

И отгоняла назойливые мысли обо всём, что творится сейчас в Москве, имея в виду одну желанную цель: посадить на трон Ивана и воцариться таким образом самой.

Но вот вошла эта слабая, юная, хрупкая женщина. Не очень умная, не очень заботливая о людях. Но она увидела ужас, пришла, сказала о нём — и в глазах, в душе Софьи вырос во всей его величине образ того несчастья, какое по её воле началось и должно ещё не скоро кончиться.

Трупы, кровь, отнятые жизни, нагие, изрубленные тела...

Раньше — это были простые звуки, ступени, может быть, и грязные, но по ним только и можно взойти на трон московский...

И вдруг по одному слову, от первого вопля царицы Марфы эти ступени получили какую-то страшную, кошмарную жизнь. Тела нагие, ободранные, конвульсивно стали изгибаться, ворошиться под ногами. Раскрылись мёртвые, залитые кровью глаза... Бледные руки поднялись с угрозой, потянулись с мольбою к небу...

Зашевелились онемелые языки, из перерезанных гортаней вырвались проклятия и крики:

— Мечь... мечь и тут и там... За гробом...

Спокойно сидит Софья, видит, как, приходя в себя, садится на скамью

бледная царица. Видит сияние свечей, движение народа в комнате, портреты на стенах, листы в богатых рамах, исписанные хвалебными виршами в честь её, Софьи, и от Полоцкого, и от Сильвестра Медведева, его заместителя...

И так же ясно, как все это, видит девушка ту страшную картину, которая, словно блеск молнии, озарила её глаза, так и стоит, мучительно-неотвязная. И бледнеет, как мел, серое лицо царевны, зубы начинают стучать, как в лихорадке.

"Разума, што ли, я лишаюсь", — мелькнуло в голове Софьи. Вскочив, она большими глотками осушила ковш с водой, принесённый для Марфы, и снова села, стала спокойнее размышлять:

"Как же быть?! Не поверни я так дела — меня и наших всех извели бы Нарышкины. Уж они бы не пожалели... Теперь бойню остановить — тоже дела не будет. Матвеева нет — Иван Нарышкин жив. Он да и другие пометят за все. Выходит эти трупы бесцельной жертвой, камнем, незамолимым грехом лягут на душу ей, Софье. Так и не стоит назад ворочаться... Поздно теперь... Кто знает, если бы раньше ей показали ясно ярко, вот как сейчас, что значит поднять мятежных стрельцов, — она бы и не пошла на это... Но теперь — поздно..."

— Да, не пора ещё! — почти вслух проговорила царевна.

И снова спокойное выражение овладело её большим, тучным лицом, расправились густые брови, разжались зубы, стиснутые раньше до боли.

— Вестимо, не пора, — негромко отозвался Милославский. Он всё время наблюдал за племянницей и словно читал в её душе все мысли, все смятение чувств.

Ничего не ответила царевна. Не любит она, когда кто-нибудь заглядывает ей в душу, даже такой близкий, умный и необходимый человек, как старик Милославский.

И потому она обратилась к царице Марфе:

— Легше ль тебе, сестрица, голубушка?

Давно уже на половине сестёр-царевен не слыхали от Софьи подобного вопроса, сделанного таким задушевым, ласковым, любовным голосом.

Давно, когда ещё ребёнком была царевна, никогда не ладила она с братом Фёдором и сёстрами, восстающими против властолюбивой сестры, но вот родился Иван-царевич, слабый, больной, беспомощный, и Софья так и прилепилась к братишке Ване.

Как самая внимательная нянька, семилетняя девочка ухаживала за ним. Самые нежные любовные слова расточала слабому ребёнку своим звучным голосом, и необычайной нежностью дышал этот голос...

Так же заговорила Софья в этот миг с царицей Марфой.

Марфа вошла сюда в порыве отчаянья, желая отвести душу, излить тоску, негодование...

И неожиданный искренний, любовный призыв Софьи, её тёплый вопрос изменил все в душе молодой женщины.

— Ох, што я, горемычная!.. Ты тем, злосчастливым, помоги... Все, слышь, толкуют, от одново слова твоево все по-иному стать может... Скажи же... Не дай!.. Ужли ты так сотворила?! Ужли ты тово желаешь? Сестрица, Софьюшка...

— Пустое толкуют... Не желаю я тово, да и поделать уж ничево не могу, — не глядя в глаза невестки, устремлённые на неё, отвечала Софья. — А што можно — сделаем, вот с боярином Иван Михалычем... Да с иными... Верь мне. Слово тебе даю. А моё слово — свято... И вот што... Ты нынче не в себе, невестушка... Иди, поотдохни. А наутро приходи ко мне. Увидишь, што делать стану. И ты в помощь станешь...

— Вот добро, Софьюшка. Господь тебе воздаст. Мы, стало, и Ивана Кириллыча им не дадим, и других, ково можно... И батюшку царицы-матушки... Отмолим у злодеев... Правда? Сестрицы же нас обеих послушают... Иванушку научим. Он просить станет. Коли они ево царём зовут, должно же им царя слушать.

— Не думаю тово, Марфушенька. Уж разошлись больно эти... люди-то все эти, которы...

Софья не находила слова, как назвать своих же сообщников.

— Ну, там што Бог даст... Приходи, увидишь... Христос с тобою...

И любовно, под руку проводила царицу Софья до самой двери, передала

её провожатым боярыням.

— Прости, Иван Михалыч, уж и ты с Богом ступай... Неможетца мне. Пораней приходи наутро... Да, слышь... Вон толкуют — стали люди всякие хитить добро наше царское... и чужое... И тех, корысти ради, побивают да грабят, ково бы и не надобно... Уж порадей, штоб не было тово... И срам, и грех лишний на... нашей... на моей душе будет. Слышь, молю тебя, боярин... Поставь стрельцов особых... там уж, как ведаешь...

— Слышу, разумею, Софьюшка. Духу не теряй... Нелегко оно, што говорить... Да, слышь, вон скамью эту двинуть?.. Што сил надо? Пустое... Дело не стоящее. А трон попытайся с места тронуть... Да целу державу великую... што не одну тысячу лет нарастала, осаживалась... Тронь-ка её... Не то руки подерёшь в кровь, а и душе достанетца... Так о том надо было ранее думать, как дело мы с тобой починали... А ныне — ау, Софьюшка. И хотел бы иной раз посторониться, в крови, в грязи не обвалиться... никак нельзя... Море крови кругом... Не плыть поверху, так тонуть в ней надо... Помни, Софьюшка...

После этих слов, звучащих печальным предсказанием, невольной угрозой, откланялся и ушёл старик.

А царевна всю ночь провела без сна, то кидалась на ложе, то босая, в сорочке, металась по опочивальне, подходила к распахнутому окну, за которым шумели старые тёмные деревья дворцового сада.

Ветер улёгся, буря стихла. Тучи ещё проносились тяжёлой грядюю, но уже в просветы между ними кой-где проглядывало темно-синее ночное небо, трепетно выглядывали ясные звезды.

Но прохлада ночи, её спокойная красота и тишина не давали отрады царевне.

Видела она неотступно перед собою бесконечную лестницу, сложенную из окровавленных тел... Идёт она, Софья, вверх по этой лестнице. А ступени-трупы шевелятся, извиваются под ногами; лепечут проклятья мёртвые, бледные уста; глядят с укором остекленелые глаза, поднимаются к небу с мольбой о мести мёртвые, закаменелые руки...

## Глава IV. ПОСЛЕДНИЕ УДАРЫ

Пока в тереме Софьи намечались пути и цели дальнейших событий, резня и бойня в Кремле и по всей Москве не прекращались...

Кроме тех, о ком говорил царевне Хованский, стрельцы ещё изловили и убили в Кремле приказного дьяка Аверкия Кириллова, подполковника Григория Горюшкина, не хотевшего пристать к мятежникам. Тела их, как и других убитых, были унесены через Спасские и Никольские ворота к Лобному месту.

— Шире дорогу... Боярин Ромодановский идёт, — глумливо кричали пьяные злодеи, волоча по земле изуродованное тело...

И так величали каждого мертвеца по чину, званию, по имени его.

А там — двумя рядами по сторонам дороги — бросали трупы...

Сюда же валили и тех, кто был убит в свалках, имевших место в Земляном и Белом городе за этот день.

После полудня, пробив поход во все двести барабанов, главные стрелецкие отряды вышли из Кремля, оставив везде караулы.

Но до самой ночи отдельные отряды рыскали по дворцовым дворам и везде по Москве, разыскивая по списку осуждённых людей.

Настала тёмная, безлунная ночь.

Постепенно стали откатываться обратно в свои слободы и посады последние волны бунтующих стрельцов...

И закопошились иные тёмные силы... Убийцы, тати, рассчитывая безнаказанно поживиться в грозной суматохе, — вышли на работу.

Но тут их ждала неожиданная и быстрая кара.

Отряды стрельцов останавливали каждого, кто шёл в темноте с какой-нибудь ношей. При малейшем подозрении, что вещь украдена или взята грабежом, пойманного тут же убивали без пощады и труп относили на Красную площадь, валили в общую кучу...

До сорока таких убитых набралось за ночь...

Московский люд, слыша безумные крики о пощаде, разрезающие ночную тишину, дрожал от страха в своих жилищах, плотнее прикрывал двери и окна, жарче шептал молитвы о спасении от зла...

Порою большие отряды стрельцов с фонарями, с пылающими факелами проходили по улицам, под начальством всадников, одетых не в стрелецкое, а в "дворцовое", придворное платье.

Это искали по указаниям доносчиков людей, которые успели убежать днём от предназначенной им гибели.

Один такой отряд появился и в Немецкой слободе, у ворот дома датского резидента Бутенанта фон Розенбуша.

На громкий стук вышел сторож.

— Чево надо? Ково черти носят по ночам?

— Отворяй по приказу государя-царя Ивана Алексеича, слышишь, собака, да поскорее, пока жив...

— Царя... Ивана... откуда такой?.. Пётр-царь, сказывали... Ково надо, сказывайте. Што за люди? Не то и отпирать не стану...

— Резидента самово...: С Верху мы присланы... От царя... от царевны Софьи, слышь, собака... Отворяй...

— Ну, так бы толком и сказали, — заметил сторож, раскрывая ворота и унимая огромных датских псов, норовивших кинуться на незваных гостей.

Розенбуш, неодетый, уж был на крыльце.

— Кто там?.. Што там?.. Кафари... какой люд?.. Зашем польночни нападай?..

— Без напасти мы, Андрей Иваныч, к тебе безо всякой. От царя посланы. Обыск учинить, как весть нам подана, што кроются у тебя недруги ево царсково величества, государя Ивана Лексеича, лекарь-иноземец Данилко фон Гаден да сын ево, Михалко-стольник.

— Нет, это врот ваши шпион. В мой дом нет никакой чужой шеловек... Искайте, если надо... Но я дольжен вам сказать, я буду жаловать на мой король...

— Ну, там жалуйся... А мы оглядим, как надо, все норы твои. Вали, ребята...

Был осмотрен весь дом, перешарены сундуки, шкапы — нигде не нашлось тех, кого искали.

Ушли обыщики.

А через час снова подняли весь дом, опять вломились в ворота:

— Эй, немец, подымайся, вялая твоя душа. Изловили сына Данилина; а он толкует, што у тебя отец прятался весь день. Велено поставить вас пред очи друг друга. Бери его, ребята...

Резидент, неодетый, напуганный, стоял и не знал, что делать.

Жена его кинулась в ноги окольному Хлопову, который вёл отряд:

— Помилуй. Дай хоть одеться мужу... Он захворает, если поведёте его так, ночью. Я именем матери твоей прошу.

Так лепетала по-немецки, обливаясь слезами, госпожа Розенбуш.

— Што она лопочет, растолкуй мне, слышь, Андрей Иваныч, — обратился Хлопов к резиденту.

Тот, сам глотая слезы, перевёл речи жены.

— Ну ладно, одевайся... Поспеем и то. Ишь, светать начинает... Всю ночь из-за вас, окаянных, в седле торчи... У, идолы...

Быстро оделся резидент. Подвели ему осёдланного коня.

— Ну вот, ещё на коня ему... С нами и так, пеш пойдёшь...

Снова пришлось жене вмешаться, упрашивать Хлопова.

Тот согласился наконец. И рядом выехали они из ворот. А стрельцы скорым шагом двинулись за ними.

Первые жертвы вчерашней бойни, которых увидал по пути резидент, наполнили душу его ужасом. Он ехал, стараясь не глядеть по сторонам.

Караульные стрельцы у Никольских ворот выбежали им навстречу.

— Изловили-таки чернокнижника-лекаря!.. Вон он, доктур Данилко!.. Давай ево сюды... Сами расправимся, и водить не стоит далеко.

— Дорогу, черти, — крикнул Хлопов. — Какой вам Данилко? Посла ведём, слышь, к государю да к царевне-государыне... К Софье Алексеевне...

Недоверчиво поглядывая на иноземца, раскрыла ворота стража. Как только отряд Хлопова миновал их, тяжёлые створы снова захлопнулись с визгом на тяжёлых, ржавых петлях...

Не успели они сделать десятка шагов по грязной бревенчатой мостовой,

как им навстречу показалась густая толпа стрельцов и солдат.

Впереди шёл стрелец и тащил за волосы труп молодого человека, лет двадцати двух, совершенно нагого, избитого, изуродованного.

Несколько ран от копий зияло на груди, на животе. Раны были свежие, кровь не успела свернуться. И при толчках о выбоины бревенчатой мостовой из них сочилась и брызгала кровь.

— Шире дорогу. Стольник Михайло Данилыч Гадин шествовать изволит...  
А за этим телом волокли другое, старика лекаря Гутменча, друга фон Гадена.

От ужаса и горя Розенбуш едва удержался в седле.

— Ишь, покончили с Гадиным... С кем же теперя тебя на очи постановят?  
— спросил у него Хлопов. — Вон и другого немца ухлопали. И за што бы это?

Розенбуш молчал, провожая взглядом дикое шествие.

Снова распахнулись ворота — и с гиком, со свистом убийцы миновали их своды, прошли по мосту и потащили дальше оба трупа, туда, к Лобному месту, где гряда мертвецов росла и росла...

У Постельного крыльца, выходящего во дворцовый двор, недалеко от теремов царевен сгрудилась большая толпа стрельцов и разного служилого люду, когда подъехал сюда Розенбуш со своим провожатым.

Кое-как пробрались они вдвоём на крыльцо, при этом Хлопов то и дело возглашал:

— Пропустите скорее... Посол идёт к царю-государю да к царевне...

Вот прошли они передний покой, но на пороге второго пришлось остановиться. Дальше идти не было никакой возможности, так много народу, особенно стрелецких начальников, набилось в палату.

В глубине, на возвышении сидела царица Марфа и царевна Софья.

Кругом — ближние бояре: Милославские, Голицын, оба Хованские и прочие.

У Софьи усталый, истомлённый вид, но на лице её нельзя было подметить ни следа колебаний или той жалости, которою вчера была охвачена душа царевны. Ясно глядели её глаза. Властно держала она

голову, упрямо и твёрдо сжимала свои полные, яркие губы.

Князь Иван Хованский говорил со стрельцами:

— Призвали вас государыни наши, царица Софья Алексеевна и царица Марфа Матвеевна, чтобы благодарить за службу усердную и верную. Скоро, видно, все придёт к доброму концу. Весь народ московский, и бояре, и царевичи служебные — все склоняются Ивана-царевича на царство посадить. Надо лишь самых лютых врагов царских, Ивана Нарышкина и Кирилу Полуэхтовича, да иных немногих, разыскать и судить. А тамо — што Бог даст... Любо ли так?

— Любо. Вестимо, любо! — крикнули как один все стрельцы и дворяне.

— Как ты скажешь, батюшко наш, князь Иван Андреич, так нам и любо...

Царица Марфа, когда Хованский заговорил об Иване Нарышкине, сделала движение, словно собираясь говорить. Но Софья удержала её. А крики, от которых задрожали стены покоя, совсем лишили мужества и сил царицу.

— А как ведомо всем, што той Кирила Нарышкин о царе промышлял лихое, то и надо ево в монастырь куды в дальний послать, постричь навеки. Так любо ли?

— Любо... Любо...

— А и Наталью Кирилловну, государыню вдовую, в покоях бы царских не мутила — тоже постричь надо, от Верху подале сослав. Любо ли?..

— Любо, любо... Любо... Меней свары буде промеж государей... Вестимо...

— А ещё государыни изволят: бабу бы эту, хворую, — отпустить бы ко двору, как она к лихим делам мужа не причастна.

И Хованский указал на женщину лет сорока, скромно одетую, со следами побоев на лице, всю в пыли и грязи, которая робко прижалась на полу, за креслами обеих государынь.

Это была жена Даниила фон Гадена.

Её вместе с лекарем Гутменчем приволокли в Кремль. Лекаря убили за то, что он не мог верно указать, где спрятался Гаден. Принялись и за жену Даниила. Но вышли обе государыни, и мольбы Марфы успели повлиять на мучителей. Её оставили пока, желая знать, что скажет

царевна Софья, впервые открыто выходящая из своего терема к ним, верным её слугам, покорным исполнителям замыслов и планов.

От имени Софьи Хованский объявил им волю царевны.

Едва умолк Хованский, Марфа поднялась с места и заговорила:

— Люди добрые, прошу вас, не троньте её. Я и царевна вас молим о том. Што люди скажут, коли говор пойдёт, што жён изводить вы стали... Не мужское то дело... Грех и стыд... Оставьте её.

— Чево оставить?.. Мужа не крыла бы... Другой день ищем аспида, как сквозь землю провалился. Её не станем изводить... Лишь попытаем малость...

Так закричали было со всех сторон в ответ на просьбы Марфы.

Но тут случай выручил напуганную, полумёртвую от ужаса докторшу.

— Нарышкина поймали... Эй, все вали сюда... Поймали ево, изменника...

Эти громкие крики донеслись со двора до самых покоев. Мигом кинулись во двор стрельцы. Только Розенбуш с Хлоповым остались за порогом этой комнаты, не решаясь войти.

— Ну, вот и ладно, — заговорила в первый раз за все утро Софья. — Слышь, Елена Марковна, уходи скорее... Севастьяныч проводит тебя... Авось стрельцы не вспомнят... С Богом...

И, не обращая внимания на благодарность обрадованной женщины, Софья обратилась к Марфе:

— Сама теперь видела: и мы с тобой — не в своей, в ихней власти покуда... А што можно, все делаем... И поудержим, где надо. Вон слышала, как князя Ивана полюбили стрельцы. Иначе не величают, как батюшко наш...

— Ещё бы не величать, — самодовольно поглаживая усы и поправляя богато расшитый воротник своего кафтана, вмешался было Хованский.

Но Софья, словно и не слыша его голоса, продолжала:

— А попробуй тот же Хованский им што не по нраву сделать, посмей против шёрстки погладить их, безудержных... Так и от "батюшки", — одни ошмётки полетят...

— А што ты думаешь... Твоя правда, царевна, — нисколько не смущаясь

невниманием Софьи, опять вставил словечко князь Тараруй и стал в раздумье крутить свой ус и поглаживать холёный жирный подбородок.

— Вот то-то и есть... Так потерпим, царица. Немного осталось. Горше было — минуло. Меньше осталось... А ещё знай...

Софья остановилась.

— Иван Андреич, погляди, хто там стоит? Никак датский резидент. Хто, пошто привёл ево сюды? И не звала я...

Хованский оглянулся, узнал Розенбуша и через весь покой крикнул ему:

— Здорово, Андрей Иваныч... Пошто ты к нам?.. Хто звал?..

— Да твоя же милость посылать изволил, на очную ставку с сыном докторовым, с Михалком требовал... А ныне мы...— стал докладывать Хлопов, выступая вперёд.

— И то, и то... Запомятовал я... Пожди...

И, обращаясь к Софье, Тараруй негромко сказал:

— Наврали все, слышь, про немчина этово. Не крыл он никоу у себя. Пустить ево — и лучше. Немчин добрый. Я сам с им пировал сколько разов.

Софья только рукой махнула в знак согласия.

— Гей, слышал, Осипыч, — крикнул Хованский Хлопову, — царевна приказывает отпустить немчина. Дело уж разобрали и без ево... Да побереги сам Буша-то. Наши больно разошлись. Подвернетца кому под руку — и поминай как звали... А потом хлопот не оберёшься с им, с колбасной душой... Гайда...

Розенбуш и Хлопов, отдав поклоны, вышли.

— Пойду и гляну, матушка-государыня, какова там Нарышкина ещё изымали. Ужли Ивашку? — объявил Тараруй.

Но не успел он дойти до двери, со двора слышались громкие вопли, безумный крик, мольба о пощаде, полная тоски и боли...

Тараруй почти бегом кинулся из покоя, бормоча:

— Эх, жаль, коли без меня прикончат парня...

Марфа при первом вопле, долетевшем сюда, зажала руками уши, закрыла глаза и кинулась на высокую грудь Софьи, где её небольшая,

красивая головка совсем казалась детской, маленькой.

Софья не шевельнулась, пока не вернулся Хованский.

— Ну, кто там? — спросила она князя.

— Ваську, Филимонова сына, Нарышкиных, прикончили... А Ивана все нет. Наши уж серчать стали. К Наталье много раз заглядывали, да, видно, далеко спрятан. Не нашли. Сказывали ей: не выдаст ево да Кирилу Полуэхтовича — так худо будет. Всех с корнем изведут, хто тут во дворце и есть... Придёт время — сама выведет, уж не миновать... А Наталья-то, как немая. Сидит да молчит, глазищами только водит... И где она их только запрятала? Знать бы мне... Было бы укрывальщикам...

Слова князя словно обжигали царицу Марфу. Она вздрагивала от них, как от сильных уколов. И будь Тараруй не так ограничен, он понял бы, как поняла Софья, что царица Марфа знает, где нашли убежище эти двое и другие из Нарышкиных.

Но Софье не хотелось натравливать на молодую царицу безумных палачей. Она решила действовать иначе.

— Вот так всево лучше, — обратилась царевна к Хованскому. — Сказать стрельцам, што не стоит и время терять, шарить попусту... Как пригрозить покрепче Натальюшке — сама вправду отдаст братишку Любимова, смутьяна, составщика [75] наиглавного ихнево... Я ноне и то скажу ей... Може, послушает... Только бы знала Наталья, што без тово — конца делу не будет... Поразумел, князь, али нет?

— Ну вот... Я же про то сказал тебе, да я не поразумею!.. Уж ты меня слушай, царевнушка ты моя, матушка. Все ладно будет... Чистенько станет перед троном, как вот на ладошке... И ступай... И веди царя Ивана Алексеича... А мы, ваши рабы и слуги, на вас станем радоватца да поминать, как мы вас, государей, на царство ставили. И будет нам от всей земли слава вечная...

— Будет, будет... Уж што и говорить. Я вот, князь, попытаюсь к Наталье пройти. Може, ныне все и прикончитца... А ты за своими ступай...

— Иду, иду, матушка-царевнушка... Да вот, послушай, ещё одно сказать тебе надобно. Как вот и бояре... Стрельцы мои сказывают: пожитки да

домы опальных бояр, какие от побитых да от сосланных остались, да ещё какие будут, — штобы на вольный торг пустить... По цене по самой дешёвой... А покупать бы тех пожитков никто не смел помимо их, стрельцов же... По той причине, что обиды чинили и протори [76] стрельцам все те побитые да сосланные бояре... Да они же, стрельцы, вам, государям, службу верно правят, им-де и жалованьишко какое ни есть от вас, государей, видеть надобно... И ещё...

— Ладно, добро... Так и сделай, как просят... Бояре потолкуют с тобой... Слышь, дядя... И ты, князь Василий... А ныне то сделаем, што сказывала. К Наталье пойдём...

— Пусть ищут, пусть берут! — только и сказала Наталья Софье в ответ на все доводы царевны. И так поглядела на золовку, что даже эта твёрдая девушка почувствовала смущение.

— Как знаешь. Стрельцы до завтра сроку дали. Завтра я ещё приду, — сказала Софья и вернулась к себе.

На другое утро, около полудня, когда царевна Софья с царицей Марфой и боярами направились опять к Наталье, зазвучали набатные колокола. Новая жертва попала в руки стрельцам.

Доктор фон Гаден, одетый в нищенское рубище, два дня скрывался в Марьиной роще, не смея выйти из чащи даже для того, чтобы попросить у кого-нибудь из окрестных жителей кусок хлеба.

Его лицо и наружность были всем слишком хорошо известны, и бедняк не решался выйти, опасность была слишком велика. Но голод сломил старика.

Прикрыв, насколько было возможно, лицо, пробирался он по улицам Немецкой слободы к знакомому аптекарю-голландцу. И уже был близко от его усадьбы, как показалась кучка стрельцов.

— Стой... Што за птица?.. Не из Верху ли подослан, от лиходеев царских?.. Оттуда много таких старцев шлют... Пощупаем и этово... Не зря приказ дан: всех бродяг имать...

И один из стрельцов сбил шапку с Гадена.

— Ну-ка, разглядим, што за старец, откудава?

— Братцы, — крикнул радостно другой, пожилой бородач, — да это ж Данилка проклятый... Знаю я ево... Как в Верху был — он и мне раз снадобья своево давал проклятова. Занедужилось мне тогда... А я при государе был... Он, он, еретик, чернокнижник, дружок матвеевский... Волоки, ребята, ево прямо к батюшке нашему ко князю Ивану... Пожалует он за такую находку... Тащи...

И старика, оглушённого, полубесчувственного, приволокли в Кремль, к Золотой решётке, где проходили в эту минуту царица и царевна по галерее Красного крыльца.

— Софьюшка, голубушка, слышь, гляди, — старика волокут... Пойди скажи им, — стала молить царица Марфа Софью.

И не хотела глядеть царица, а взоры её были прикованы к отвратительному зрелищу.

Дряхлое, худое тело моталось в руках у палачей, которые хотели допытаться у Гадена: где он крылся всё время? Требовали, чтобы сознался он в колдовстве и в том, что отравил царя Федора по наущению Нарышкиных.

— Не послушают они меня, — покачав головой, сказала Марфе царевна Софья. — Вот сама увидишь.

И двинулась со всеми окружающими туда, почти к самому месту, где палачи играли роль судей, подвергая допросу полумёртвого старика, истощённого голодом, обессиленного страхом смерти.

Хованский тут, конечно, разыгрывал главную роль и, допрашивая Гадена, пересыпал вопросы гадкой бранью и проклятиями.

— Ты, жидовин треклятый... Еретик, волшебник, семя адово. Што молчишь? Отмолчатца мыслишь... Ну уж не жди тово... Тут мы судим, а не бояре безмозглые, которых морочил ты... Видишь, какие молодцы... За веру святую, за государя-батюшку душу положим, спуску никому не дадим... Кайся же, как на духу, треклятый... Ткни ему по скуле, Сенька... Раскроет зев-то... Ишь, и губы склеил... Ровно мёртвый... Слышь, еретик? Скажешь все, не станешь покрывать Нарышкиных, объявишь народу, как они подкупали тебя: царя бы усопшего, Федора, извести... Милость тогда

явим тебе, собаке. Одним разом покончим с аспидом. А молчать станешь... Ну, не взыщи тогда... Гей, огоньку несите... Да шпынечков. Мы и тут, не хуже как в застенке, с им поуправимся...

— Стой, не надо, — властно заговорила Софья, совсем приближаясь к месту пытки. — Слышь, князь, облыжно на доктора донесли... Я вот и царица Марфа Матвеевна своими очами видели: по правде службу правил Гаден... Все дни была я при брате-государе. И каждое снадобье, какое готовил, сам опробует, бывало, сперва... И остаточки допивал. Можешь мне поверовать. Чай, и вы знаете меня, люди добрые. Так пустите старца... Пусть живёт.

— Пустите, ох, пустите... Што вам от него? Я за него и выкуп дам, коли надо... Не повинен дохтур... Я не раз видела... Вот, на крест вам божуся, на церковь Божию... Откушивал он и питьё... И порошочки всякие пробовал... Пустите ж его. Челом вам бью... Князь, не губи старика... Люди добрые, не убивайте его...

И до земли поклонилась стрельцам и Хованскому царица Марфа.

Палачи, державшие Гадена, против воли отпустили старика. Другие переглядывались, негромко переговаривались между собою. Задние, которым плохо было видно и слышно, что творится на месте допроса, влезали друг другу на плечи, кричали передним:

— Што же стали? Кончайте с жидовином — да на Пожарево... Али царицы сами, государыни, допрос ведут?

Передние им не отвечали. Они поглядывали на Хованского, ожидая, что скажет их батюшка Тараруй.

Гаден при первых звуках знакомых женских голосов словно ожил.

Раньше — чтобы не глядеть в глаза смерти, в лицо своим мучителям-убийцам, — он зажмурился крепко, сжал плотно бледные, тонкие губы, на которых темнела засохшая липкая пена, и только мысленно молил небо о спасении, мешая старые, полузабытые молитвы израильского народа с новыми, заученными позже, когда он, последовательно становясь католиком, протестантом, наконец принял православие, подобно своему сыну.

Костлявая, бескровная рука была прижата у него к груди, и ею он то осенял незаметно себя латинским крыжем [77] , то творил безотчётно троеперстное знамение креста, то ударял слегка в грудь кулаком, как это делал ещё юношей, совершая моление в синагоге.

И голоса Софьи, царицы Марфы показались ему райскими голосами. Очевидно, Бог услышал мольбы старика, прислал спасение.

Преодолевая страх; раскрыл Даниил-Стефан старческие, воспалённые глаза, сделал осторожное движение и вдруг с раздирающим воплем кинулся прямо к ногам обеим женщинам. Он приник к их коленям, целовал их платье, жалобно выл, охал и бормотал, невнятно, прерывисто шептал своими пересохшими губами:

— Ангелы Божий... Спасли... спасли... Да воздаст вам Господь Адонаи [78] ... Бог Израиля, Христос распятый и Богоматерь, Пречистая Дева и все пророки... Я же знал, што вы спасёте. Разве ж я не лечил мою царевну Софьюшку, когда она ещё вот какой девочкой была? Когда ей бо-бо было... И старый Данилко разве не помогал ей? И ночи проводил у её постельки... И царицу Марфу лечил старый Гаден... И помогал... Всем помогал. А если Бог не хотел дать веку царю Федору Алексеевичу, моему благодетелю... Чем же виноват старый лекарь?.. Он старый. Ему, Данилке, и так скоро помирать... За что же мучить ево?.. Бог увидел... Бог спас...

— Ну, буде, продажная душа... Не погневайтесь, государыни... А не жить ему, еретику. Вон и тут колдует... Глаза отводит вам, государыням, как отводил при самом государе опочившем... Вам виделось, пьёт свои снадобья да зелья пагубные жидовин-колдун. А он и не отведывал их. Глаза вам отводил... Ступайте с Богом по своим делам государским... Вон и тут он свои чары творит... Крыж латинский из руки делает да троеперстное знамение... Один конец еретику. Собаке — смерть собачья...

Так неожиданно, грубо прозвучал голос Тараруя. Князь сам рванул с земли Гадена, отбросил его от обеих заступниц — прямо к палачам, которые сейчас же снова ухватили старика.

Марфа задрожала, видя, что делают с Гаденом. Но не могла двинуться с

места.

Тогда Софья, лицо которой потемнело от сдержанного гнева и ярости, охватила рукой царицу и почти насильно повела её прочь. Только взгляд, которым обменялась царевна с Милославским, не предвещал ничего доброго Хованскому. Жалобные крики старика, которого тут же стали добивать стрельцы, долго доносились до слуха женщин, торопливо покидающих место казни.

Тяжела была сцена, которая разыгралась сейчас на площади у Золотой решётки.

Но не меньше перестрадала Марфа и во время короткого свидания Софьи с Натальей, на которое почему-то сочла нужным привести её царевна.

— Как скажешь, матушка-государыня? Надумала ль, о чём я толковала вчор? Мешкать не приходится. Слышишь, што у решётки творит народ? Видела, какую они расправу чинят с боярами и с другими, хто не по их воле делает... Пожалей себя... нас всех... бояр... И сына своо пожалей, царица. Гляди, волна хлестнёт — все слизнёт... Богом тебя молю, дай весть Ивану Кириллычу: вышел бы сам... Не ждал бы, пока дворец и терема со всех четырех концов подожгут... Тогда поневоле выйдет...

Ни звуком не отвечает Наталья. И только горящие ненавистью и презрением глаза прожигают Софью.

— Матушка-государыня, — заговорили тогда тётки царевны, которых тоже позвала Софья за собой, — смилуйся надо всеми нами... Скажи, где Иван Кириллыч. Пусть выйдет. За што нам погибать...

— Да, может, и нет ево в терему... ни во дворце... Может, бежал он... Вот и скажите вашим душегубам... Не была я Иудой и чужим людям, и своих не предам на казнь смертную, на лютое мучительство...— ответила тёткам Наталья.

А сама все не сводит глаз с Софьи.

"Иуда"... это мне она", — подумала царевна. Но не смутилась нисколько. Большую муку пережила девушка позапрошлой ночью. Теперь только взгляда царицы Натальи не может выдержать Софья. А все другое ей

нипочём.

И тут же снова заговорила:

— Государыня-матушка, што уж так разом: и казнь, и пытку поминаешь. Гляди, не звери же они. Люди тоже. Увидят, што волю их сотворили, — и подбробнее станут... Ну, сослать куды алибо в монастырь, в келью уйти прикажут и брату, и родителю твоему. Уж, видно, такова воля Божия. Он из праха людей подьмлет и во прах низвергает.

Сказала — и глядит: дошла ли до цели стрела? Удачно ли напомнила царевна ненавистной Наталье о низком происхождении, о бедности, из которой царь Алексей вознёс её на высоту трона.

Но Наталья словно и не слышит ничего. И не плачет даже. Теперь заплакать нельзя. Лучше пусть разорвётся грудь, только бы Софья не видела слез, не слыхала рыданий и жалоб Натальи.

— Государыня, — заговорили наперебой бояре, боярыни, тётки, все, кто тут был, — и вправду... Велика милость Божья... Под Его святым осенением... Пусть выйдут обое. Патриарха позовём... Иконы возьмём... Ужли не послушают?.. Чай, уж напилися крови изверги до горлушка... Може, не отринут слез и молений наших...

Долго слушала, не двигаясь, Наталья. Потом поднялась, обратилась к матери:

— Матушка, иди в терем к царевне Марье... Зови брата. Веди ево к Спасу Нерукотворенну... А там да буди воля Божия... Скажи... скажи брату... не предавала я ево... Скажи... Да ты сама слышала... Да Петрушу туды покличь... Пусть видит и он... Пусть помнит... пусть...

Она не досказала. Ноги подкосились, не стало голоса, померкло в глазах.

И снова безмолвная, как мёртвая, опустилась она на место, сидит, не шелохнётся.

Подняли её боярыни, повели в дворцовую небольшую Церковь на Сенях, где хранился древний чудотворный образ Нерукотворенного Спаса.

Привели и Ивана Нарышкина туду. Пока пришлось прятаться по чуланам и похоронкам в покоях доброй царевны Марьи Алексеевны, исхудал

красавец Нарышкин. Обрезанные коротко волосы ещё больше сделали скорбным, страдальческим весь облик заносчивого, легкомысленного прежде юноши.

Словно отпевание над живым мертвецом совершалось в тесной, небольшой церкви. Кончилось моление. Иван исповедался, приобщился и был пособорован, как умирающий.

А глаза его горели жаждой жизни и огнём молодости... Молодая грудь вздымалась так порывисто и сильно...

Не выдержала Наталья:

— Софьюшка, доченька моя милая... Прости, за все прости, в чём виновата перед тобой... В чём мы с роднёю провинились перед вами всеми... перед сыном Иванушкой!.. Пускай... пускай он царит... Петруша хоть и погодит мой... Софьюшка... Не губи... Все от тебя идёт... Ты все можешь... Спаси... Не губи брата... Гляди: молод он... Гляди: какой он... Пожалей его... Молю тебя...

И, валяясь в ногах у Софьи, Наталья ловила её руки, целовала их, обливала слезами.

С непонятым, не детским спокойствием смотрел до сих пор Пётр на все, что творилось перед ним. Полуоскалив стиснутые зубы, сжав кулаки, мальчик боялся сделать малейшее движение, издать хотя бы один звук. Ему казалось, что тогда он станет каким-то страшным... Кинется на неё, на ненавистную сестру Софью, будет выть, кричать, вонзит свои зубы глубоко-глубоко в большие обвисающие щеки царевны, станет рвать их... А за это — будет горе и матери, и дедушке Кирилле, и всем... Вот почему стоял и молчал мальчик. Только когда упала Наталья в ноги падчерице, он с недетской силой, стараясь поднять её, отчаянно, громко зарыдал. Подбежал Куракин и почти унёс на руках Петра, потерявшего сознание.

Все стояли, потрясённые, безмолвные, не имея сил вмешаться, сказать что-нибудь, на чтонибудь решиться.

— Матушка, царица-государыня, — наконец заговорила и Софья каким-то сдавленным, горловым, не своим голосом.

И сильными руками подняла Наталью, прижав её к своей рыдающей

груди, только и повторяя:

— Матушка, государыня... Да што ты...

И, наконец подавив громкие рыдания, заговорила быстро, повышенным, но искренним голосом:

— Кабы могла я... Богом клянуся... Вот на сей образ чудотворный Спаса Пречистого, Христа Искупителя возлагаю руку свою... Не стала бы говорить тебе... Не искала бы погибели Ивановой... Да, слышь, нет помочи иной... Коли не сделать по прошению стрелецкому — и Ване, и Петру — братьям-государям не жить... Сама ли не слышала, какие речи вели с тобой стрельцы?.. Угрозы их помнишь ли? И совершат, как грозили... Вот и подумай: братьев ли государей на смерть отдавать нам али Ивана-дядю на крыльцо вести?.. Сама решай... сама думай...

Но Наталья все силы исчерпала в последнем порыве.

И только молча взяла под локоть брата. Софья с другой стороны держит его и говорит:

— Я попытаюсь... Я скажу им... Пусть не отымают жизнь... Не страшись так уж, дядя Иван Кириллыч... Бог даст... Охранит тебя Спас Нерукотворенный...

Патриарх встал сзади с образом Одигитрии-ладычицы в руках. Нарышкин обернулся к Софье:

— Челом и я тебе бью, царевна... Прости за обиды мои, вольные и невольные. Дай Господь, моей бы кровью и кончилось это смятение... Стерплю до конца... Как Бог заповедал, за нас распятый...

И трижды, по обычаю, прикоснулся к губам предательницы своей.

Силой веры вдруг словно возродился этот человек и твёрдо умел встретить минуту смерти.

Колебалась, как огонёк в лампаде, слабая надежда на спасение теплилась в душе у всех присутствующих, подогреваемая властным внушением царевны Софьи.

Как только Иван Нарышкин с Натальей и Софьей показался на крыльце в виду мятежников, заполняющих всю площадь, пьяных, возбуждённых, страшных на вид палачей в одних рубахах с обнажёнными руками, всем

стало ясно, что спасенья нет.

Бессознательно вырвался Иван из рук женщин и кинулся к патриарху, под защиту образа Богородицы. А Софья и Наталья упали на колени, стали молить стрельцов о пощаде.

Затрещали барабаны, загудел набат... Однако толпа, не ожидавшая такого зрелища, колебалась.

Сердца начали смягчаться. Послышались голоса:

— В келью ево!.. Навеки заточить лиходея!..

Но тут вмешался рок.

Пьяный, с раскрытой грудью, стоял впереди других стрелец, избитый плетью по приказанию Нарышкина боярскими вершниками за то, что вовремя не свернул коня перед поездом боярина.

И теперь, не глядя ни на кого и ни на что, видя перед собой только ненавистное лицо обидчика, здоровый парень медленно, грузно взошёл по ступеням, ухватил за волосы Ивана и потащил вниз, не чувствуя, как за боярина цепляются в судорожном усилии слабые пальцы царицы Натальи.

Упала ниц головой на ступени сестра, чтобы не видеть мучений и гибели брата...

А стрельцы с гиком, с воплями радости, лавиной живых тел ринулись к Константиновскому застенку, где заранее решено было сделать допрос и пытать Нарышкина.

Недолго пытали его.

Стиснув зубы, юноша не произносил ни звука, когда ему жгли пятки, вбивали гвозди под ногти, рвали кнутами кожу и тело. Только порой, собрав немного влаги в пересыхающих, потрескавшихся губах, брызгал он слюной и пеной прямо в лицо мучителям.

— Не гнёшься, горденья? Ладно, подрубим спесь, коли так, — крикнул Хованский. — На Пожар ево. На Красную площадь ведите, ребята. Согните кадык боярский гордый, неподатливый... С головой срежьте злобу лютую...

Почти обнажённого привели Нарышкина к Лобному месту, поставили

среди груды изрубленных тел и отрубили сперва руки, потом обезглавили страдальца и отсекали ему обе ноги. А в это время опьянелый стрелец громко возглашал те мнимые вины, за которые четвертуют Нарышкина. И даже эти куски ещё долго дробили ударами секир озверелые мучители. А голову, наткнув на пику, выставили здесь же, на всеобщее поругание...

В это же самое время бояре выдали другой толпе стрельцов старика Кирилу Полуэхтовича. В келье Чудовского монастыря, куда его привели, посидел он недолго, пока все изготовили для пострижения; здесь же чудовский архимандрит Адриан совершил обряд и боярин Кирила стал иноком Киприаном.

Ночь пробыл в келье старик под крепким караулом, а рано утром его повезли в Кирилловскую пустынь, далеко, на Белоозеро...

Казнь Ивана была как бы последним взрывом, последней вспышкой кровавой бури, которая целых три дня бушевала над Москвой, особенно над Кремлём и царскими палатами. Восемнадцатого мая снова пришли мятежники всей толпою в Кремль, но уже без оружия.

Да и ни к чему было оно. Одно имя стрельцов наполняло ужасом сердца. Все, чего бы они ни пожелали, исполнялось без малейшего возражения.

Входили они в дома — их принимали, словно самых дорогих гостей, поили, кормили, одаряли вещами и деньгами. В кабаках и кружалах — тоже не было ни в чём отказу "верным слугам государевым", как стали величать себя стрельцы.

В Кремлёвских палатах только место царя не было попираемо сапогами стрельцов. А то везде побывали эти незваные гости.

И потому, как только утром восемнадцатого мая выборные заявили, что хотят видеть государей, — их сейчас же привели в Грановитую палату.

Здесь уж собрались все бояре, окольные, патриарх, духовенство. Пётр и Иван сидели, окружённые близкими и родными. Но теперь Петра охраняли только дядьки его и царица Наталья. Не видно было многочисленных Нарышкиных, которые прежде наполняли терема сестры-царицы и покои Петра.

Из царевен была только Софья, сидевшая рядом с Натальей.

Один из выборных, пожилой, краснощёкий, по виду скорей торговец, чем воин, заявил:

— Присланы мы от товарищей челом бить. Порядку на царстве стать надо. А как ево завести — о том боярин, князь Иван Андреич, батюшка наш, заступник, добре знает. Он и поведает про наше челобитье государям и всему боярству и царевичам служащим, кому ведать надлежит.

Челом ударил, отошёл.

Прежде чем кто-нибудь успел отозваться на слова выборного, Софья первая заговорила:

— Знаем мы все, и государи ведают добрую службу вашу стрелецкую. Мыслим, и новое дело, о коем челом бьёте, на добро будет. А все же — потаить нельзя — много и буйного излишества творилось в эти дни. Сказывали мне, не от старых, коренных стрельцов та смута. Ненаказные то поселяне, пришлецы подгородные грабежи да татьбу [79] творили. Да молодёжь безусая, пьяная, котора и старших не слушала и Бога не боялась. А боле штоб того не было. Вот уж и мирные люди собираются добро своё — хоть смертным боем боронить. И град весь опустел. Суда-правды нигде не найти. Приказы опустели... Не везут и хлеба в Москву ниоткуда, убояся лихих людей. Мы и государи слушать рады. А и вы, стрельцы, мои слова послушайте. Сами замиритеь и других смиряйте. Ей-ей, лучше будет. Обещаете ли?

— Твои рабы, царевна... Разумница ты наша... Тебе и государям послужим. Бог видит: все бесчинства сократим... Себя не пожалеем... Любо ли, ребята?

— Любо, любо, — крикнули выборные своему вожаку.

— Бог слышал. Ну, сказывай, што надо, князь Иван Андреич, — обратилась к Хованскому царевна.

Князь вышел вперёд и поклонился. Сын его, Андрей, тоже занял место за плечами у отца.

— Во имя Господа всеблагого, вот што поведать должен вам, государи,

Иван Алексеич да Пётр Алексеич, царица Наталья Кирилловна, да государыня-царица Марфа Матвеевна, и царевна-государыня Софья Алексеевна, да отец патриарх со всем собором, и бояре, князья, царевичи, дума царская. Многие беды нашли на землю от той причины, што царь наш, великий князь, и летами мал, и не старший в роду царевич, на трон вошёл родителя и брата своего, государей усопших. А посему челом бьют защитники трона царского, стрельцы московские и солдаты в полку, што на Бутырках, народ весь, и власти все духовные: стать бы на царство старшему брату, царевичу Ивану Алексеичу, первым царём. А младшему брату, Петру Алексеичу, оставатца на троне ж вторым царём. Как было во времена былые, в Царьграде, при братьях-императорах Гонории [80] и Аркадии, так же при Василье да Константине, земле во благо, людям на радость, государям на прославление. И так тому быть мочно: придут иноземные послы — выходить к ним и принимать их царю второму, Петру, как первый царь здоровьем слаб и глазами скорбен. Войско вести на неприятеля — тому же Петру-государю. А московским государством, землёю всею править купно с боярами — первому царю, Ивану Алексеичу. Так любо ли? — обратился к выборным князь.

— Любо... Любо! А ежели хто не пожелает, воспротивитца тому, сызнава придём с оружием, и будет мятеж немалый, — не выдержав, послали угрозы выборные. И обратились прямо к царевичу Ивану:

— Што же государь сам слова не скажет нам, рабам своим? Волишь ли быть первым на царстве?

— Не молчи. Скажи своё слово! — внушительно, хотя и негромко, заметила брату царевна Софья.

— А што мне им сказывать? — щуря свои больные глаза, угрюмо заговорил Иван. — Поставили — так буду царь. Первым-то уж и не надо бы мне... А и то сказать, буди воля Божия.

— Вестимо: выборные не собою говорят, но Богом наставляемы, — перебила упряма царевна. — Дальше что скажешь, князь Иван Андреич?

— А другое челобитье стрелецкое и земское, всенародное, такое: в

пособие юным государям для многотрудности царского управления — да помогает сестра их старейшая, премудрая царевна-государыня Софья Алексеевна на многие лета. Так, любо ль?

— Любо!.. На многие лета!..

— И нынче штобы от патриарха святейшего собор был созван и приказ был дан: присягу принимать тем обоим государям. И все бы присягою крепко стало. Любо ли?

— Любо, любо!

И один из выборных, подойдя к окну, стал махать шапкой стрельцам на площади.

— Любо, любо!.. — громовым откликом долетело сюда немедленно, и зарокотали барабаны, зазвонили колокола...

Софья выждала, когда стих шум, и в ответ на такую просьбу, похожую на приказание, с поклоном отвечала:

— Все так и повершим, как вы просите, ратники славные, пехота наша верная. Верую: не вашей то волей, Божиим хотением все объявилось. Челом бью за доброхотство ваше. Отныне не стрельцами московскими — надворной пехотой государевой именовать себя почнете. И в начальники назначается вам верный и храбрый слуга царский, князь Иван Андреич Хованский. А в подмогу ему — сын ево же, князь Андрей Иванов. Так любо ли?

— Любо, любо!..

— Да ещё за все заслуги ваши, за промыслы о царстве, о спокойствии земском — жалуем вам, полкам всем стрелецким и солдацкому, што в Бутырках, сплошь по спискам, мал, велик ли человек, все едино — по десять рублёв. Ежли в казне нашей государской враз таких денег не станет, — брать вам ту дачу с патриарших и властелинских крестьян и с монастырских и с бобыльских, также и с приказных людей по окладу, какой идёт им от казны. И с дьяков и с подьячих. Любо ли?

— Любо, любо!.. Любо, государыня-царевна!.. — восторженно отозвались выборные.

От площади снова откликнулось им тысячеголосое, мощное эхо толпы:

— Лю-юю-юбо!..

— Святейший отец патриарх, тебя вопрошаю, — только теперь задала Иоакиму вопрос царевна, — оклады те брать с крестьян твоих и властелинских дозволишь ли али инако укажешь казну собрати?

— Кесарево — кесареви, мудрая царевна-государыня, — только и ответил евангельской отповедью святитель на лукавый, фарисейский вопрос.

Но стрельцы, в большинстве — аввакумовцы, капитоновцы и никитовцы, закоренелые староверы — и внимания не обратили на смирение Иоакима. Снова заговорил Хованский:

— Ещё челом бьют тебе и государям слуги ваши верные, надворная пехота государская. Штобы и на многие годы потом знали люди, внуки и правнуки наши: отчего настало великое побиение за дом Пресвятой Богородицы и за вас, государи; какое великое пособие оказали полки стрелецкие с солдатским Бутырским полком купно, штобы всем то было ведомо: за какие вины побиты столь многие и высокие персоны, даже царской крови близкие, — на том месте, на Красной площади, где изменников тела ныне лежат, — поставить каменный столб с надписями [81] и все действие стрелецкое, службу их верную и вины изменников начертать. И ништо да не посмеет стрельцов тех бунтовщиками либо изменниками звать. Так любо ли, товарищи?

— Любо!.. Любо!.. Столб поставить... Уж тово не миновать... Знали бы все... Столб на Пожаре... на Красной площади... Чтобы все видели... Читали бы ваши слова государские. Чтобы нас не казнили потом за вины за старые.

Софья не была предупреждена о такой затее стрельцов, вернее, Хованского с сыном, пожелавших не только оправдать зверства стрельцов, но и увековечить своё имя вместе с их именами.

Но думать было некогда.

Не умолкая звучало стрелецкое "любо..." и здесь, под сводами тронной палаты, и там, на площадях кремлёвских.

Стоило сказать — нет, кто знает, что выйдет из этого.

— Волят государи, и мы согласие даём на челобитье ваше, — сухо произнесла царица. — Все ли теперь?

— Да, все, кажись, царица-государыня... Челом бейте, братцы-товарищи, государям, государыням да думе всей их царской... А патриарха просите: невдолге бы и увенчал обоих государей, как искони бе [82] , венцами царскими...

— Челом бьём... Венчайте государей поскорее...

Отдали поклоны — и вышли все вместе с Хованским.

На площади снова заговорил перед стрельцами Тараруй.

И на каждое его слово — громкими, дружными кликами одобрения отзывалась толпа.

— Ну, Софьюшка, вот и в царицу попала ты ныне, голубушка. Челом бью на радости, — тихо в этот самый миг сказал царице Милославский.

— Не я... тот царь ещё покуль, вон, што толкует с горланами на площади...

— И то слово твоё верное... Да слышь, сама сказала: "покуль"... Верь, недолго повеличаетца...

В раздумье, недоверчиво покачивая головой, молча поднялась царица.

Но время показало, что старый хитрец Милославский был прав.

## Глава V. СОФЬЯ У ВЛАСТИ

То, что заранее было решено в опочивальне царицы Софьи, на советах с Милославскими, Голицыным и Хованскими, что было оглашено перед боярами и царями устами выборных стрельцких и того же Хованского, — все это скоро получило торжественное, хотя и запоздалое, подтверждение обычным в государстве путём.

Собран был духовный собор и боярская дума, постановили решение, огласили указ, и на двадцать пятое июня было назначено коронование двух братьев-царей.

По случаю этого торжества новые милости были дарованы ненасытным стрельцам... И начиная с двадцать девятого мая каждый день по два стрельцких полка получали полное угощение во дворце.

На большом листе бумаги была дана им жалованная грамота за государственной печатью. Скреплял грамоту Василий Голицын, друг Софьи, объявленный главой Посольского приказа и государственной печати сберегателем, подобно тому, как назывался знаменитый московский канцлер Ордин-Нащокин [83] .

Грамота была выдана шестого июня, и с торжеством, с музыкой и ликованием, держа на голове лист, отнесли его стрельцы в свою слободу.

Когда в Успенском соборе патриарх совершил двойной обряд венчания на царство обоих юных царей, Пётр с Натальей переехали в своё любимое Преображенское. А Москва и власть остались Софье и... князьям Хованским, отцу с сыном.

Оба они окончательно потеряли голову, как это и предвидел Милославский.

Чтоб избежать столкновения с наглым временщиком, Милославский даже прибег к старому средству: не только перестал появляться при дворе, но даже уехал в одну из своих вотчин. И оттуда неусыпно следил за новым недругом своей семьи, хотя и считал его гораздо менее опасным, чем Матвеев и Нарышкины.

Князь Иван и Андрей Иванович не захотели долго ждать и, опираясь на преданность стрельцов, решили не только из-за кулис править царством, а выступить полноправными властителями народа и всей земли Русской.

Приверженец старой "истинной" веры, друг Аввакума, который до самого сожжения своего, то есть до 1681 года, укрывался в доме князя, Хованский надеялся, что стоит заиграть на этой струнке — и вся Москва пойдёт за ним, вся Русская земля.

Успех майского мятежа, в котором Хованский, по его собственному мнению, сыграл решающую роль, опьянил князя.

Недалёкий фантазёр-честолюбец позабыл, что весь решительный переворот готовился много лет сильными, умными людьми, имевшими возможность затратить огромные средства на подкуп властных лиц, на подкуп духовенства, целых полков, целых сословий, которым сулились и давались баснословные выгоды ещё до начала дела.

Забыл он, что в игру вмешали людей, интересы которых самым насущным образом были связаны с успехом или неуспехом заговора.

И переворот совершился не благодаря Хованскому, а при помощи его, и помощи не совсем толковой, даже вредной порой, потому что крайняя наглость стрельцов, порождённая угодничеством и потачками Хованских, восстанавливала против них всех других ратников и целую Москву.

Стрельцы это чуяли и потому стали вести себя осторожней. Да и просто устали от всех последних волнений. Им хотелось отдохнуть.

И уж, конечно, не станут они из-за веры снова подымать мятеж и учинять новый разбой. Ясно было как день, что все партии, все роды, стоящие у власти, забудут свою рознь и сольются, чуть вспыхнет какая-нибудь религиозная распря. Её погасят при самом возникновении, чтобы не было опасности для царства, чтобы оно не распалось в самой ужасной междоусобице — религиозной.

Все это видели и понимали, кроме Хованских да небольшой кучки фанатиков-попов, готовых, по примеру Аввакума и попа Лазаря, и на сожжение пойти, только бы хоть на миг доставить торжество "истинной вере Христовой и двоеперстному знамени креста"...

Упорно, без оглядки Хованский повёл свою игру. И не одна вера заставляла его сделать такую решительную ставку. Свергнуть патриарха, женить сына на царевне Катерине Алексеевне, поставить своего святителя на Москве, убрать обоих малолетних царей, объявить государем сына, Андрея Иваныча Хованского, из рода Гедиминов, Ягеллонов, Корибута и других литовских великих князей — вот какова была затаённая цель старика, которую поддерживал, конечно, и князь Андрей. На первых порах — где угрозой, где посулами, — Хованский успел добиться того, что в Грановитой палате 23 июня, за три дня до венчания царей, подали раскольничьи попы во главе с Никитой Пустосвятом челобитную, в которой обличали мнимую ересь правящей церкви и требовали водворения старых книг и древнего порядка богослужения.

Сначала челобитная встревожила патриарха и царей, вернее — царевну,

которая думала, что снова все двадцать полков стрелецких затеяли поиграть судьбой царства. Но скоро выяснилось, что только девять полков стоят за старый крест. А остальные довольно равнодушны к этому вопросу. Ответа на челобитную решили сейчас не давать. Но всё-таки пятого июля под предводительством исступлённого изувера, расстриженного попа Никиты, прозванного Пустосвятом, большая толпа стрельцов и московских староверов так грозно на Лобной площади требовала к ответу патриарха, что во избежание вспышки народной всех крикунов позвали в Грановитую палату.

— Потому-де, — уговаривал бунтарей старик Хованский, — что и царевны и царицы волят быть при том словопрении. А на Красную площадь, на Пожар — выйти им невместно.

Сначала раскольники не решались пойти, опасаясь, что это ловушка, что во дворце их всех переловят, как мышей, посадят на цепь. Но Хованский и стрельцы обнадёжили своих наставников, расколоучителей:

— Головы за вас положим, а в обиду не дадим. Как вам — так и нам...

Имея за собой подобную поддержку, раскольники, особенно Никита, вели себя нагло. И даже в споре Пустосвят ударил по лицу архиепископа Афанасия Холмогорского. Раньше Афанасий сам был начётчиком у аввакумовцев, но потом нашёл более благоразумным и спокойным пристать к правящей церкви. Конечно, бывший раскольник особенно сильно возражал неистовому Никите, и тот собственноручно покарал отступника, который "аки Люцифер отпал от Господа"...

До вечера длились прения. Патриарх сам принял в них участие. Но, конечно, к соглашению не пришли.

И когда Софья за поздним временем распустила собор, назначив его продолжение на другое время, — раскольники кинулись к Лобному месту с криками:

— Перепрехом и посрамихом всех архиереев и патриарха самова. Тако веруйте... Тако творите...

И всему народу показывали двоеперстное крестное знамение...

Торжественно принял своих попов-подвижников Титовский

староверческий полк. Это встревожило Софью.

На другое же утро вызвала она к себе выборных от всех стрелецких полков.

Они явились. Только закоренелые титовцы не прислали ни одного человека.

Взволнованная, вышла к ним царица и сразу стала рисовать печальную картину, какая ждёт царство, если они, опора трона, последуют за безумными изуверами, не умеющими понять того, что читают...

— Нас ли, государей ваших, и земли спокойствие променяете на шестерых чернецов-распопов? Ужли святейшего кир-патриарха им предадите на поругание? Горе мне... Не вы ли спасли и наши жизни и все царство, — со слезами уж заговорила эта лукавая и умная правительница, — кровь свою проливать за нас не щадили. И мы помним о душах ваших. Верьте, спасётесь и без тех юродов... Не слушайте и иных людишек лихих, хотя бы и высоково были звания и поставлены над вами. Как встали — так и сведены будут. А наши к вам милости не престанут притекать. Не хватит казны, государи-цари и я сама кикю [84] останную в заклад отдам, продам крест золотой нательный — вам все дам, коли надо будет, коли нужду какую узнаете. Служите и нам государям, как служили, прямите по правде, по присяге святой, как во храме Господнем присягали.

Первые отозвались выборные Стремянного полка:

— Да не крушись так больно, государыня-царица... Уж сказать по правде, мы за старую веру не стоим. И не наше это дело. То дело и власть патриарха да всего священного собора.

— И нам до веры дела нет. Верим про себя. А в дела государские да патриаршские мы не суёмся, — в один голос поддержали и остальные выборные.

Такой ответ сразу успокоил Софью. Она теперь знала, как ей поступать.

Выборные были одарены деньгами, чинами. Их тут же хорошо угостили и отпустили домой.

И везде по полкам было объявлено выборным:

— В споры о вере, какая лучше, старая, новая ли, мешаться стрельцам не надо.

Но далеко не все рядовые стрельцы согласились с таким решением. Они понимали, что выборные не даром так поддерживают волю Софьи. И им хотелось получить тоже долю в милостях двора.

А титовцы из преданности расколу грозили новым мятежом и, намекая на рокот барабанов из собачьей кожи, которые гремели в мае, толковали по кругам:

— Добром с этими дворцовыми не разделаешься. Пора сызнава за собачьи шкуры приниматься...

Этот полный угрозы каламбур пришёлся не по душе Софье.

Она послала своих приспешников и призвала к себе рядовых стрельцов, попов слободских, вообще всяких коноводов [85] , подкупала их словами и рублями, и кончилось тем, что к концу недели стихли всякие толки о "старой вере" на стрелецких сборищах.

Сейчас же царевна дала приказ; все главари раскола были переловлены и засажены за крепкие затворы на Лыковом дворе.

Недолго тянулся суд.

Никите Пустосвяту отсекли голову как раз на седьмой день после прений в Грановитой палате: 11 июля 1682 года. А остальных — кого засадили в тюрьмы, кого разослали по дальним местам. Немало из мелких участников этой короткой смуты успело, разбежаться по разным городам.

Безнаказанными остались главные виновники натиска раскольников на патриарха, на самих царей: Иван Хованский и сын его, Андрей.

Но и на них уже Софья ткала крепкую паутину. И потому раньше времени не трогала этих сильных недругов своих, чтобы не пришлось жалеть о несвоевременном выступлении.

Мятежный дух нет-нет да вспыхивал у стрельцов, старательно подогреваемый Хованскими.

Но Софья умышленно делала вид, что не замечает ничего. По совету Милославского и по своей осторожности царевна хотела, чтобы Хованский совершил целый ряд поступков, способных восстановить

против наглеца не только бояр, но и всех других, до стрельцов включительно.

Ждать пришлось недолго.

Мало того, что Хованский угрожал всем, несогласным с его мнением, обещая натравить стрельцов, — он унижал самых заслуженных бояр.

— Ни один из вас, — говорил он им часто, — не служивал, подобно мне, государям моим. Куда вас ни пошлют — везде и всюду государство вред терпит от худой, неразумной, нерачительной службы вашей... Только поношение было земле Русской от вашей безумной гордости и спеси боярской... Мною лишь все царство и держится. Меня не будет — будете все вы на Москве по колена в крови бродить...

И сам же сеял князь смуту в полках.

Больше месяца прошло, пока Софья решилась действовать, и то не раньше, чем пошли толки, что Хованский готовит стрельцов к новому мятежу, поджигает умы рассказом о том, как на совете отказали выдать стрельцам в пополнение жалованья сто тысяч рублей.

— Дети мои, уж и мне за вас стали грозить бояре... Мне боле делать нечего. Как хотите, так сами и промышляйте, — открыто объявил "батюшко" своим деткам.

Немудрёно, что те снова стали точить свои бердыши и копья.

Только Стремянный полк по-прежнему не принял участия в волнениях.

И вот, когда настал чтимый Москвою праздник Донской иконы Богоматери, когда двор, окружённый стрельцами и народом, должен был совершить торжественное шествие в Донской монастырь — с крестами, с хоругвями, — оба государя и царевна в крёстном ходе участия не приняли, опасаясь убийства, как пронеслись слухи по Москве.

Вместо этого Софья и оба царевича съехались вместе в селе Коломенском, и оттуда был дан приказ Стремянному полку: явиться в полном составе на охрану царской семьи.

— Не дам полка, — заявил было Хованский. — В Киев его посылать надо...

Но стрельцы и сами возмутились против этого назначения, и от

государей пришла строгая грамота: прислать немедленно Стремянный полк.

Хованский, никогда не отличавшийся твёрдой решимостью, и тут уступил.

Стрельцы были посланы.

Первого сентября, когда справлялось Новолетие, то есть первый день Нового, 1683 года, к торжественному богослужению в Успенский собор не явился никто из царской семьи, вопреки древнему обычаю.

Патриарх огорчился, а вся Москва пришла в смущение.

— Покинули нас государи. В ином месте стол поставят. Слышать, от московских стрельцов небезопасно им тут.

Такой слух все настойчивее ходил, в народе, конечно, не без помощи людей, преданных Софье.

Смутились и стрельцы... Вся их сила была, конечно, в их близости к трону, в том, что они служили охраной, защитой царям, наподобие римских преторианских когорт...

А без этого — как воины, как войско — они никуда не годились. И самим стрельцам, и всей Москве это было слишком ясно.

Скрытое недовольство забродило в полках против Хованского.

— Из-за Тараруя-батюшки и на нас разгневались государи и царевна-матушка. А уж от ней ли нам было мало милостей...

Так толковали в слободах...

И снова появились там какие-то, неведомые прежде, люди: шептались, уговаривали, давали деньги, сулили награды, почести.

И когда, по мнению Софьи, почва была достаточно подготовлена, — на воротах Коломенского дворца появилось подмётное письмо, порешившее участь Хованских.

Это было второго сентября.

Надпись на письме была такая:

"Вручить государыне царевне Софье Алексеевне, не распечатав".

Собрав весь двор, который был там, в Коломенском, при государях и царевне, Софья велела огласить письмо.

Думный дьяк Шакловитый, с недавних пор вошедший в милость к Василию Голицыну и царевне, откашлялся и стал читать:

— "Царям, государям и великим князьям, Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу, всея Великия и Малыя и Белья России самодержцам, извещают московский стрелец да два человека посадских людей на воров и на изменников на боярина князя Ивана Андреевича Хованского да на сына его, князя Андрея Ивановича: на нынешних неделях призывали они нас к себе в дом 9 человек пехотного чина да 5 человек посадских людей и говорили, чтобы мы помогли им достигнуть царства Московского, и чтоб мы научили свою братию, чтоб ваш царский род извести, и чтоб прийти большим собранием, изневесть в город и называть вас, великих государей, еретическими людьми, и побить вас, государей обоих, и царицу Наталию Кирилловну, и царевну Софию Алексеевну, и патриарха, и властей; и на одной бы царевне князю Андрею жениться, а достальных царевен постричь и разослать в дальние монастыри; да бояр побить: Одоевских трех, Черкасских двух, Голицыных трех, Ивана Михайловича Милославского, Шереметевых двух, и иных людей из бояр, из дворян, из гостей за то, что будто они старую веру не любят, а новую заводят. И как то злое дело учинят, послать смущать во все Московское государство и по городам, и по деревням, чтоб в городах посадские люди побии воевод и приказных людей; а крестьян научать, чтоб они побии бояр своих и холопей боярских; а как государство замутится, выбрать б на Московское царство его, князя Ивана, а патриарха и властей поставить, кого изберут народом, которые б старые книги любили; и целовали нам на том Хованские крест и образ Николы Чудотворца, и мы им целовали тот же крест, чтоб нам злое дело делать всем сообща; а дали они нам всем по двести рублей денег человеку и обещались они нам перед тем же образом, что если они Московского государства достигнут, и нас, стрельцов, которые в заговоре были, пожаловать в ближние люди, а нас, посадских людей, — гостиним именем, и торговать во веки беспошлинно; а стрельцам велели наговаривать: которые будут побиты, и тех животы и вотчины продавать, а деньги отдавать им, стрельцам, на все приказы. И

мы, три человека, убоясь Бога и памятуя крёстное целование и не хотя на такое злое дело дерзнуть, извещаем вас, великих государей, чтоб государское здоровье оберегли; и мы, холопы ваши, вам, государям, объявимся, и вы, государи, нас, холопей своих, за наши верные службы пожалуете; а имён нам своих написать невозможно; а приметы у нас: у одного на правом плече бородавка чёрная, а у другого на правой ноге поперёк бедра рубец — посечено, а третьего объявим мы, потому что у него примет никаких нет".

— Пречистая Богородица, што слышать довелось! — с прекрасно разыгранным ужасом воскликнула царевна. — Где же укрыть нам себя и весь род царский от злоумышлений всяческих?..

Сейчас же, не теряя ни минуты, Голицын и Шакловитый составили окружные грамоты, чтобы разослать их по городам призывая дворян и всякого рода служилых людей с оружием и конями на защиту царской семьи и всего государства которому угрожает гибель от заговорщиков Хованских.

А затем весь двор двинулся дальше, сперва в обитель Саввы Сторожевского, что за Звенигородом, но, найдя убежище это ветхим и ненадёжным, — поспешно укрылись за высокими каменными твердынями Троице-Сергиевой лавры.

И сюда немедленно стало стекаться молодое и старое служилое дворянство, радуясь случаю послужить государям и при этом получить награды и разные выгоды, неразлучные с близостью к царскому двору.

Как громом поразило Хованского известие, что по городам посланы "призывные грамоты".

Старый хитрец понял, что все пропало. Но думал ещё выиграть и на прежних заслугах своих, и на показной покорности.

Ещё на полпути к лавре получено было письмо от Хованского.

На Москву ехал сын малороссийского гетмана Самойловича с важными поручениями. И "батюшко стрелецкий", делая вид, что не догадывается о грозящей ему опале, спрашивал, как поступить с почётным гостем. Как принимать и посылать ли его немедленно к государям в их

местопребывание?

— Ишь, старый дурак, чем отыграть свою душу мыслит от секиры, — проговорила Софья, пробежав письмо. И тут же велела Шакловитому написать самый ласковый ответ от имени государей.

— Пусть-де сам пожелает к государям в Воздвиженское. Там и потолкуют.

На первое письмо Хованский не ответил и не поехал.

Тогда были написаны приказы стрелецким полкам: выслать выборных к государям. Вслед за этими грамотами сама Софья поспешно выехала в Москву.

— Очами увижу и ушами услышу: жить ли нам ещё, государям, на Москве или отойти надо в иные земли, — объявила она перед отъездом.

Первым делом повидалась царевна с Иваном Хованским.

Спокойно выслушала девушка град жестоких упрёков, какими осыпал её несдержанный гордец, и со слезами на глазах отвечала:

— Вот и вижу навет был ложный на тебя, князь. Говоришь не как лиходей и губитель, а как верный слуга и друг, коему обиду нанесли государи, сами не желая того. Да не кручинься. Дворяне, что съехались, и на войну идти пригодятся, куда ты стрельцов посылать ладил. А ты со стрельцами при нас останешься, как и был. Я сама вперёд поеду. Все скажу государям. И ты за мною следом жалуй к ним. Опаски не имей... Там — и сестра Катерина. Может, и доброе дело сделаем. Вот и роднёй станем. Не найдёшь причин губить родных своих, хоть и желал бы...

И Хованский, и стрельцы были обмануты такими речами, А тут, не успела уехать Софья, пришла вторая грамота от царей, ещё более ласковая, чем первая.

Бестолковый всю жизнь, Хованский нелепо сам сунул голову в удавку.

В Москве, среди стрельцов, князь ещё мог чувствовать себя более безопасным, мог поторговаться с Софьей, если бы даже нагрянули за ним отряды дворян.

Но, как трус, он не умел спокойно обсудить дела. Отчаяние, часто заменяющее людям трусливым отвагу, толкнуло князя на явную гибель.

С тридцатью семью стрельцами всей свиты выступил Иван Хованский из Москвы по зову царевны. Софья не верила известию о такой скромной свите. Она заподозрила, что здесь кроется какая-то хитрость, которой не могли разгадать её агенты в Москве: дьяк Горохов, Плещеев, Хлопов и Сухотин.

В виде разведочного отряда высланы были копейщики, рейтары и городовые дворяне под начальством князя Лыкова.

В Пушкине настигли они Хованского, старика, схватили и взяли под караул со всеми его стрельцами.

Молодой князь Андрей был также недалеко, в своей усадьбе, на Клязьме-реке. Его тоже взяли без сопротивления, привезли в Москву.

Не давая возможности обоим явиться перед царями-братьями, бояре во главе с Милославским нарядили скорый и безжалостный суд.

Без допроса, не вызывая свидетелей, не принимая оправданий, объявили приговор.

Семнадцатого сентября, как раз в день ангела Софьи, судили обоих князей: отца и сына приговорили к смерти — и тут же казнили.

Стрелец Стремянного полка, понаторевший в убийствах во время майских мятежей, обезглавил первым отца, так как палача при царской свите не нашлось.

— Умираю безвинным, как и отец мой, — в последний раз произнёс Хованский. — Не дали нам и сказать, кто виной тех составных действий, кои нам в вину поставлены. Или побоялись, што первые персоны от тово устыдятся. Да простит вам Бог нашу безвинную кончину, бояре. Сами не дожидетесь такой же... Есть Бог на небесах...

Сказал, поцеловал труп отца, лежавший обезглавленным ничком на земле, и положил голову на плаху, которая была заранее приготовлена здесь, на Красной площади, ещё до прибытия Хованских.

И всем тридцати семи выборным, захваченным с князьями, тоже срубили головы.

Но бояре не подумали о том, не вспомнила и Софья, что на казнь отца глядел младший сын князя Хованского, Иван Иванович, стольник царя

Петра.

Ночь ещё не настала, как он прискакал в Москву, прямо в стрельецкие слободы. С ним вместе прискакал товарищ его, Григорий Языков.

— Братья, други, што поведаю вам. Слов нет от горести. Не стало моего родителя и вашего общего отца-защитника. Убили его бояре без суда, без розыска, без ведома царского, как режут пастухи овцу чужую, забеглую...

— Переведут они и вас всех в одночасье! — кричал Языков. — Одоевские да Голицыны хотят всю надворную пехоту вырубить. Едучи дорогою, мы видели: несметное множество воинов со всех сторон идёт к Москве великим боем, чтобы в слободах ваших извести всякую душу живую, до последнего младенца... И дворы пожгут... Князь Андрей с северцами — от Твери идёт. Князь Пётр Урусов от Владимира полки ведёт. Боярин воевода Шеин — на Коломенском пути с рязанцами своими. А воевода Волынский от Можайска подошёл... Конец вам приспел, коли не станете за себя, за жён, за детей ваших...

Было дело уже к полуночи. Недолго совещались стрельцы и решили: отсидеться в Москве, не пускать сюда ни друга, ни недруга.

— От татар отсиживались, и своих не пустим, коли што...

После многих дней тишины снова зазвучал набат в самую полночь.

Поднялась на ноги испуганная Москва: неужели снова мятеж? Или горит весь город?

Все высыпали на улицы...

А по ним двигались отряды стрельцов, с мушкетами, с пиками... У городских ворот ставили караулы. В Кремле заперли все входы и выходы, забрали всю артиллерию, все припасы с Пушечных дворов и развезли их по полкам.

— Пусть теперь сунутца... Встреча готова, — вызывающе толковали стрельцы. — Не холопы мы, не торгоши безоружные, сами воевать умеем...

— Да чем тут бояр ждать, гайда в Вознесенское, покуда там сила великая не собралася, — предлагали более отчаянные головы. Но их не послушали.

И у многих с первыми лучами рассвета отваги поубавилось, стали приходить более благоразумные мысли.

Часть стрельцов из начальных людей, окружённые также и рядовыми, ещё ночью ворвалась в покои самого патриарха, в его Крестовую палату, где он сидел уже облачённый, услышав о приближении незваных гостей, старых знакомых по майским бесчинствам и разбоям.

— За нас постой, отец патриарх, — кричали все, кто проник в палату, — грамоты пиши на Украину, во все города, шли бы казаки не к государям, а сюда на Москву, тебе и нам на помощь. А не захочешь, с боярами заодно встанешь, — тебя, гляди, не помилуем. Нам своя шкура всево дороже...

— Чада мои, — взмолился Иоаким. — Хиба ж послушают мене украиньци? Давно я оттуда. И не знают, мабудь, там, шо я и сам украинець... Всеу помыслили. Лучче Бога да государей просыть, не покарали бы вас за буйство...

— Поди ты, старец... Што разумеешь?.. Гайда, братцы, упредим бояр, на Воздвиженское.

— Не спеши в петлю, сама придёт. Пождем, што от бояр, каки вести будут? — останавливали другие нетерпеливых товарищей...

Так время прошло до рассвета.

Вдруг топот коней и голоса слышались перед палатами патриарха.

— Иди, иди к святейшему. Поглядим, каки таки грамоты у тебя, — кричали возбуждённые, хриплые голоса.

Стоящие у застав караульные не спали всю ночь, но все ж перехватили посланца царского, стольника Зиновьева.

— Вот, читай на голос, отче, што пишут тебе государи, — потребовали стрельцы, подавая послание Иоакиму.

Он сломил печати и прочёл вслух извещение о казни Хованского.

Когда дошло до места, где говорилось, как старик Хованский обвинил московскую надворную пехоту в заговоре против царей, — так и всколыхнулись все, кто был здесь. Тут же прочёл патриарх приложенный к письму царей донос на Хованского.

— Неправда все то... Быть тово не может!

— Слушайте ж дале, чада мои, — остановил их патриарх. Конец послания обещал полное прощение надворной пехоте и забвение всем, если стрельцы перестанут волноваться, не станут слушать прелестных слов и лукавым письмам веры не дадут.

— Слыхали мы посулы всякие... Пока у нас спицы железные в руках — потоль мы не в дураках. А сложим свои рогатины — тут и бери нас голыми руками. Не на таких напали... Слышь, батько, пиши ты государям: смуты-де никакой нет. Служить мы им волим по-прежнему, как и родителям ихним служивали. А без опаски тоже не мочно. Вон государи силу какую — войско собирают... Москву покинули... Пошто это? Пуцай назад ворочаютца. Мы им крест целовали — и страху пусть не имут. А покуль государей на Москве не будет, все думаетца нам: против нас гневны, на нас пойти собираютца.

— И що вы, чада мои. Хиба сами не знаете: пора осенняя, издревле-те звычай у государей шествовать во святу обитель тую к памьяти преподобного отца Сергия. А о прощении вашем им на Москву буты у скорости я писать стану царям. От архимандрит Адриан с Зиновьевым и повезуть мои грамоты.

— Ладно. Да ты нам, слышь, почитай, што писать станешь.

Быстро было составлено послание Иоакима к царям, конечно, в том смысле, как требовали стрельцы. Отдал он при выборных пакет Зиновьеву и Адриану, и те поехали в лавру. Но не знал никто, что патриарх наедине дал устный наказ посланцам своим.

— Що було тута — сами бачили, — говорил он обоим. — Так и сдоложить их царским величествам и самой царевне. А ихаты сюды пока невдобно и опасно. Як час придеть, я знать дам государям. Беречися треба стрельцов, усе помышляют, буи, о побиении невгодных им бояров...

Но и без советов осторожного старика Софья знала, как нельзя доверять обещаниям стрельцов.

А надворная пехота первый день до глубокой ночи не покидала улиц и площадей. Ожидая нападения, стрельцы загородили надолбами,

прочными нагромождениями проезды к Кремлю, укрепили Земляной городок и Китай-город, семьи свои перевели в Кремль. Неумолчно на улицах раздавалась пальба из ружей и пушек, отчасти для устрашения врагов, а в то же время и для поддержания бодрости у самих стрельцов.

Привычные ходить в бой под чьим-нибудь началом, теперь стрельцы своего ближайшего начальства не слушали, не доверяли ему, друг с другом спорили из-за каждого пустяка... И только боязливо думали, что все принятые меры, конечно, не спасут, когда цари со всей земской силой пойдут на них, как на новых опричников.

Но и у Троицы было не совсем спокойно. Начинать междоусобье не хотел никто. И снова прискакал посол царский, думный дворянин Лукьян Голован, на Москву.

"Строго приказываем, — объявляла от имени царей Софья, — смирить себя. Всполоху и страхов по Москве не вчинять, за Хованских не заступаться. И тогда гнева не будет на надворную пехоту от государей. А судить изменников — им, государям, от Бога власть дана..."

Прочитав послание, патриарх от себя, по поручению царевны, объявил: — За смятение опалы на вас не буде. Не вы, а Ивашка Хованский молодой виною в тим вашем шатании. На него и кара. А вы челом бейте государям. Пошлыть от кожного [86] полка по двадцать хотя чоловик луччей братии, нехай повинятца за усих. От усе кинчится миром та ладом, по слову Божию.

Боярин Михаил Петрович Головин, явившийся на Москву, чтобы привести в порядок и взять в свои руки военную силу иноземную и слободских людей, не приставших к волнениям стрельцов, то же самое подтвердил.

Не сразу решились стрельцы послушать доброго совета: каждый день собирались на свои полковые сходы. Старые стрельцы, бородачи, по-детски обливались слезами и причитали:

— Конец приходит нашим слободам, нашей вольности... Сами на смерть первых товарищей посылать собираемся... Вон уж последние смерды, торгоши базарные, холопы боярские, слуги кабальные и те над нами

потешатца стали. Толкуют: "Не вам бы, мужикам, володеть разумными почестными [87] людьми, князьями да боярами. Не вам великим государям указывать." А давно ль то время было, не далеко ушло, когда и вся Москва нам в ноги кланялася.

Кинулись к патриарху стрелецкие головы.

— Не иначе пойдём к царям, как пошлешь, батько, с нами владыку, какой получче. Пусть молит за нас царей:.. Не казнили бы лютою смертью А мы языком работать не горазды. Все больше саблюю государям служивали. Уж ты не оставь нас, батько!

— От як нужда — и я став батькой.. А то сбиралыся распопа безумного на моё место постановить, — не удержался от упрёка патриарх. — Ну, та я зла не помню. Бог простит. А пошлю я з вами митрополита Ларивона суздальского. Зело разумен муж тай царям угодный. Вин вас отмолит...

Как на явную смерть шли выборные к лавре, окружая колымагу Иллариона. Каждый отряд войск, собранных Софьей, какой попадался на пути, стрельцы принимали за облаву, посланную на них.

Село Воздвиженское, в десяти верстах от Троицы, было полно войск.

— Тут нам и конец, — решили между собой стрельцы.

И многие из них тайно вернулись в Москву.

— Вы откуда? — спросили беглецов.

— Да с плахи сорвались, из петли ушли. А другие все — и на том свете уже...

Плач и ужас воцарились в слободах.

А посланники стрелецкие в это самое время были уже в лавре и стояли понуря головы перед разгневанной царевной Софьей.

— Не пускают вас цари на очи свои. Больно и скорбно им. Люди Божие, — сверкая глазами, заговорила она. — Как вы не убоялись Бога, подняли руку на благочестивых государей своих, на их царский дом, на синклит боярский? Али забыли своё крёстное целование многократное? Не помните милостей деда, отца и братьев наших, што выше меры на вас изливались? Для чего возмутились? Пушки вывезли, припас военный разобрали... По Москве с ружьём ходите, круги [88] завели злосоветные

по-старому. Москва — не Дон, не Астрахань. Вы — не вольница понизовая. Вот к чему привело своеволие ваше: со всех концов земли собралось воинство ратное для вашего укрощения, на защиту державы нашей. Трепещите, злодеи. Недостойны и зреть лица царского. Именуете себя слугами нашими, а где покорность и служба ваша? Мятеж и своеволие — только и видны от вас...

Ниц упали выборные, стали молить о прощенье, обещая все поправить, все вернуть, что взято из казны, и выдать злодеев, кто бы ни пытался смущать их.

Тридцатого сентября вернулись в свои слободы выборные и были встречены, как воскресшие из мёртвых.

Сейчас же все, что было захвачено в арсеналах, стрельцы вернули начальству и написали от имени всех полков слёзные покаянные грамоты.

В день Покрова Богородицы [89] стрельцы снова били челом Иоакиму: — Будь наново нам покровом, с Пречистой Матерью Господа, — пошли с выборными и со слезницами [90] нашими владыку повиднее. Уж больно за нас хорошо заступался твой Ларивон. Из петли вытаскивал, прямо надо сказать.

Теперь поехал с ними в лавру Адриан.

Примирение совершилось. Стрельцы согласились подписать все, чего ни потребовала царевна. Кроме того, они же, конечно, по наущению бояр, били челом Софье:

— Дозволь, царевна с обоими государями, разломать той столб, што на Пожаре стоит, штоб не было от иных государств царствующему граду стольному, Москве, зазорно. Лучше и памяти не иметь о том, што было. И молодых наших охальников подбивать той столб на озорства не станет...

Конечно, позволение было дано.

Второго ноября стрельцы Ермолаева полка явились на Красную площадь и срыли до основания позорный этот столб, прославлявший мятеж и убийства, совершённые ради личных целей и по воле той же царевны Софьи, которая, когда понадобилось, умела живо справиться со своими

прежними единомышленниками— стрельцами.

Так, после живых двух главных свидетелей и пособников её коварных дел, после Хованских, был уничтожен и каменный свидетель происков лукавой, властолюбивой царевны, "царь-девицы", как уже стали звать Софью и в народе.

Власть над стрельцами была передана осторожному и ловкому Шакловитому, который на деле доказал, каким умелым и непритязательным на вид пособником может служить в самых опасных и сложных положениях государственной жизни.

Шестого ноября двор торжественно вступил в Москву, и все, казалось, было забыто...

Почти полгода непрерывных волнений, убийств и мятежа утомили всех. Казна пустовала. Люди мирные страдали от лишений и вечного страха за свою жизнь, имущество и свободу...

Доносы, подозрительность, как ядовитое море грязи, разлились по лицу земли за это время, и все задыхались в смрадном воздухе, полном испарений крови и слез.

Поэтому Софье было легко понемногу приступить к осуществлению широко задуманного плана.

Всюду на первые места в управлении царством посажены были преданные ей люди или ничтожные и безликие, слепо готовые исполнить всякий приказ свыше.

Иван Милославский ведал приказами: Судебным, Челобитным, Иноземским, Рейтарским и Пушкарским. От него зависели суд и расправа в главных русских городах, начальство над иноземными войсками, над всей артиллерией, над рейтарскими и иными полками, кроме стрелецких, и над крепостями. Василий Голицын, кроме Посольского приказа, получил в ведение Малороссию, слободские полки, Новгород, Пермь, Смоленск, Киевскую лавру и иные важнейшие монастыри, богатые казною и влиянием на народ, заведовал иноземными храмами в России и даже склонялся к католическому блеску и формам церкви, получил и Немецкую слободу в Москве, а равно и всех торговых иноземцев, в

качестве верховного консула по торговым оборотам, совершаемым в чужих краях. В 1686 году умер Милославский, и все приказы, оставшиеся без начальника, Софья поручила Голицыну. Таким образом, он фактически стал главой всей правительственной машины, диктатором, без объявления о том, и сам же водил войска в походы.

Шакловитому, кроме Стрелецкого приказа, царевна поручила и Сыскной приказ, Тайную канцелярию свою.

Безродные и не особенно способные, но послушные люди занимали иные важнейшие посты. В Разряде, исполнявшем обязанности генерального штаба, сидел думный дьяк Василий Семёнов. Окольничий, худородный дворянин Алексей Ржевский ведал финансами России в качестве начальника Большой казны и Большого прихода.

Удельное ведомство, так называемый тогда Большой дворец, поручен был не одному из первых бояр, а простому окольничему из рядовых, Семёну Толочанову. Он же оберегал и всю государственную сокровищницу, Казённый двор.

Земские дела вёл думский дьяк Данило Полянский, в Поместном приказе дворянские, вотчинные дела вершил окольничий Богдан Палибин.

Если эти скорее прислужники, чем сановники большого государства, и были удобны, как послушное орудие, то, с другой стороны, положиться на них было невозможно в случае решительного столкновения с какой-нибудь опасностью.

Софья скоро узнала это на самой себе. Постепенно раскручивая пружину, туго затянутую для неё стрелецкими волнениями в малолетство царей, Софья, уже через месяц после возвращения в Москву стала всюду показываться на торжественных выходах наравне с царями.

Сильвестр Медведев и иные придворные льстецы-борзописцы не только слагали в честь царь-девицы оды и панегирики, Шакловитый постарался выполнить в Амстердаме хороший гравированный портрет её, в порфире и венце. Был прописан титул, как подобает царице-монархине: "Sophia Alexiovna, Dei gratia Augustissima". Копии портрета на Государственном орле [91] печатались и в Москве, в собственной печатне Шакловитого.

Пётр видел, как сестра посягает на царскую власть вопреки воле народа, воле покойного Федора Но что было делать? И он молчал. Только царица Наталья отводила душу у себя в терему, обличая замыслы царевны.

Однако и тут нашлись предательницы, две постельницы Натальи — Нелидова и Сенюкова. Они дословно пересказывали Софье все толки о ней, все, что слышали в теремах Натальи.

— Пускай рычит медведица. Когти да зубы надолго спилены у ней...— отвечала рассудительная девушка, но приняла все к сведению.

И только через два года, в 1685 году, решилась открыто объявить себя не помощницей в государских делах малолетним своим братьям, а равной им, полноправной правительницей земли.

И вот с тех пор на челобитных, подаваемых государям, на государственных актах и посольских грамотах повелено было ставить не прежний титул, а новый, гласящий:

"Великим государям и великим князьям, Иоанну Алексеевичу. Петру Алексеевичу, и благородной великой государыне, царевне и великой княжне, Софье Алексеевне, всея Великия и Малыя и Белыя России С а м о д е р ж ц а м..."

И на монетах с одной стороны стали чеканить её персону.

Три года после того спокойно правила царевна, хотя и смущало её поведение Петра.

И почти сразу положение круто изменилось.

Ещё до майской маеты и мятежа Наталья с Петром при каждой возможности выезжала из Москвы в Преображенское, возвращаясь лишь на короткое время в кремлёвские дворцы, когда юному царю необходимо было появляться на торжествах и выходах царских.

А после грозы, пролетевшей над этим дворцом, сразившей так много близких, дорогих людей, и мать, и сын с дрожью и затаённой тоской переступали порог этих палат, когда-то милых сердцу по светлым воспоминаниям той поры, когда был ещё жив царь Алексей.

В Преображенском, почти в одиночестве, окружённые небольшой свитой

самых близких людей, в кругу родных, какие ещё не были перебиты и сосланы в опалу, тихо проводили время Наталья и Пётр.

Мать всегда за работой, ещё более сердобольная и набожная, чем прежде, только и видела теперь радости что в своём Петруше.

А отрок-царь стал особенно заботить её с недавних пор. Во время мятежа все дивились, с каким спокойствием, внешне почти равнодушно, глядел ребёнок на то, что творилось кругом.

В душу ребёнка заглянуть умели немногие. Только мать да бабушка чутьём понимали, что спокойствие это внешнее, вызванное чем-то, чего не могли понять и эти две преданные Петру женщины.

Но в Преображенском, когда смертельная опасность миновала, когда ужасы безумных дней отошли в прошлое, Пётр как-то странно стал переживать миновавшие события.

— Мама, мама, спаси... Убивают! — кричал он иногда, вскакивая ночью с постели, и мимо дежурных спальников, не слушая увещаний дядьки, спавшего тут же рядом, бежал прямо в опочивальню Натальи, взбирался на её высокую постель, зарывался в пуховики и, весь дрожа, тихо всхлипывал, невнятно жаловался на тяжёлый кошмарный сон, преследующий его вот уже который раз. — Матушка, родненькая... Знаешь... Такой высокий... страшный... Вот ровно наш конюх Исайка, когда он пьян... И рубаха нараскрыт... Глазища злые... Софкины глаза, как на тебя она глядела... Помнишь... И я на троне сажу... Икона надо мною... Я молюся... А он подходит — нож в руке... Я молюся... А он и слышать не хочет... Нож на меня так и занёс... Вот ударит... Я и проснулся тут... Уж не помню, как и к тебе. Ты скажи князю Борису, не бранил бы меня, — вспомня вдруг о дядьке, Борисе Голицыне, просит мальчик.

— Христос с тобой... Ну, где ж там?! Пошто дите бранить, коли испужался ты? Не бусурман же Петрович твой... Душа у нево... Спи тута, миленький... Лежи... А утром — и вернёшься туды...

— Ну, мамочка, што ты... Я уж пойду. На смех подымут. Ишь, скажут, махонький... К матушке все под запан... Я уж большой... Гляди, почитай, с тебя ростом...

— А хоть и вдвое. Все сын ты мне, дите моё родное... И никому дела нет, што мать сына спокоит... Не бойся, миленький... Вот оболью тебя завтра с уголька, и не станут таки страхи снитца...

— Да не думай, родимая... Не боюсь я... Наяву будь, я бы не крикнул, не испужался... Сам бы ево чем. А не устоять, так убечь можно... Я не боюсь. А вот со сна и сам не пойму, ровно другой хто несёт меня по горнице, да к тебе прямо.

— Вестимо, ко мне... Куды же иначе... Себя на куски порезать дам, тебя обороню... Недаром меня сестричка твоя медведицей величает... Загрызу, хто тронет моё дитятко.

И Наталья старалась убаюкать мальчика, который понемногу успокаивался и начинал дремать.

— А што, матушка, как подрасту я, соберу рать, обложу Кремль, Софку в полон возьму, к тебе приведу. Заставлю в ноги кланятца. И потом штобы служила тебе, девкой чернавкой твоей была... Вот и будет знать, как царство мутить... Наше добро, отцовское и братнее, у нас отымать... Вот тода...

— Ну, и не в рабыни, и то бы хорошо. Смирить бы злую девку, безбожную... Да сила за ей великая. И стрельцы, и бояре... Все её знают, все величают. Всем она в помощь и в пригону. Вот и творят по её...

— Пожди, матушка. И я подрасту — силу сберу, рать великую... И по всей земле пройду, штобы все узнали меня... И скажу: "Я царь ваш. И люблю вас. Своё хочу, не чужое. И править буду вами по совести, как Бог приказал, а не по-лукавому, как Софья вон с боярами своими, с лихоимцами". Все наши, слышь, челядь, и то в один голос толкуют: корысти ради Софка до царства добиратца... А што я мал... Ништо!.. Подрасту — и научусь государить... Про все сведаю, лучше Софьи грамоту пойму... Вот её и знать не захочет земля... и...

— Ладно, спи... Пока солнце взойдёт, роса глаза выест, так оно сказывают... Спи, родименький. Господь тебя храни...

И Пётр засыпал, овеянный лаской матери, успокоенный тем, что над ним стоит, как ангел-хранитель, эта страдальца-мать.

Наутро мальчик вставал, немного усталый, словно после трудной работы, и потом целыми днями ходил задумчивый, озабоченный.

Учился он внимательно, но порой словно и не слушал объяснений Менезиуса и других учителей своих.

— Што с тобой, царь-государь, скажи, Петрушенька? — обращался к мальчику Стрешнев или другой дядька.

— Сам не знаю. Все што-то словно вспомнить я хочу, а не могу И оттого не по себе мне. Ровно камень на груди лежит... А слышь, скажи, Тихон Никитыч, много ль всех стрельцов на Москве?

— Не мало. Девятнадцать тыщ, а то и боле наберетца...

— О-ох, много... Хоть и не очень лихие в бою они... Больше на посацких хвататы, у ково ружья нет... А все же, коли добрых воинов на их напустить, меней чем шесть либо семь тысяч не обойтися, штобы побить их вчистую.

— Ты што же, аль не собираешься?..

— Соберусь, когда пора придёт, — совсем серьёзно, глядя на воспитателя, отвечает мальчик. — Аль ты не видел, што они, собаки, на Москве понаделали? И по сей час ещё не заспокоились. Я им не забуду... Эх, кабы иноземная рать не такая была. Вон, слышь, што Гордон али иные сказывают: "Наше дело — с иноземными войсками воевать. А што у вас, в московской земле, недружба идёт, нам в то нос совать непригоже. В гостях мы у вас — и хозяевам не указ..." Слышь, Тихонушка, энто выходит, хотя убей меня на ихних глазах, им дела нет?..

— Ну, не скажи, Пётр Алексеевич... Тово они не допустят. А ино дело, и правда в их речах. Однова — они за правое дело станут. А другой раз, гляди, и ворамам помогудадут. Лучче уж их не путать нам в свои дела, в московские...

Опять задумался мальчик.

— А слышь, ежели земскую рать собрать. Её спросить: можно ли так быть, штобы девка-царевна, поправ закон всякий, рядом с братьями-царями на трон лезла? Не было тово у нас. И быть не должно...

— Погляди, мой государь, и ответ себе увидишь. Написали вы, государи,

грамоты. А посланы энти грамоты по городам ею, царвною-девицей, не мужем-государем. И всё же пришли на помощь дворяне, и рейтары, и копейщики, городовые служивые... Им царство да державу надо знать, землю боронить. А хто ту державу в руках держит, почитай, им и все едино. Не больно начетисты. Правды не ищут. Было бы жито в закромах да сусло в браге...

— Вот, и то нехорошо, Тихонушка. Я сметил: што разумней, умней, ученей человек, то он учтивей и ко всему доходчивей... Как сам царить буду, повелю всем науку знать всякую... Вон как, сказывают, в чужих землях заведено. Редко хто и не книжный бывает, не то мужики, а и бабы простые. А у нас и попы, бают, есть, што Псалтири кверху пяткой читают...

— Есть, есть, што греха таить.

— Ну, добро... Я подумаю... Я уж што-либо да измыслю. Нельзя же так...— с наивной убеждённостью проговорил мальчик.

И он надумал, гениальным чутьём своим уловил, что надо делать, как создать силу, свою, русскую, преданную ему, Петру, для восстановления справедливости в семье Петра, для восстановления правды по всей земле Русской и порядка в управлении царством.

Потолковал на досуге Пётр с несколькими из мальчуганов-сверстников, с которыми по большей части играл в войну:

— А нет ли у тебя ково из родни постарше, хто охоч был бы с нами потешитца? Пришло мне на ум взаправдашнее ученье воинское наладить. Вон меня хотят, как подрасту, на войну посылать с ратниками, землю оборонить. А я ничево и знать не буду... Зови, коли знаешь, хто захочет...

— Ладно. А жалованье какое?

— Какое солдату полагаетца... Да сверх тово — от себя дам, — хватит. Уж сыт будет. А и дело будет не велико. Ты приводи. Мы столкуемся...

А сам потом к матери и к дядькам обратился, им то же повторил, что и товарищам говорил, и прибавил:

— Научусь на малом, большое буду знать. Мне так учителя мои не однова сказывали.

Прослезилась Наталья.

— Господь почиет на тебе, дитячко моё роженое. Дите и забаву в дело ставит. Потешайся. Все дам, што потребуешь. Свои выложу гроши последние. Да и то сказать, — как бы нащупывая мысль сына, прибавила Наталья. — Из этих потешников, конюхов твоих, гляди, охрана добрая подравниетца для тебя же...

Так были основаны потешные полки: Преображенский и Семеновский, окончательно сформированные Петром в марте 1687 года.

Сначала на Москве не обратили внимания на затеи мальчика.

Тем более что и военные игры сменялись у Петра сплошь и рядом весёлыми песнями, детскими играми, даже плясками. А когда мальчик подрос и его парни потешные стали обрастать бородами и усами, появилось на сцене для оживления и пиво, и мёд, и винцо порою.

— Девушка — пей, да дельце разумей, — говорил молодой инструктор нового войска и не мешал забавам своих потешных, их весёлым пирушкам и посиделкам.

Зато и эти потешные, очень скоро посвящённые во все тонкости полевого и крепостного строя, готовы были душу положить по единому слову своего царя и рядового, каким вступил в полк державный его основатель.

Инструкторы из иностранцев, которых подбирал образованный, тактичный и знающий людей Борис Голицын, дали постепенно войску потешных всю выправку и военные познания, какими обладали лучшие западные войска.

Даже своя артиллерия и фейерверкерский отряд завёлся в потешных полках.

Тут Софья сразу широко открыла глаза на невинную, как сначала казалось, затею брата, постепенно вырастающую в величине и представшую перед ней как готовое ядро преданной Петру военной силы.

И, главное, устремя внимание на внешнюю политику, на военные столкновения у крымских пределов и в других местах, Софья упустила момент, когда можно было ещё все привести к нулю и запретить брату

играть в такие опасные потехи... Но когда Софья оглянулась, Петру было уже пятнадцать лет, потешных насчитывалась не одна тысяча человек, с настоящими опытными начальниками... И оставалось мириться с фактом, ожидая, что будет дальше.

Ждать Софье пришлось недолго.

Хотя Пётр занимался не одним военным строительством, а волей случая, как сам о том написал, пристрастился и к воде, ездил на Переяславльское озеро, строил своими руками и спускал там галиоты [92] и корабли военные, но все, что делалось в государстве и за пределами его, не ускользало от внимания крупного юноши, каким стал в пятнадцать лет царь, выглядевший и на все двадцать.

Видя, как плохо сражаются русские воеводы и войска всюду, куда ни пошлют, даже под начальством прославленного Василия Голицына, Пётр как будто пожелал дать всем урок настоящей баталии. Кстати, и самому при этом хотелось ему узнать, какую силу имеет он в руках, да и другим, то есть Софье, не мешает показать, какой выходит посев, если, подобно Язону, сеять драконовы зубы.

На Яузе-реке был построен городок, земляная крепостца Пресбург.

Сюда призвал Пётр музыкантов-флейтчиков и барабанщиков-бутырцев.

Все войско своё Пётр разделил на две части: меньшая оборонялась, большая нападала. Сам царь-отрок шёл в рядах солдат с ручными гранатами, изготовленными из глиняных горшков, наполненных горючей смесью...

Осада и бой велись по всем правилам до решительного приступа, когда участники так разгорячились, что не на шутку стали драться, нанося серьёзные повреждения друг другу, и человек двадцать чуть не потонуло при этом, так как атакующие загнали их далеко в реку, а сдаваться они не желали.

Не только Софью, теперь и Наталью стали тревожить опасные забавы Петра, его частые отлучки в Переяславль-Залесский, где на большом озере, имеющем до десяти квадратных вёрст, Пётр сам строил небольшие корабли, ставши заправским "корабельного дела мостильщиком", не хуже

приглашённых из Голландии корабельщиков. Пригляделся юноша и к "щегольному" мачтовому делу.

И вот, чтобы отвлечь сына от опасных его странствий, царица Наталья задумала его женить, так как в то время юноша семнадцати лет считался вполне женихом.

Были, как положено, собраны красивые девушки-невесты. Но мать сама выбрала подругу сыну, красивую, хотя и недалёкого ума девушку, Евдокию Лопухину, дочь боярина Федора, давнишнего друга семьи Нарышкиных.

В январе сыграли свадьбу, а в апреле царь-работник уже был на своём любимом озере, на переяславльской корабельной верфи.

Мать и молодая жена писали ему письмо за письмом, кой-как вызвали в Преображенское, на семейные панихиды по царю Федору. Но вернуться опять на озеро Петру не удалось, так как недобрые вести дошли из Москвы в тихие горницы Преображенского дворца.

С тех пор, как 19 мая 1686 года, в день святого митрополита и Чудотворца Алексия, царица наравне с царями, в порфире и короне, появилась на торжественном царском выходе, шествуя рядом с братьями, когда стала писаться наравне с малолетними государями самодержицей российской, не было сомнения ни у кого, куда направлены планы Софьи.

Не чувствуя за собой крепкой опоры, Пётр сносил дерзкие выходки сестры.

Но в июле 1689 года в Успенском соборе наступил час, когда юный царь счёл возможным дать первый отпор притязаниям Софьи.

Оба царя и царица прослушали литургию в честь чудотворной Казанской иконы Божьей Матери, после чего всегда совершался большой крёстный ход из Кремля на Красную площадь, в Казанский собор.

Одни цари обычно участвуют в этом шествии.

Но Софья, вопреки ритуалу, взяла образ Богородицы, именуемой "О тебе радуется", и заняла место в ряду с обоими братьями.

— Скажи царевне-государыне, негоже ей с нами, государями, вровень идти, да и вовсе не лет [93] открыто на народ с крестами ходить.

Осталась бы лучше, так я прошу, — бледный, словно сам опасаясь своей отваги, сказал Прозоровскому Пётр.

Прозоровский, покачивая в недоумении головой, не смог послушаться и передал царевне слова брата.

— Сам бы не шёл, коли ему зазорно со мной рядом быть, — громко и резко отрезала Софья.

Вспыхнуло лицо Петра. Какая-то судорога пробежала по нему.

Изредка, но появляется эта неприятная гримаса на красивом лице царя. И впервые появилась она после майских убийств.

Не говоря ни слова, Пётр поставил икону, которую должен был нести, вышел боковыми дверьми из храма и поскакал в своё Преображенское...

С той минуты поняла Софья, что Пётр рассчитал свои силы и только ждёт удобной поры, чтобы явиться и сказать: "Оставь место, которое заняла не по праву".

"Нет, — думала царевна, — лучше уж я вперёд поспею, братец любимый..."

И стал после этого быстро созревать большой, опасный заговор против Петра, против его матери, заговор против всех, кто ему предан, кто мог бы постоять за юношу-государя.

Пути и выходы в таких делах были хорошо знакомы, давно испытаны непреклонной царевной.

Подкуп, жалобы, уговоры, посулы и угрозы — всё было пущено в ход.

И вот 7 августа 1689 года, накануне дня, когда решено было привести в исполнение хитро задуманный план, по Москве пронесли тревожные вести:

— Подмётное письмо объявилось в Верху, в царских хоробах: "В ночь на восьмое августа внезапно придут потешные конюхи царские из Преображенского на избиение царя Иоанна и всех сестёр его, царевен, с Софьей во главе..."

Сейчас же был отдан приказ: ночью кремлёвские ворота держать на запоре.

Повсюду в стрелецких слободах получен был указ от Шакловитого и

Василия Голицына: посылать от каждого полка по сотне людей в Кремль для охраны царской семьи.

Были поставлены отряды и в других местах, на Лубянке, на Красной площади.

Никто не знал хорошенько, для чего собирают стрельцов в полном вооружении, против кого они должны действовать, куда их поведут.

Только самые близкие люди знали правду.

Никитка Гладкий, посредник и приспешник Софьи, полагая, что дело уже бесповоротно затеяно царевной, открыто говорил в Кремле товарищам по караулу:

— Я, гляди, уж и верёвку привязал ко спасскому набату. Как пойдём на Патриаршие палаты... Примемся за казну патриаршую богатую... А я так и зыкну громким голосом на Акимку-простоту: "Гей, из риз-то из цветных долой, никоновец... Возденут их на плечи истового пастыря Христова, не на твои, што, подобно волку, хитишь стадо Божие..."

— А ково же на место ево? — спросил другой приятель Софьи, Стрижев.

— Али отца Сильвестра Медведева таки поверстают в патриархи?

— Вестимо, ево... Нет лучше попа на Москве. И учен, и приветлив, и за нашу веру стоит... А нарышкинское племя пора и вовсе выполоть из царства...

— Чево зевать, — поддержал Кузьма Чермной, и теперь ставший в первые ряды мятежников. — Хоть всех уходим, а корня не выведем, пока не убьём старой медведицы...

— Наталью-то убить?.. Гляди, сын не даст. Во как заступитца. Он — малый бравый... Всем бы царь, коли бы не никоновец...

— И ему спускать нечево... За чем дело стало... На всякова коня узду найти можно. У бердышей глаз нету. Ково хватит, тот и сватом...

И стрельцы рассмеялись в ответ на зверскую шутку...

## Глава VI. ПЕРВЫЕ КАЗНИ

Сама судьба спасла Петра от гибели.

Всегда доступный простому люду, умный, решительный, прямой, он имел

много искренних, даже ему неведомых друзей среди рядовых того самого Стремянного полка, на который больше всего надеялись и Софья, и Голицын, и осторожный, уверенный Шакловитый.

Главным таким приверженцем Петра был набожный и добродушный пятисотник Стремянного полка Ларион Елизарьев, которому Шакловитый без опаски раскрыл весь план нападения на царя и Наталью в Преображенском.

К Елизарьеву пристали: пятидесятник Димитрий Мелнов, десятники Ладогин, Феоктистов, Турка, Троицкий и Капранов, все приближённые денщики того же Шакловитого. Они должны были передавать приказы начальника своего во все концы, на заставы, в полки стрелецкие.

Когда протазанщик [94] Андрей Сергеев позвал всех этих людей на сборное место на Лубянке и они убедились, что "дело зачинается", сейчас же Елизарьев с товарищами вошёл в церковь святой Феодосии, стоящую по соседству с площадью, и здесь на святом кресте и Евангелии дали клятву спасти Петра.

Ладогин и Мелнов поскакали в Преображенское, а остальные решили наблюдать, что будет дальше.

В Преображенском было темно и тихо, когда около полуночи прискакали туда спасители-стрельцы. Очевидно, вести о сегодняшнем нападении преображенцев на Москву были пустою сказкой.

— К государю допустите нас. Дело тайное, слово и дело государево имеем сказать.

Только услышал Стрешнев эти речи стрельцов, стоящих на крыльце, куда и сам боярин выскочил полуодетый, испуганный ночной тревогой во дворе, сейчас же у него мелькнула тревожная мысль: "Мятеж... Не подсланы ли эти тоже?.."

— Нельзя пустить, — проговорил он. — Раней осмотреть вас надо...

— Смотри, боярин, да скорее... Поздно бы не стало...

И они скинули с себя почти все, до рубахи. Дали оглядеть карманы шаровар, сняли сапоги.

— Ну идите... Да потише. Почивает с устатку государь... Не испужать бы...

Спальник Петра тихо стукнул в дверь.

— Што там ещё, ужли вставать надо?.. Рано, кажись, — спросил звучный молодой голос.

— Государь, не все здорово в Кремле... Вести пришли... Выслушать изволь, — доложил Стрешнев.

Быстро распахнулась дверь. Царица Евдокия только успела скрыться от чужих глаз в соседнем покое.

— Што? Мятеж?.. На меня? На матушку идут? — словно угадывая события, тревожно спросил Пётр.

Он стоял на пороге в одной длинной шёлковой рубаше, с расстёгнутым воротом, и все большое, красивое тело и лицо юноши стало подёргиваться мелкой дрожью.

— Покуда нет ещё беды, а близко, — заговорили разом стрельцы.

И все рассказали, что сами знали о заговоре, что видели в Кремле и на московских площадях.

Стоя слушал их юноша, словно и плохо понимал все, что ему говорили.

Потом, вдруг закрыв лицо руками, крикнул:

— Матушка... Зовите... Дуня... Беги... Сейчас придут... убьют...

И кинулся вон из покоя, только успев захватить на бегу лёгкий охабень [95] , который как раз собирался накинуть на плечи зябнувшему царю спальник.

Несколько человек поспешили вслед за Петром, чтобы не потерять его из виду.

Только шагах в пятистах от дворца, в чаще деревьев, остановился Пётр.

— Кто тут бежит?.. Свои? — спросил он. — Ты, Никитыч?.. Вернись, вели сюды подать одежду... И коней сюды... И для цариц снаряжайте колымаги поскорее... В Троицу спешить надо. Едино там будет без опаски на время...

Здесь же оделся Пётр, вскочил на коня и поскакал по знакомой дороге, окружённый десятком-другим потешных, к Сергию-Троице. А через час, на самом рассвете, туда же налегке выехали и обе царицы со всем двором, выступили все потешные и немало стрельцов того же

Стремянного полка, проживающие обычно при царе в Преображенском.

Поразила всех весть о бегстве царя в лавру. Денщики Шакловитого явились и доложили:

— Согнали, слышно, из Преображенского царя Петра. Ушёл он бос, только в одной сорочке, неведомо куда...

Хитрый заговорщик на это только плечами пожал.

— Вольно же ему, взбесяся, бегать. Видно, не проспался с похмелья...

Но тут же поспешил с докладом к Софье.

— Ну, теперь об головах пошла игра, — решительно, по своему обыкновению, заметила царевна.

И она не ошиблась.

Пётр был умный ученик. По примеру Софьи, с помощью образованного и сильного своим здравым смыслом князя Бориса Алексеича Голицына, юный царь теперь проделал все, что в своё время выполнила Софья.

В лавру съехалось множество ратного люду, готового стоять до смерти за юного, такого даровитого и смелого в своих начинаниях царя.

Конечно, манило многих и то, что здесь можно было сделать карьеру скорее, чем при дворе Софьи, где все места были уже разобраны.

Но и личным своим обаянием Пётр привлекал сердца.

Утром же послал Пётр запрос к царю Иоанну и к царевне Софье: для чего было такое большое собрание стрельцов ночью в Кремле? И тут-то потребовал прислать к нему полковника Стремянного полка Цыклера с пятьюдесятью стрельцами.

Этот самый Цыклер был одним из коноводов в майские дни, потом играл роль преданного слуги у Софьи. Но чуя, что звезда её близка к закату, спешно послал тайную весть в лавру: "Пусть государь позовёт меня. Я все дело злодейское раскрою".

Софья, ничего не подозревая, послала Цыклера.

За ним появились в лавре Ларион Елизарьев и все его товарищи, которых горячо принял и обласкал царь.

Все сразу выплыло наружу: подговоры Шакловитого убить Петра и Наталью, наветы Софьи на Петра, её жалобы перед стрельцами, её

решение занять самой трон, а супругом своим избрать кого-нибудь из главных бояр.

— Да што ещё творили те лихие людишки, — показал капитан Ефим Сапогов из Ефимьева полка, — в июле месяце минувшего года одели в Верху у царевны её ближнево подьячего, Матюшку Шошина, в белый атласный кафтан да в шапку боярскую. И так он стал на боярина Льва Кириллыча Нарышкина схож, что мать родная не отличит. И нас взяли, тоже по-боярски одев, меня да брата Василия. И двоих рядовых с нами, ровно бы конюхов. Верхами мы и ездили по ночам по заставам, по Земляному городу. Да караульных стрельцов у Покровских да у Мясницких ворот как пристигнем, и до смерти колотит их Шошин той обухами да кистенями, а то и чеканом. Пальцы дробит, тело рвёт. Да приговаривает: "Заплачу я вам за смерть братьев моих. Не то вам ещё будет". А мы и скажем при том: "Полно бить, Лев Кириллыч. И так уж помрёт, собака..." А те, побитые стрельцы, к Шакловитому ходили с жалобами, а он и сказывал им: "Птица больно велика, нарышкинская, высоко живёт, её не ухватишь, на суд не поведёшь... Вот бери лекарство. Да от меня малость в награду за бой... за увечье... А гляди, Нарышкины будут ещё таскать вас за ноги на Пожар, как их шесть лет назад таскивали вы со всей братией... Берегитесь, мол..." Так вот и поджигали стрельцов.

Пётр ушам не верил. Но те же братья Сапоговы твёрдо стояли на своём и объявили, что их подговаривали и Шакловитый и Софья убить и Петра и Наталью. За это сулили большие милости и награды...

Хотя Пётр и его советники знали, что все грамоты, посылаемые из лавры на Москву, царевна будет перехватывать, всё-таки часть этих посланий и приказов успела проникнуть куда надо; стрельцы узнали, что царь их зовёт в лавру под страхом смертной казни.

Последние колебания у стрельцов исчезли. Так писать мог только настоящий повелитель, уверенный, что располагает силой, способной привести угрозу в исполнение.

Быстро наполнилась лавра и пригороды всеми почти московскими

ратными людьми. Они заявили, что готовы повиноваться только Петру. И когда Пётр стал настоятельно требовать от брата выдать ему Шакловитого, Василия Голицына и всех участников заговора, Софье, с которой через голову Иоанна говорил Пётр, ничего не оставалось больше, как выдать своего верного пособника.

Но раньше она решилась на последнее средство. Окружённая небольшой свитой, Софья сама двинулась в лавру, желая лично поговорить с братом, надеясь смягчить его гнев, отклонить подозрения.

Умная, красноречивая, отважная, она надеялась на себя. Думала и то, что стоит ей очутиться там, среди стрелецких полков, когда-то обожавших свою матушку-царевну, сразу все изменится.

Может быть, и Пётр опасался того же. И вот в селе Воздвиженском её встретил комнатный стольник царя, Иван Бутурлин, и объявил:

— Не изволит государь Пётр Алексеевич тебе, государыне в лавру прибыть. К Москве повернуть прикажи, нечего туда идти.

— Непременно, пойду и пойду! — топнув ногой, крикнула царевна, и поезд двинулся вперёд.

Скоро новый гонец, весь в пыли, остановил поезд царевны.

Впереди уже виднелись стены обители. А гонец, боярин князь Иван Троекуров, вечный прихвостень того, кто сильнее, резко, почти грубо, объявил поверженной правительнице:

— Слышь, государыня Софья Алексеевна, ей, не ходи далее... А то сказать царь приказал: в случае твоего дерзновенного прихода под стены той обители будет с тобой поступлено не честно, как с ведомыми злодеями царского здоровья.

Сказал и даже глаза зажмурил от страха, видя, какая ярая злоба исказила лицо Софьи. И без того старообразная, грубая чертами и выражением лица, царевна вдруг стала похожа на одного из тех китайских или индейских богов зла и вражды, какими украшаются их мрачные храмы.

— Скажи ты ему, што он... — прохрипела сквозь зубы Софья. — Пусть у старых бояр спросит, хто он?.. Конюх, псарь потешный, не царь...

И поток грубой брани вырвался у неё из уст вместе с пеной и слюной.

Но всё-таки она повернула назад.

Вслед за Софьей прискакал в Москву Некрасов с отрядом стрельцов за Шакловитым, которого Пётр приказал взять живого или мёртвого.

Как ни старалась Софья подбить на мятеж своих приверженцев, все были угнетены страхом.

Многие из главных заговорщиков, с Сильвестром Медведевым, разбежались и попрятались по разным глухим уголкам России.

Но Шакловитого сторожили на всех путях. Ему бежать было невозможно.

И он укрылся на первых порах в покоях царевны.

Софья сначала приказала Некрасову явиться к ней и так разгневалась на посланца царского, что приказала обезглавить его в ту же минуту.

Но бояре поостереглись исполнить такое приказание. И были правы.

К вечеру Софья успокоилась и объявила Некрасову, что прощает его.

Но уступать ещё не собиралась. Напротив, приказала составить воззвание ко всей земле, которая должна-де разобрать её тяжбу с братом. И не позволила подвозить к лавре ни денег, ни съестных припасов, как приказал это Пётр.

Но второго сентября в помощь Некрасову приехал с новым большим отрядом полковник Спиридонов.

Царевна уговорила Иоанна вмешаться. Тот написал Петру, что сам приедет в лавру, а Шакловитого выдаст головой.

Но в это время все иноземные войска, раньше бывшие простыми зрителями грозных событий, уяснили себе, что дело царевны проиграно, и, вопреки её запрещению, тайно выступили в лавру, выразили свою верность и покорность молодому Петру.

Это было последней каплей. Софья осталась совершенно одинока.

И шестого сентября вечером явились к царевне выборные от стрельцов, какие остались ещё в Москве.

— Выдай, государыня, Шакловитого царю. Не миновать тово, видно. Чево тут мотчаться? [96] — заявили они.

Напрасно молила и грозила Софья.

— Брось, царевна, — раздался почти рядом с нею какой-то грубый голос. — Знаешь по-нашему: сердит, да не силён... Так и за дверь вон!.. Гляди, поднять мятеж не долга песня? Да помни, как загудет набат, многим шею свернут тогда, а и Шакловитому от смерти не уйти. Што же народ мутить понапрасну?

Рыдая, кусая от бессильной злобы пальцы, выдала Софья своего пособника стрельцам, опасаясь не столько за него, сколько за себя, когда под пыткой Шакловитый все откроеет Петру.

И он открыл все. Подтвердил речи Сапоговых и других...

Боярский суд постановил: окольного Шакловитого, Обросима Петрова, Кузьку Чермного, Ивана Муромцева, пятисотенного Семена Рязанцева и полковника Дементья Лаврентьева казнить. Остальных девятерых главных зачинщиков наказать нещадно кнутом и сослать в Сибирь.

— Не стоит казнить собак тех. Не свою волю творили. Большой есть виновник, коего и не судили мы, — объявил громко Пётр. — Пусть и эти шестеро понесут с другими одну кару. И только сослать всех подале.

Встал тогда служитель Христа, Иоаким, уже давно переехавший в лавру: — Так ли слышу? А де же правосудие людске и Божие? Не от себе глаголать надлежит тебе, государь, не от доброго сердца твоего, а от розума. Кто выше стоял, кому боле дано було, с того и больше спросится. А первым тем злодеям чого не хватало? И воны не то на твою драгоценну жизнь, на мать, родившую тебе, посягали. То простыты смеешь ли? Да и пример треба. Вспомни, як в недавни лета на Москве кровь лилася рабов твоих. И по сей час не отмщена, вопиет к Богу. За тех простыты смеешь ли?.. Нет, глаголю во имя правды и строгой истины Господней, во имя возмездия людского и божеского. Мало — государство, воны и церковь православную хотилы смутить, поставить раскольничьего попа в патриархи. И то простыты можешь ли, яко защитник православия и веры Христовой?

Долго угрюмый, задумчивый сидел в молчании Пётр. Потом черкнул своё решение на листе, и трое: Шакловитый, Петров и Чермный — были всё-таки преданы смертной казни по воле патриарха.

Приговор совершён на площади перед лаврою, у самой московской дороги. А главной виновнице, Софье, опять через руки Иоанна, этой кукле в бармах и венце, было послано письмо, вернее, грозный указ: "Уйти навсегда со сцены русской государственной жизни".

И нельзя было ослушаться этого грозного послания, полного ума и твёрдости, где так стояло: "Теперь, государь-братец, настает время нашим обоим особам Богом врученное нам царствие — править самим. Понеже пришли еси в меру возраста своего. А третьему зазорному [97] лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужскими особами в титлах и в расправе дел быти не изволяем!"

Конечно, Иоанн дал полное согласие на все предложения брата.

Немедленно указом имя Софьи повелено было исключить из всех актов, где оно раньше поминалось вместе с именами царей. Тот же боярин Троекуров явился в Москву и передал приказ царя — поселить Софью навсегда в Новодевичьем загородном монастыре.

Не сразу, но пришлось подчиниться и этому.

В конце сентября заняла она в обители ряд обширных келий, вместе с целым штатом оставленных ей прислужниц.

Только публично не смела показываться царевна.

— А то, — заметил Пётр, — в церкви поют: "Спаси, Господи, люди твоя..." — а на паперти наёмным злодеям деньги раздают на убийство близких... И штобы нищенки ни к ей, ни во Дворовых покоях не терлися, ни юроды, ни калеки всякие тоже людишки никчёмные... Комнатные вытерки... Стены обтирают спиной, сор из избы выносят Давать им можно Деньгами, как обычай есть... А во дворцы — не пускать...

Но один из главных виновников, Василий Голицын, первый актёр во всей разыгравшейся трагикомедии, остался почти безнаказан.

Пётр по просьбе дядьки своего, Бориса Голицына, не довёл до конца следствия об участии князя в происках царевны. И только сослал его сначала в Каргополь, потом в Яренск, в деревушку верстах в семистах от Вологды.

Так кончил свою карьеру Василий Голицын, полномостный хозяин

Русской земли в течение многих лет, живший по-европейски в полутатарской ещё Москве, скопивший миллионное состояние, не считая всего, что он проживал ежегодно.

Все ставленники его и Софьи были удалены, и Пётр отдал власть в руки новым людям.

Лев Нарышкин, опытный дипломат, Емельян Украинцев, князь Федор Урусов, Михайло Ромодановский, Иван Троекуров, Тихон Стрешнев, Пётр Прозоровский, Пётр Лопухин-меньшой, Таврило Головин, Пётр Шереметев Яков Долгорукой и Михайло Лыков — вот кому вручил всю власть молодой царь. А сам снова принялся за учение, за своё мастерство и работу, которую пришлось оставить на время, чтобы очистить царство от старой плесени и гнили, веками копившейся в стенах московских дворцов и теремов...

## Глава VII. ИНОКИНЯ СУСАННА

Больше шести лет пронеслось после событий, описанных в предыдущей главе. Великан ростом, могучий телом, с мощным умом, неутомимый в труде, молодой царь Пётр будто нарочно был создан судьбой, чтобы поставить на новые пути Русское царство, богато одарённый, но задавленный вековым невежеством и гнётом народ.

Никогда история более зрелых народов не отмечала такой усиленной деятельности самодержавного правителя во благо своей земли, какую проявлял Пётр, разумеется, действуя по силе своего разума не как пророк-моралист, а как деятельный государственный преобразователь и захватчик во имя будущих великих задач, достойных великого славянского племени.

Почти семь лет Пётр один волновал стоячее русло московской жизни. Но и в доме его и в царстве дела шли сравнительно спокойно.

И неожиданно в феврале 1697 года снова забродили старые дрожжи, вернее, упорное, предательски затаённое, вечное брожение пробилось наружу.

Весёлая пирушка шла в обширном, богато и со вкусом убранном жилище

нового любимца государя, Франца Лефорта.

Было это 23 февраля 1697 года. На утро назначен отъезд за границу большого посольства, в котором под видом простого дворянина Петра Михайлова должен принять участие и сам царь, в это время написавший на своей печати девиз: "Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую".

Научиться самому лучшим порядкам жизни, чтобы потом научить родную землю, — такова была сознательная, продуманная цель настоящей поездки за море, первой, беспримерной до сих пор во всей русской истории.

Гремела музыка. Юноша-царь от души веселился, плясал с милостивыми обитательницами Кукуя, или Немецкой слободы, и с русскими боярышнями, которые так забавно выглядели в своих новых нарядах.

— Петруша, тебя спрашивают — шепнул ему в разгар вечера Тихон Стрешнев. — Вон в том покое, что за столами накрытыми.

Пётр миновал столовую и увидел двух давно ему знакомых стрелецких начальников: юркого, востроносого и всегда оскаленного, словно векша, полуполковника Елизарьева и полусотенного Силина.

— Вам што? Погулять захотелось? Так сюды без зову не ходят. Ступайте в кнею [98] , али куды... Да вы и не пьяны, я вижу... Ровно не в себе. Уж не беда ли какая?

И от одного предчувствия у Петра задёргалось лицо, голову стало пригибать к плечу глаза остановились.

— Да што же вы? — уж нетерпеливо окликнул их царь — Али со мной шутки шутить задумали, благо дни такие весёлые?! Ну, выкладывайте, коли што есть.

— Есть, государь Пётр Алексеевич. На твою особу злодеи помышляют.

— Кто? Где? Говори! Да потише, слышь... Идём сюды...

И Пётр отвёл обоих подальше в сторонку, за большой резной шкаф, в самый угол комнаты, где и без того никого не было.

— Вот, может, через час-другой сюды нагрянут злодеи. Поджечь дом надумали. А в суматохе тебя, государь, в пять либо в шесть ножей изрезать. И за море не поехал бы ты, и земли не губил бы своими новыми

затяжками да порядками.

— Ага!.. Вот оно куды погнуло!.. Кто ж это?.. Говоришь, все собираются злодеи сюда... Где же собрались они? Кто главный? Скорей говори!

— Двое поглавнее — Цыклер Ивашка да Соковнин Алёшка...

— Ага, знакомые ребята!.. Цыклер — старый дружок, прощённый вор, што конь леченый, не вывезет никогда... А иные... Из вашей же братии, из стрельцов?.. Где они?

— Стрельцы же, государь... У Цыклера и собраны теперя. Знаку ждуть, поры полуночной. Да собратья бы всем получче...

— Добро. Спасибо, Силин. Тебе — сугубое спасибо, Ларивон. В другой раз ты выручаешь из беды наше здоровье. Бог Тебе воздаст, и мы не забудем. На крыльцо ступай, никому ни гугу... Ждите...

И вернулся в зал.

Весело объявил Лефорту и гостям государь:

— Не взыщи, хозяин дорогой с хозяйшккой, и вы государи, товарищи мои, что, противно обычаю, покину вас на часочек. Дельце одно неважное приключилось.

Вышел, велел двум своим денщикам ехать за собой, а другим направить к полуночи отряд, человек в сто, к дому Цыклера и по знаку царя войти в комнаты.

А сам подъехал прямо к дому полковника-предателя, недавно ещё возведённого в думные дворяне за помощь против Софьи.

Здесь тоже не спали, как и в доме Лефорты. Горели огни, пробиваясь в щели ставень. Когда вошёл Пётр, Цыклер, зять его, стольник Федор Пушкин, и донской казак Рожин пировали за столом, чтобы вином придать себе решимости и мужества для предстоящего дела. Гром с ясного неба не поразил бы их так, как появление царя.

Пушкин подумал, что за Петром войдут сейчас солдаты, и двинулся было к выходу.

— Штой-то, али я испугал вас, господа-кумпанство?.. Не желал того. Ехал мимо, вижу, не спит Ваня, не гости ли? Горло бы можно и мне промочить... Вот и угадал...

Засуетился хозяин. Из мертвенно-бледного лица у Цыклера стало красным.

Понемногу собравшись с мыслями, он стал подмигивать остальным заговорщикам, как бы желая сказать: "Судьба сама предала жертву в наши руки".

Но иноземец Цыклер плохо понимал душу русских, способных отравить повелителя, убить его в суматохе, исподтишка, и не смеющих прямо взглянуть в лицо даже, ненавистному государю, чтобы вернее нанести удар...

— А што, не пора ли наконец? — не выдержав, шепнул одному из соучастников хозяин.

Пётр услышал.

— Давно пора, негодяй, — крикнул он. Выпрямился во весь свой нечеловеческий рост, замахнулся, и Цыклер от одного удара свалился с ног.

Вскочили остальные. Рожин кинулся к оружию, которое было снято перед тем, как сесть за стол, и стояло в углу.

Но Пётр, этого не допустил, обнажив свой тесак.

А тут же распахнулись двери и вошёл Елизарьев с верными стрельцами и солдатами. Заговорщиков связали, отвезли в Преображенское, и в ту же ночь начался допрос, потому что царь не хотел откладывать своей поездки за границу.

Злодеи не долго запирались: пытка и улики Елизарьева развязали им языки. Но они не оговорили никого больше. Царь не стал много выпытывать. Он и сам догадался о тех тайных сообщниках, которые подожгли Цыклера. И только сказал:

— Ладно, захотели воскресить мятеж да злобу стрелецкую. Подыму и я покойников из гробов.

И вот ровно через девять дней, четвёртого марта, Москва увидела странное и отвратительное, душу потрясающее зрелище.

К церкви святого Николая Стольника на Покровке рано утром подъехал небывалый поезд — двенадцать больших свиней влекли сани. Палач вёл

упрямых животных. Другие помощники его и отряд стрельцов дополняли шествие.

При церкви в родовом склепе ещё одиннадцать лёг тому назад был похоронен Иван Милославский, посеявший первые семена стрелецкого бунта на Москве, долго бывший вдохновителем замыслов Софьи и всех злых начинаний, какие только были направлены против рода Нарышкиных.

Тело с гробом было вынуто из склепа, гроб был раскрыт. Останки старого заговорщика в сухом месте сохранились ещё довольно хорошо, и в село Преображенское повезли труп боярина Милославского, а палачи кричали при этом:

— Дорогу его милости, верховному боярину Ивану Михалычу Милославскому...

И крики эти, как косвенное, но грозное предостережение, должны были через десятки уст дойти и до царевны Софьи в Новодевичьем, откуда рука её незримо вложила нож и деньги в руку Цыклера.

В Преображенском гроб с телом боярина был поставлен перед самым помостом плахи. Когда палач рубил Цыклеру и Соковнину руки и ноги, когда он срезал головы двум стрельцам и казаку, их сообщникам, кровь хлестала прямо на труп Милославского, наполняя гроб до краёв.

"Глотай, старый крамольник... Любо ли, кровопийца... Доволен ли? — мысленно спрашивал Пётр, лицо которого от гнева и злобы казалось страшным. — Вот твой друг старый Цыклер, твой выученик... И Соковнин, ваше староверское семя. Тошно вам, што я Русь задумал из тьмы на свет поднять, державой сделать великою. Неохота вам выпускать меня на вольный свет, чтобы свет и волю я мог принеси, народу моему... Так пей же..."

Сестре Софье он велел только передать: "Сказал государь, сестру родную, дочь отца своего, он жалеет ещё. Одна, мол, вина — не вина. Две вины — полвины... Три вины — вина исполнится. В ту пору — пусть не посетует, горше всех ей станет..."

Кончена была казнь, и обезглавленные тела на санях, гроб

Милославского на тех же свиньях — всё это было перевезено к Лобному месту, где когда-то лежали кровавые куски тел, изрубленных в майские дни.

Тут стоял высокий столб, сходный с тем, на котором были начертаны "подвиги" надворной пехоты царевны Софьи.

У вершины этого столба торчало пять острых спиц. На каждую воткнули по голове. А тела вместе с полуистлелым Милославским разложили внизу, вокруг столба.

Долго лежали и тлели здесь трупы, наполняя смрадом воздух, вызывая в душах людей ужас.

Пётр понимал, что подстрекало Цыклера, честолюбивого, хитрого иноземца, обиженного успехом кое-кого из его братии, поздней приехавших на Москву, но опережающих в карьере старого заговорщика и предателя. Царь видел, что старик Соковнин был наведён на мысль об убийстве и влиянием Софьи, и ненавистью старовера-капитоновца к царю-новоделу. Чтобы очистить воздух, он сослал подальше от Москвы всю семью Цыклера, весь почти род Соковнина и Пушкина.

И, совершив жестокое дело возмездия, уехал в чужие края учиться, чтобы просветить потом свой край.

Софья услышала угрозу, поняла намёк. Но не только отдалённые угрозы — самая опасность влекла её, как влечёт порой человека тёмная бездна, по краю которой идёшь, чуя замирание сердца.

Правда, перед отъездом Пётр позаботился, чтобы в Москве не осталось ни одного стрельца. Все полки были разосланы на службу по разным окраинам.

В слободах остались только жены и дети стрелецкие, чего не бывало никогда.

Обычно московские стрельцы несли службу только летом по городам, а на зиму почти все возвращались к своим семьям, торговым занятиям и промыслам.

Вместо стрельцов караулы в Москве несли полки: Бутырский, Лефортовский, Семеновский и Преображенский.

Вдруг постом 1698 года появилось в Москве до двухсот беглых стрельцов с Литовского рубежа, из полков Гундертмарка, Козлова, Чубарова и Чорного, из тех полков, которые особенно были недовольны новыми порядками цыгана-царя, как бранили староверы Петра до того, когда возвели его в чин антихриста.

Несмотря на крепкие караулы у ворот монастыря, где жила Софья, стрельцы сумели при помощи нищих побирушек из стрелецких баб войти в сношения с царевной. И раньше чем беглецов изловили и выгнали из Москвы, посланные от всех четырех полков успели передать Софье свою жалобу на новые, тяжёлые, мучительные порядки, вручили ей призыв снова стать во главе правления.

Ответ был получен немедленно. Вот что писала царевна:

"Вестно мне учинилось, что из ваших полков приходило к Москве малое число. И вам бы быть к Москве всем четырёх полкам и стать под Девичьим монастырём табором. И челом мне бить: идти к Москве против прежнего [99] на державство. А если бы солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве пускать не стали, и с ними бы управиться, их побить и к Москве быть. А кто бы не стал пускать с людьми своими или с солдаты, и вам бы чинить с ними бой".

С этим письмом поспешили стрельцы в Великие Луки, где стояли все четыре полка.

Но ещё на пути, в сорока верстах от Москвы, догнала их новая посланная, нищенка, стрелецкая жёнка Ульяна, с новым письмом; царевна писала младшим стрелецким начальникам:

"Ныне вам худо, а впредь будет и хуже. Идите к Москве. Чево вы стали? Про государя ничего не слышно".

Вот на что особенно надеялась Софья. Она понимала, она чувствовала, что грозный облик Петра нагнал трепет на самые отчаянные души. И только за его спиной, во время его отсутствия, и есть надежда достичь чего-нибудь, запугав трусливых, безвольных бояр, стоявших во главе правления.

Расчёты царевны не оправдались.

Правда, её письма подняли все четыре полка. Особенно заволновались они, когда повсюду был рассеян слух, что Петра нет больше, что он погиб там, за морями, в чужих краях. Прибавляли, что бояре собираются даже удушить царевича Алексея, мать которого, Евдокия, как и весь род Лопухиных, предана старому, "древлему благочестию" и стремится воспитать сына в духе старины...

После долгих колебаний стрельцы решились. Из Торопца, где в мае на короткое время были поставлены все четыре полка, их хотели послать опять в разные места.

Но ратники взбунтовались. Первыми подали пример те зачинщики, которые бегали в Москву, к Софье. Постепенно и остальные, всего две тысячи двести человек, решили идти прямо на Москву.

Если на них выйдет войско, уклониться от боя, засесть в Туле или Серпухове и ждать подмоги от донских казаков, тоже начавших шевелиться.

Бояре в Москве, узнав о большом бунте, потеряли голову. "Бабий страх на них нашёл", — как потом выразился Пётр.

Десятого июня всё-таки бояре-правители поручили воеводе боярину Шеину и товарищам его, генерал-поручику Гордону и князю Кольцо-Масальскому, собрать войска и выступить на Ходынку. От всех четырех верных полков, стоящих в Москве, было взято по пятисот человек. Собраны были также дворцовые ратники, недоросли, конюшенные служители в военном снаряжении и приданы строевому войску в подмогу.

Осмотрев войска, Шеин двинулся к Тушину, где стал лагерем.

У воеводы было не меньше трех тысяч семисот ратников при двадцати пяти пушках.

Восемнадцатого июня произошла встреча. Сначала Гордон, по поручению Шеина, несколько раз делал попытки образумить бунтовщиков.

— Выдайте сто сорок пять зачинщиков, тогда вины ваши будут все прощены и забыты. И вам выдадут, что по службе полагается.

Стрельцы ничего и слышать не хотели.

Гордон вернулся в московский лагерь.

У стрельцов начались приготовления к бою. Полковые попы, капитановцы служили молебны. Ратники молились и исповедовались.

Шеин, расположив войско для боя, послал ещё раз к стрельцам Кольцо-Масальского.

Но стрельцы слушать его не стали, а только отдали челобитную, в которой были перечислены все обиды и лишения, какие перенесли стрельцы за эти последние три года в чужой стороне, голодая, холодая, не видя жён и детей.

— Што делать? Будем боем решать спор, — сказал Шеин и дал знак Гордону.

Первый залп из двадцати пяти полевых орудий был дан в воздух. Никто из стрельцов, конечно, не пострадал.

— Братцы, Господь за нас! Да, гляди, и пушкарская рука на товарищай не подымается. Пали в семеновцев да в преображенцев. Сергиев! Сергиев!

При этом кличе полетели кверху шапки стрельцов. И они стали стрелять из ружей, из пушек.

Грянули неровные залпы. У Шеина оказались раненые.

Тогда полковник Граге навёл орудия как следует, и новым залпом выкосило немало людей...

В тот же миг стрельцов охватила паника. Они дали тыл. Повсюду путь был отрезан отрядами Шеина. Грянул третий залп...

И врассыпную кинулись теперь стрельцы, кто куда. А большинство, опустив знамёна, стали молить о пощаде.

Их всех обезоружили, окружили караулом.

И часу не длилась эта "война"; пятнадцать убитых и тридцать семь тяжелораненных у стрельцов, четыре раненых у Шеина — вот все потери Тушинского боя.

Все свободные кельи соседнего Воскресенского монастыря, подвалы, амбары переполнились арестованными зачинщиками мятежа и беглецами, которых переловили до одного. Розыск делал сам Шеин,

пытал, жёг огнём.

Стрельцы объяснили свой мятеж недовольством на вечные походы, на лишения и нужду. Никто ни звука не сказал о письмах царевны Софьи.

И Шеин приговорил к виселице сперва пятьдесят шесть человек зачинщиков, а потом, по приказу бояр из Москвы, приказал удавить удавкой ещё семьдесят четыре человека.

Молча, творя крёстное знамение, клали голову в петлю осуждённые стрельцы.

Сто сорок человек, менее опасных бунтарей, были наказаны жестоко кнутом и сосланы в Сибирь.

Остальные, всего тысяча девятьсот шестьдесят пять человек, разосланы по разным городам и посажены в тюрьмы.

Седьмого июля Шеин уже мог вернуться в Москву.

Но в сентябре вернулся Пётр и иначе взглянул на дело.

— Сами, толкуют, замутились, без всякой сторонней руки... Ну нет... Я допрошу их построже вашего. Дознаюсь до дела... Хоть и так вижу, откуда ветер снова подул. От монастыря от Девичья... Из-за Москвы-реки... Ну, ежели... уж теперь не прощу.

И он сам стал в Преображенском с пристрастием допрашивать стрельцов.

В Москву свезли их всех, числом тысяча семьсот четырнадцать человек, и рассадили по тюрьмам. Отсюда партиями возили в Преображенское. Всего четырнадцать застенков, или следственных камер учредил для разбора этого огромного дела Пётр. Ближние бояре и дядьки его заведовали этими застенками.

Целый месяц длился розыск. Кроме воскресений, ежедневно по шесть — восемь часов тянулся допрос, очные ставки, пытки и битьё кнутом.

Главнейших коноводов пытал и допрашивал сам царь. Семнадцатого сентября, в день именин Софьи, словно нарочно, чтобы сделать "подарок" сестре, начались допросы. На дыбу поднимали и жгли огнём трех распопов стрелецких, которые служили молебны и причащали мятежников, во время боя пели молитвы.

Главным образом Пётр хотел добиться, не было ли от Софьи писем к

этим мятежным полкам. И, конечно, правда была раскрыта. Не все сумели молча переносить огонь и кнут. А жгли до трех и четырех раз. Били кнутом нещадно... Узнав про письма, царь взял на допрос и женщин царевны, чтобы узнать, кто их передавал. И это раскрылось. Обнаружилось и участие сестёр Софьи в заговоре, особенно Екатерины и Марфы. Только тихая, робкая Мария осталась непричастна.

Царь лично допрашивал и Екатерину и Марфу. Но они отпирались ото всего, зная, что их пытать брат не станет. Правда, он не решился коснуться их тела. Но душу измучил.

Когда кончилось следствие, сначала триста сорок один человек были приговорены к петле.

Тридцатого сентября у места главной казни, близ Покровских ворот, несметные толпы народа, все иноземные послы собрались, как на невиданное торжество.

Около двухсот телег под сильным конвоем потянулось из Преображенского, и на каждой сидело по два стрельца, с зажжённой восковой свечой в руках.

День был тихий, и у многих огни не гасли до самого последнего мгновения, когда казнимого передавали в руки палача.

Явился и Пётр, верхом, просто одетый, как всегда окружённый свитой иноземных и своих генералов и бояр.

Он подал знак, шум толпы умолк. Дьяк выступил вперёд и стал читать. "Воры, и изменники, и бунтовщики, Фёдорова полку Колзакова, Афонасьева полку Чубарова, Иванова полку Черно́ва, Тихонова полку Гундертмарка стрельцы!..

Великий государь, царь и великий князь Пётр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белья России самодержец, Сказал вам сказать:

В прошлом, 1698 году пошли вы без указа великого сударя, забунтовав, со службы к Москве всеми четырьмя полками, и, сшедшись под Воскресенским монастырём с боярином с Алексеем Семёновичем Шеиным, по ратным людям стреляли и в том месте вы побраны. А в расспросе и с пыток вы сказали все, что было сговорено: прийти к

Москве и на Москве учиня бунт, бояр побить, и Немецкую слободу разорить, и немцев побить, и чернь возмутить, то вы всеми четырьмя полки ведали и умышляли.

И за то ваше воровство великий государь и прочая указал казнить смертью".

Отсюда повезли под грохот барабанов всех осуждённых к местам казни к десяти воротам в Белом городе, к трём воротам на Замоскворечье и в стрелецкие слободы.

Там и повесили двести человек. Остальным клеймили щеки, били кнутом и сослали в Сибирь.

На короткое время Пётр прервал розыски и поехал к Троице, навстречу своему первому адмиралу, Крюйсу, который через Архангельск прибыл в Россию из Голландии.

Распрос шёл и без Петра. Было точно установлено, что царевны-сестры подбивали стрельцов к мятежу, особенно Софья.

Тогда ещё девятьсот пятьдесят шесть стрельцов было приговорено к смертной казни. Из них семьдесят два человека обезглавлены в Преображенском. Палачей не хватало, и конюхи, преображенцы, семеновцы, бояре своей рукой рубили мятежные головы...

С одиннадцатого по двадцать первое октября было повешено на Москве всего семьсот восемьдесят пять стрельцов.

И, как последняя угроза, на Девичьем поле перед кельями царевны Софьи, уже постриженной в том же монастыре под именем "смиренной инокини Сусанны", повисло сто девяносто пять трупов.

А у троих из стрельцов, которые своими неподвижными глазами глядели прямо в окна кельи Сусанны-Софьи, которые при порывах ветра раскачивались вместе с верёвкой, касаясь мёртвыми руками самого окна, у этих троих в руках белела "челобитная", призывающая царевну Софью снова на "державство", на трон московский...

И так целых полгода висели и разлагались трупы повешенных, ежедневно возобновляя бескровную пытку, которой подверг сестру возмущённый и потерявший сострадание брат.

На площадях тоже грудями валялись неубранные тела казнённых. Вдоль дорог, на телегах, лежали стрельцы, как бы говоря:

"Берегитесь! Царь долго терпит, но мстит жестоко, беспощадно..."

И ужас объял всех...

Только иноземцы толпами ходили к Новодевичьему монастырю поглядеть на "челобитчиков", позлорадствовать, чуя, какую муку терпит царевна, готовившая мятеж, чтобы вырезать всех немцев и водворить старый строй на Руси.

Опустели, обезлюдели с той поры стрелецкие шумные слободы. Жён и дочерей стрелецких разослали по дальним убогим деревням, где их разобрали холостые поселяне, не выдавшие раньше таких бойких и упитанных баб.

Так сгинула навсегда бесшабашная, но грозная сила стрелецкая, немало лет вершившая судьбу Московского царства.

Юный орлёнок разогнал стаю коршунов... И расправлял уж крылья, выпуская когти, чтобы добраться и до других врагов своих и царства...